Б. Н. ГОЛОВИН

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ



• Б. Н. ГОЛОВИН • ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ •

Б. Н. ГОЛОВИН

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Допущено
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве учебного пособия
для студентов
филологических специальностей
университетов



МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1980

ББК 81.2—7
Г 61

Рецензенты: *кафедра русского языка Киевского государственного университета; доктор филологических наук Л. И. Скворцов (Институт русского языка АН СССР)*

Головин Б. Н.

Г61 Основы культуры речи: Учеб. пособие.— М.: Высш. школа, 1980.— 335 с.

В пер.: 90 к.

В учебном пособии по новому университетскому курсу освещаются теоретические основы культуры речи как научной дисциплины, анализируются языковые и речевые стили, рассматривается речевая культура в научном общении, культура публичного выступления, связь культуры речи с другими науками; дан материал для обучения речевому мастерству, нормативному владению языком.

Г $\frac{70102-335}{001(01)-80}$ 127—80 4602000000

ББК 81.2—7
808.5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга представляет собой первый опыт создания учебного пособия по новому университетскому курсу «Основы культуры речи». В пособии излагаются сведения по главным теоретическим вопросам программы; однако пособие допускает отклонения от программы, вызванные логикой развития содержания книги. В пособии частично использованы материалы ранее изданной книги Б. Н. Головина «Как говорить правильно» — в главе «Правильность речи»; глава «Уместность речи» написана В. М. Черняевой, главы «Точность речи» и «Логичность речи» — Г. М. Грехневой.

Теоретическое пособие по культуре речи — дело новое и едва ли первый опыт создания такого пособия будет во всем удачным. Автор это хорошо понимает — и все же решается предложить вниманию читателей (прежде всего студентов-филологов) свою работу.

Автор выражает глубокую благодарность проф. М. А. Карпенко и членам кафедры русского языка Киевского государственного университета, принявщим участие в рецензировании рукописи, а также доктору филологических наук Л. И. Скворцову за ценные замечания при рецензировании рукописи.

ВВЕДЕНИЕ

«Что такое культура речи?» — вот главный вопрос, ответу на который посвящена эта книга. Ее автор хорошо понимает сложность стоящей перед ним задачи. И тем не менее предпринимает попытку ее решения. Такая попытка подсказывается требованиями общества, в частности — запросами средней и высшей школы, в учебные планы и программы которой начинают проникать и задачи изучения речевой культуры.

Учение о речевой культуре имеет длительную и нелегкую историю. Оно зародилось в Древней Греции и Древнем Риме — в теории и практике ораторского искусства. В России эту теорию и практику оригинально осмыслил и развил на материале отечественной словесности М. В. Ломоносов. «Риторика» Кошанского, одного из лицейских наставников Пушкина, была ограниченной, но не была бесполезной. Острые и болезненные критические удары В. Г. Белинского расшатывали теоретические устои риторик первой половины XIX столетия. Однако не угасал в обществе, в среде передовых литераторов, юристов и ученых, интерес к тому, что было принято называть красноречием. Место риторики заняла стилистика, включавшая и элементы постепенно вызревавшей в недрах филологии XX века культуры речи как научной дисциплины.

Напряженно и требовательно осмысливали речевую практику, свою и чужую, Пушкин и Толстой, Чехов и Горький. Юристы Пороховщиков и Кони, ученые Тимирязев и Павлов, университетские педагоги Грановский и Миротворцев оттачивали речевое мастерство в сфере своей профессии. Передовая революционная мысль России находила строгое и ясное выражение в статьях и речах Белинского, Добролюбова, Писарева, Плеханова, Луначарского, Кирова, Калинина. Гений Ленина воплотил

глубину марксистских идей в чеканно ясные и страстные словесные формы, помог ученым увидеть особую роль языка как «важнейшего средства человеческого общения», обосновал главные задачи развития речевой культуры в Стране Советов.

Практические и теоретические задачи речевой культуры стали к настоящему времени и актуальными задачами развития лингвистической науки.

В XX в. В. И. Чернышов, Л. В. Щерба, Г. О. Винокур, Б. В. Томашевский, В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, А. Н. Гвоздев, А. И. Ефимов и их многочисленные последователи и ученики постепенно, все полнее и шире осмысливали совокупность явлений, обозначаемую термином «культура речи», или «речевая культура». Этот термин прочно вошел в науку и жизнь. Наметилось и размежевание значений этого термина, говорящее о признании новой области знания, задачей которой оказывается изучение культуры речи как совокупности ее реальных свойств и особенностей.

Признание новой лингвистической дисциплины нашло выражение не только в многочисленных статьях и сборниках, в программе средней и высшей школы, но и в узаконивающих терминологию словарях. Так, в «Справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой о термине «культура речи» читаем: «1. Раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества в определенную эпоху (точка зрения объективно-историческая) и устанавливающий на научной основе правила пользования языком как основным средством общения людей, орудием формирования и выражения мыслей (точка зрения нормативно-регулирующая)... 2. Нормативность речи, ее соответствие требованиям, предъявляемым к языку в данном языковом коллективе в определенный исторический период, соблюдение норм произношения, ударения, словоупотребления, формообразования, построения словосочетаний и предложений. Нормативность речи включает в себя такие ее качества, как точность, ясность, чистота...» (с. 143—144).

Правда, в современной науке заметна и другая, более осторожная позиция. Ее, например, занимают авторы предисловия к сборнику «Актуальные проблемы культуры речи». Они пишут: «Контуры учения о культуре речи как особого раздела науки о языке, тесно

взаимодействующего с психологией и социологией, а главное, его возможности и методы действия только еще вырисовываются <...>

Главной задачей пока что можно признать поисковые работы: отыскание убедительных основ для культурно-регулятивной деятельности в области языка, разведку в различных областях языкознания и смежных дисциплин с целью обнаружения твердой почвы для фундамента самого учения — как серии теоретических изысканий, так и комплекса практических мероприятий» [*28*, 5] [1].

Осторожность необходимая, но и преувеличенная. В работах названных ранее ученых-русистов, в сочинениях лингвистов так называемой пражской школы, в нормализаторской деятельности французских литераторов и филологов, в исследовательских поисках особого направления современной японской лингвистики («языковое существование нации») — во всем этом можно найти опору для построения основ науки о речевой культуре; при этом могут и должны быть приняты во внимание и взгляды античных риторов, и высказывания теоретиков и практиков красноречия и словесного мастерства XIX—XX вв., и новейшие поиски специалистов по психологии речевой деятельности и логике.

В этом пособии автор хотел бы сосредоточить внимание читателей не на обзорах взглядов и мнений, часто несобранных и противоречивых, а на позитивных выводах, которые могут быть извлечены как из обдумывания этих взглядов и мнений, так и из наблюдений речевого поведения людей. Полезно начать с некоторых терминологических замечаний. Словосочетание «культура речи» (синоним — речевая культура) применяется в настоящее время в советской русскоязычной литературе в трех значениях:

а) культура речи — это прежде всего, по-видимому, какие-то ее признаки и свойства, совокупность и система которых говорят и о ее коммуникативном совершенстве;

б) культура речи — это, во-вторых, совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих целесообраз-

---

[1] Здесь и далее первая цифра в скобках указывает порядковый номер, под которым в списке литературы помещен источник, а вторая — страницу цитируемой работы.

ное и незатрудненное применение языка в целях общения;

в) культура речи — это, в-третьих, область лингвистических знаний о культуре речи как совокупности и системе ее коммуникативных качеств.

Нетрудно усмотреть внутреннюю зависимость между культурой речи в первом значении (назовем его объективным) и культурой речи во втором значении (назовем его субъективным): для того чтобы структура речи приобрела необходимое коммуникативное совершенство, автор речи должен владеть совокупностью нужных навыков и знаний; вместе с тем, для того чтобы получить эти навыки и знания, нужно иметь образцы коммуникативно совершенной речи, нужно знать ее признаки и закономерности ее построения.

Предположив, что признаки и свойства языковой структуры коммуникативно совершенной речи допускают обобщение и в результате вырабатываются представления о коммуникативных качествах речи (правильность, точность, выразительность и т. д.), мы получаем возможность по-иному, чем это только что было сделано, сформулировать два важных определения:

а) культура речи — это совокупность и система ее коммуникативных качеств;

б) культура речи — это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи.

Приняв же во внимание то, что коммуникативные качества речи нужны для воздействия на слушателей или читателей, предметом культуры речи как учения мы сможем признать языковую структуру речи в ее коммуникативном воздействии.

Так очерчивается предмет изучения новой лингвистической дисциплины и становится понятным то, что эта дисциплина опирается на весь круг описательных лингвистических наук, а также на психологию, логику, эстетику, социологию, педагогику. Особо тесные связи культура речи как наука имеет со стилистикой, и немало специалистов склонны растворить культуру речи в стилистике. Между тем у стилистики свой предмет изучения и свои задачи. Стилистика (а лучше — стилелогия) — это учение о языковых и речевых стилях как функциональных (или структурно-функциональных) вариантах языка и речи. Многие вопросы культуры речи ставит так называемая практическая стилистика, но

она не имела и не имеет ни своего предмета, ни своего метода.

Это пособие не охватывает всего круга вопросов, вошедших в университетскую программу «Основы культуры речи». Автор построил пособие так, чтобы достаточно четко очерчивались структурные контуры речевой культуры как совокупности и системы коммуникативных качеств речи. Понятие «коммуникативные качества речи» — основное в книге.

Автору хотелось бы в данном пособии решить, по крайней мере, три главные педагогические задачи: а) дать читателям более или менее завершенный (но не полный!) круг теоретических сведений о речевой культуре — дать в форме доступной и недогматической; б) органически ввести в описание коммуникативных качеств речи позитивный и негативный речевой материал, чтение и обдумывание которого могло бы помочь укреплению в сознании читателей нужных речевых навыков и ослаблению ненужных; в) содействовать воспитанию чувства личной и социальной ответственности за речевое поведение и за состояние речевой культуры того микроколлектива, в котором живет и учится, живет и работает читатель; в числе задач пособия — и помощь преподавателю нового университетского курса «Основы культуры речи».

В соответствии с замыслом и задачами пособие получило следующую содержательную структуру: после введения идет глава «Теоретические предпосылки понимания и описания культуры речи». В числе этих предпосылок и необходимость теоретического осмысления отношений структуры речи к внеречевым структурам (материальный мир, общество, сознание, язык и т. д.). Ввиду важности этой теоретической проблемы она выделена в особую главу — «Структура речи в ее отношении к неречевым структурам — основа теории культуры речи». В главах 3—10 последовательно описываются коммуникативные качества речи — правильность, точность, логичность, чистота, богатство (разнообразие), выразительность, уместность; в главе 11 излагаются сведения о связях между речевой культурой и стилями языка и речи; главы 12 и 13 посвящены роли речевой культуры в научном и учебном общении, в публичных выступлениях в сфере агитации, пропаганды, делового общения. Особое место занимает глава 14, в

которой автор пособия, опираясь на изложенные в предшествующих главах сведения, показывает выдающуюся роль В. И. Ленина в развитии культуры русской речи, необходимость и в наше время учиться по произведениям Ленина как образцам использования языка в науке и публицистике.

Культура речи не может быть сведена к одной расширительно и расплывчато понимаемой правильности. Это видел и С. И. Ожегов, многие высказывания которого позволяют думать, что правильность речи чуть ли не отождествлялась ученым с ее культурой. И тем не менее С. И. Ожегов в одной из последних работ писал: «Что такое высокая культура речи? Высокая культура речи — это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка. Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного литературного языка <...> Но высокая культура речи заключается не только в следовании нормам языка. Она заключается еще и в умении найти не только *точное* средство для выражения своей мысли, но и наиболее *доходчивое* (т. е. наиболее выразительное) и наиболее *уместное* (т. е. самое подходящее для данного случая и, следовательно, стилистически оправданное)» [*68*, 287—288]. Л. И. Скворцов предлагает «говорить о «правильности речи» и «культуре речи» как двух ступенях освоения литературного языка и двух способах владения им.

«Первой, низшей, ступенью оказывается *правильность* речи. О правильности мы говорим при овладении литературной речью и ее нормами. Оценки вариантов на уровне правильности речи: правильно — неправильно, по-русски — не по-русски и т. п. <...> Правильность речи является в сущности предметом школьного обучения. Программа средней школы и предполагает в общем виде привитие навыков правильной речи (преимущественно в области грамматики).

Второй, высшей, ступенью освоения литературного языка является *культура речи* в собственном смысле. О культуре речи можно говорить в условиях владения литературной речью, в условиях правильности (т. е. владения литературными нормами). Оценки вариантов на уровне культуры речи иные: лучше — хуже, точнее, уместнее и т. п.» [*28*, 84].

Невозможность сведения культуры речи к ее пра-

вильности много раз утверждалась писателями-классиками и неплохо обосновывалась в античных и более поздних гипотезах ораторского искусства, риторики и красноречия.

В центре пособия — коммуникативные качества современной русской речи. Понимание одних качеств в современной науке более или менее сложилось (правильность, точность), понимание других лишь намечено (уместность, действенность). Это сказалось на количестве и качестве предложенной читателю информации.

Особые (и надо признаться, неожиданные) задачи возникли перед автором главы «Правильность речи». Общее понимание правильности достаточно прозрачно и определенно: правильной называется речь, в структуре которой нет нарушения норм литературного языка. Это общее понимание правильности должно получить в пособии конкретизацию — применительно к разным структурным уровням и участкам языка. Но излагать все сведения о нормах и их соблюдении невозможно, да и незачем: в грамматиках и словарях обычно дается именно нормативная точка зрения на произношение, ударение, морфологию и синтаксис. В пособии должны, очевидно, получить описание и осмысление наиболее слабые участки системы произносительных, акцентологических и грамматических норм. Внимание к этим участкам, знание и понимание того, что и почему нарушается в речи,— позволят с течением времени усилить слабые участки систем норм и защитить тем самым национальное единство языка. Иначе говоря, для того чтобы устранить или хотя бы уменьшить нарушения языковых норм, необходимо знать, какие из последних и почему нарушаются.

В пособии осуществлен отбор слабых норм, требующих внимания к себе со стороны говорящих и пишущих. Это отбор предварительный и неполный. По мере изучения слабых и сильных участков системы норм можно будет уточнять и пополнять отбор таких норм, которые нуждаются в особой защите.

Каждая из отобранных для описания норм так или иначе поясняется и иллюстрируется рядом фактов, извлеченных из современной речи; предполагается, что читатель этот ряд будет не просто пробегать глазами при чтении основного текста, а внимательно обдумывать, «проговаривать» про себя — и тем самым будет

помогать защите ослабленной нормы, помогать усилению нужных для ее соблюдения речевых навыков; ради экономии места отдельные слова и словосочетания даются вне высказываний, а текстовые высказывания заменяются так называемыми речениями. Но экономно используются и текстовые иллюстрации.

Главная задача пособия — теоретическое обоснование и описание речевой культуры как совокупности и системы ее коммуникативных качеств.

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИМАНИЯ И ОПИСАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

§ 1. Прежде всего полезно выяснить, имеем ли мы в виду именно речь в отличие от языка в тех случаях, когда говорим о культуре речи. Это тем более необходимо, что осуществляются попытки различать культуру языка и культуру речи, и эти попытки небеспочвенны.

Хорошо известно, что проблема единства и различия языка и речи — одна из сложнейших теоретических проблем, и она во всем своем объеме должна осмысливаться в курсе «Общее языкознание» и в специальных теоретических работах. Но автор обязан, очевидно, договориться с читателями о том понимании языка и речи, которое используется в обосновании и построении теории и описания культуры речи.

Термины и понятия «язык» и «речь» тесно связаны и взаимодействуют с терминами и понятиями «речевая деятельность», «текст», «содержание (смысл) текста». Поэтому желательно брать язык и речь не только в соотношении друг с другом, но и в соотношении с речевой деятельностью, текстом и смыслом текста.

Примем следующие определения:

язык — знаковый механизм общения; совокупность и система знаковых единиц общения в отвлечении от многообразия конкретных высказываний отдельных людей;

речь — последовательность знаков языка, организованная по его законам и в соответствии с потребностями выражаемой информации;

речевая деятельность — совокупность психофизиологических работ человеческого организма, необходимых для построения речи;

текст — словесное, устное или письменное произ-

ведение, представляющее собой единство некоторого более или менее завершенного содержания (смысла) и речи, формирующей и выражающей это содержание;

смысл текста — конкретная информация (логическая, эмоциональная, эстетическая и иная), выраженная речью и при ее участии сформированная в сознании человека.

Видимо, из различения и определения этих терминов и понятий следует, что можно (и нужно!) говорить не только о культуре речи, но и о культуре языка. Это будут очень различные «культуры». Культура языка окажется не чем иным, как степенью развития и богатства его лексики и синтаксиса, отточенностью его семантики, многообразием и гибкостью его интонации и т. д. Культура речи — это, как было сказано ранее, совокупность и система ее коммуникативных качеств, а совершенство каждого из них будет находиться в зависимости от разных условий, в число которых войдут и культура языка, и незатрудненность речевой деятельности, и смысловые задания и возможности текста.

Чем богаче система языка, тем больше возможностей варьировать речевые структуры, обеспечивая наилучшие условия коммуникативного речевого воздействия. Чем обширнее и свободнее речевые навыки человека, тем лучше, при прочих равных условиях, он «отделывает» свою речь, ее коммуникативные качества — правильность, точность, выразительность и др. Чем богаче и сложнее смысловые задания текста, тем бóльшие требования он предъявляет к речи, и, откликаясь на эти требования, речь приобретает бóльшую сложность, гибкость и многообразие.

Можно рассмотреть и еще один терминологический вопрос: одинаковы или различны по своей понятийной сути термины «смысл текста» и «семантика языковых знаков»? Ведь, казалось бы, если смысл текста выражается знаками языка, организованными в речевые последовательности, то между ним, смыслом, и семантикой этих знаков исчезает различие. Однако мы допустили бы большую и непоправимую ошибку, если бы отождествили смысл текста и семантику знаков языка, вошедших в речевые структуры, выражающие этот смысл.

Об этом совпадении и различии семантики знаков языка и смысла текста, «личностных смыслов» автора

интересные соображения недавно высказаны известным советским психологом профессором МГУ А. Н. Леонтьевым. В частности, ученый говорит: «Не исчезает, да и не может исчезнуть постоянно воспроизводящее себя несовпадение личностных смыслов, несущих в себе интенциональность, пристрастность сознания субъекта и «равнодушных» к нему значений, посредством которых они только и могут себя выразить. Поэтому-то внутреннее движение развитой системы индивидуального сознания и полно драматизма. Он создается смыслами, которые не могут «высказать себя» в адекватных значениях; значениями, лишенными своей жизненной почвы и потому иногда мучительно дискредитирующими себя в сознании субъекта; они создаются, наконец, существованием конфликтующих между собой мотивов-целей» [*60, 156*].

Тот или иной текст, в особенности художественный, наполнен личностными смыслами: он нужен для выражения ви́дения и понимания каких-то явлений действительности личностью, отдельным индивидом — даже тогда, когда этот индивид высказывает вовсе не свои собственные, а общепринятые взгляды. Что же касается семантики слова (не говоря уже о семантике грамматических категорий и форм),— она «внеличностна», она принадлежит всем, кто говорит на этом языке, она представляет собой результат деятельности сознания коллектива, общества, народа. Именно поэтому семантика знаков языка позволяет людям понимать друг друга, несмотря на многообразие и многоразличие личностных смыслов. Возникает и реализуется в построении речи сложное диалектическое взаимодействие личностного и социального, индивидуального и общего, и не всегда удается авторам личностные смыслы своего текста отчетливо выразить с помощью общей семантики слов и их объединений. Это немаловажное обстоятельство имеет прямое отношение к осмыслению условий, от которых зависит речевая культура людей.

§ 2. Вторая теоретическая предпосылка понимания и описания культуры речи — решение проблемы языковой нормы. В большинстве работ о культуре речи центральное место занимает правильность речи, всегда связываемая с нормой литературного языка. Речь правильна, если она не нарушает языковой нормы; речь неправильна, если она эту норму нарушает.

Однако при внимательном обдумывании применения термина «норма языка» в современных лингвистических текстах становятся очевидными какая-то неотчетливость его семантических границ и даже неоднозначность его понимания. Л. И. Скворцов пишет: «Норма языка — центральное понятие культуры речи. Вместе с тем это одна из сложнейших проблем, многомерность которой определяется фактами историческими, культурно-социологическими и собственно лингвистическими. Неизученность ее отражается прежде всего в неустойчивости терминологии, в неочерченности и разноплановости определения «языковая норма» [*28*, 40].

Можно думать, что в отечественной лингвистике (при всех колебаниях в построении ее логических определений) долгое время норма понималась как образцовое, закрепленное литературными произведениями, охраняемое наукой и государством правило, регулирующее произношение, ударение, образование слов и их форм, построение предложений и их интонацию. Это «правило» надо понимать прежде всего как объективную закономерность самой структуры и системы языка, а затем уже как ее описание, формулирование в грамматиках и словарях. В этом втором случае норму теперь называют кодификацией.

В. А. Ицкович в книге «Языковая норма» пишет: «Термин «норма» в языкознании чаще всего употребляют в двух различных значениях. Во-первых, нормой называют общепринятое, закрепившееся в языке употребление. Во-вторых, нормой называют употребление, рекомендованное грамматикой, словарем, справочником, подкрепленное авторитетом известного писателя, поэта и т. д. Наконец, некоторые авторы не дифференцируют указанные различия, объединяют их, определяя норму как «общепринятое и узаконенное употребление» [*51*, 4—5]. В. А. Ицкович дает, со ссылкой на работу Ю. С. Степанова «Основы языкознания», следующее определение нормы: «Норма — это объективно существующие в данное время в данном языковом коллективе значения слов, их фонетическая структура, модели словообразования и словоизменения и их реальное наполнение, модели синтаксических единиц — словосочетаний, предложений — и их реальное наполнение» [*51*, 5].

И естественно, у читателя возникает недоуменный вопрос: чем же, в таком случае, норма отличается от

самой структуры языка? Правда, далее В. А. Ицкович предлагает интересное деление языковых норм на два типа: «Первый тип норм — нормы, которые определяются системой русского языка в отличие от систем других языков. Эти нормы обязательны, не знают исключений. Их нарушение означает выход за пределы возможностей, предоставляемых системой, т. е. не только за пределы того, что реально существует в языке, но за пределы того, что в нем может быть. Иначе говоря, нарушение этих норм означает употребление образований не только несуществующих, но и невозможных в данном языке.

Например, в отличие от тюркских языков все существительные русского языка, употребляемые в форме единственного числа, имеют категорию рода. В отличие от французского языка такие существительные распределяются не по двум, а по трем родовым группам. В отличие от немецкого языка, в котором тоже три рода, в основу деления положены иные формальные признаки. Наконец, в отличие от близкородственных языков (например, украинского) в русском языке иное распределение отдельных слов по родам...» [*51*, 23, 24].

«Второй тип норм — это нормы, определяемые структурой языка, нормы, накладывающие ограничения на возможности, предоставляемые системой. Эти нормы также являются обязательными, но отступление от них иногда не так очевидно, как нарушение норм первого типа: в тех случаях, когда говорящий употребляет форму или конструкцию, допускаемую системой языка, но отсутствующую в его структуре, он пользуется образованием, по крайней мере теоретически не противоречащим основным законам данного языка, он употребляет то, чего нет в языке, но что могло бы в нем быть.

К таким нормам, например, относится норма, утверждающая отсутствие в современном русском литературном языке причастий будущего времени, нормы словообразования и т. д.» [*51*, 27].

В современных лингвистических работах получила признание и применение гипотеза нормы, предложенная Э. Косериу. Эта гипотеза предполагает три уровня языка — уровень системы (структуры?), уровень нормы и уровень речи. Эта гипотеза была принята и авторами увидевшего не так давно свет солидного труда «Общее языкознание», подготовленного сотрудниками Института

языкознания АН СССР. В этом труде предложено следующее определение: «Исходя из представленного у Э. Косериу понимания языковой нормы, следует определить ее как совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и закрепленных общественной языковой практикой» [*66*, 555].

Противопоставление структуры (системы) и нормы носит пока скорее умозрительный, чем оправдываемый фактами языка характер. Это сказалось и в только что цитированном определении. Если норма — это совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций структуры, то как быть с такими реализациями (а их немало!), которые не принадлежат к числу «наиболее устойчивых?» Как эти «наиболее устойчивые» реализации отграничить от «менее устойчивых», наличие которых, очевидно, предполагается? Кто и как установит порог устойчивости? Получается, что структура языка — по смыслу определения нормы — берется вне ее функционирования, берется как некий конструкт, абстракция, созданная мыслью лингвиста. Только в этом случае можно представить себе некую строгую и последовательно выдержанную «структуру» и нарушающую эту структуру «реализацию». К этому ведет и один из иллюстративных примеров, предложенных авторами «Общего языкознания»: Нормой ограничивается и нарушается выдержанность структуры в ряду *начальник — начальница*, *певец — певица*, но *дворник* — ?, *министр* — ?, *врач* — ? [*66*, 557]. Получается, там, где регулярность, там и структура в ее целостности; там же, где регулярность нарушена, вмешательством нормы нарушена и структура. Такие и подобные соображения можно принять, если структуру видеть неподвижной, застывшей — вне постоянной динамики ее применения, вне функциональной «реализации». Но реально, в живых языках, такой структуры нет, как нет и нормы, соотносимой со структурой. Норму, по-видимому, нужно было бы понимать не как коррелят структуры (по схеме структура — норма — речь), а как ее функциональное свойство.

Для более полного и глубокого понимания нормы, возможно, следует всегда брать функционирующую структуру и принимать во внимание парадиг-

матику и синтагматику как две формы «поведения» знаков языка в процессе его функционирования. На каждом шаге развертывания речи происходит, во-первых, выбор одного члена той или иной парадигмы, во-вторых, выбор одной из синтагматических возможностей слова (или иного языкового знака). Норма как раз и предписывает, какой выбор должен быть сделан автором речи. В слове *человек* в первом слоге может быть произнесен звук [э], или звук [и], или звук [э^{и}], или звук [э^{а}] и т. д. Такую возможность дает парадигма. Однако норма предписывает выбор [э^{и}], остальные возможности не реализуются. В том же слове во втором слоге может быть произнесен звук [а], или звук [о], или слабый нейтральный [ъ]. Норма же предписывает лишь один вариант — [а].

Из примера видно, что норма регулирует выбор одного из вариантов парадигмы — в тех, разумеется, случаях, когда эти варианты есть в структуре языка народа и когда лишь один из них предпочитается языковым коллективом.

Проблема социального предпочтения парадигматических и синтагматических возможностей языка становится очень острой в период формирования национального языка народа. В. И. Ленин, как известно, прямо связывал новый период истории и с формированием единого языка и закреплением его в литературе [7, 258]. Закрепление в литературе помогало формированию национальной языковой нормы, а национальная языковая норма обеспечивала единство национального языка, так как устраняла существовавшие многочисленные и резкие колебания парадигматического и синтагматического выбора, связанные с взаимодействием диалектов и с межъязыковыми влияниями.

Норма предполагает определенное оценочное отношение говорящих и пишущих к функционированию языка в речи: так можно, а так нельзя; так говорят, а так не говорят; так правильно, а так неправильно. Это отношение формируется под воздействием литературы (ее авторитетных для общества деятелей), науки (она начинает описывать, «кодифицировать» нормы), школы и т. д.

Норма — это свойство функционирующей структуры языка, создаваемое применяющим его коллективом благодаря постоянно действующей потребности в лучшем

взаимном понимании. Именно эта потребность побуждает людей предпочитать одни варианты и отказываться от других — ради достижения единства языковой системы. Вместе с ростом потребности общества в таком единстве крепнет языковая норма, достигая высшего развития в национальном литературном языке.

Норма — это исторически принятый в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор одного из функциональных парадигматических и синтагматических вариантов языкового знака. Поэтому же неизбежны колебания нормы, сосуществование в отдельных «узлах» старой и новой нормы или норм, идущих из разных подсистем общей системы языка народа.

Норма становится регулятором речевого поведения людей, однако это необходимый, но недостаточный регулятор, потому что одного соблюдения предписаний нормы не хватает для того, чтобы устная или письменная речь оказалась вполне хорошей, т. е. обладала нужной для общения отделанностью и культурой. Это можно объяснить тем, что норма регулирует, так сказать, чисто структурную, знаковую, языковую сторону речи, не затрагивая, не захватывая важнейших в общении отношений речи к действительности, обществу, сознанию, поведению людей. Речь может быть вполне правильной, т. е. не нарушающей языковой нормы,— и недоступной для незатрудненного понимания. Она может быть логически неточной и противоречивой, но правильной. Она может быть правильной и в определенных случаях совершенно неуместной. Вот почему и Пушкин, и Белинский, и Л. Толстой, и Горький прекрасно понимали, что говорить и писать правильно — это еще не значит говорить и писать хорошо.

Видимо, помимо нормы действуют и иные регуляторы речевого поведения человека, которые, не расчленяя, можно обозначить словом «целесообразность». Ощущение говорящим и пишущим, понимание им целесообразности того или иного слова, той или иной интонации, той или иной синтаксической конструкции и их сложного сцепления в пределах целостных отрезков текста и всего текста — вот та мощная сила, которая выковывает образцовую речь и позволяет говорить о высшей степени речевой культуры. Лишь разумный и прочный союз нормы и целесообразности обеспечивает культуру речи общества и отдельного человека.

Норма действует достаточно жестко, она «задана» самой системой и структурой функционирующего языка, она объективна и обязательна для тех, кто говорит и пишет. Целесообразность не «задана» самой структурой языка, она «задается» сознанием говорящих и пишущих людей, субъективно понимающих и оценивающих объективную необходимость каждого (помимо правильности) из коммуникативных качеств хорошей речи. Норма одинакова для всех членов языкового коллектива, целесообразность имеет широкую полосу различий и колебаний, вызываемых и вариантами функционирующего языка (стилями), и социальными различиями человеческих коллективов внутри единого общества (профессиональными, возрастными и иными), и многообразием меняющихся коммуникативных задач и условий. Целесообразность объективна как необходимость, обязательно возникающая в процессе общения, но она и субъективна как осознание и осуществление этой необходимости отдельными людьми.

§ 3. Третья теоретическая предпосылка учения о речевой культуре — понимание стилей языка и стилей речи. Проблема стилей — одна из давних и наиболее сложных в современной лингвистической теории. Ее состояние будет пояснено в особой главе этого пособия. Здесь же хочется лишь предварительно напомнить читателям, о чем идет речь. Она идет о функциональных стилях языка и их воздействии на речевую культуру. Можно предполагать, что коммуникативные качества речи имеют неодинаковую силу и отчетливость выявления в различных языковых и речевых стилях. Поэтому, прежде всего, возникает потребность как-то понять, определить, что скрывается за этими терминами.

Условимся (пока без обоснования) стилями языка называть типы его функционирования, его структурно-функциональные варианты, обслуживающие разные виды человеческой деятельности и отличающиеся друг от друга совокупностями и системами признаков, достаточными для интуитивного опознавания этих вариантов в речевом общении.

Стилей языка специалисты насчитывают немного. Обычно принято говорить о стилях художественном, научном, деловом, публицистическом, разговорно-бытовом и производственно-техническом (этот стиль не очень отчетливо выделен языком).

Стили языка должны быть приняты во внимание при построении теории речевой культуры не только потому, что они оказывают воздействие на коммуникативные качества речи, но и потому, что речевое общение осуществляется, в сущности говоря, не на языке в его целом, а на том или ином из его функциональных стилей, и поэтому понимание коммуникативных качеств языка должно бы несколько меняться — в зависимости от того, какой именно из языковых стилей имеется в виду как функционирующий в процессе общения.

Языковые стили реально воплощаются в многочисленных и многоликих стилях речи, каждый из которых представляет собой типовую ее организацию и структуру, достаточно устойчивую (воспроизводимую) и соотнесенную со стилями языка, целями и задачами общения, жанрами литературы, ситуациями общения и личностью автора. Взаимодействие между стилями речи и ее культурой требует пристального внимания и изучения.

§ 4. Итак, в числе главных теоретических предпосылок понимания речевой культуры — различение языка и речи, осмысление языковой нормы, знания о стилях языка и стилях речи. К числу важнейших в теории речевой культуры нужно отнести и такую предпосылку, такое теоретическое условие, как осмысление типовых системных связей структуры речи с неречевыми структурами. Это можно назвать, если угодно, системным подходом к изучению культуры речи, и именно такой подход обещает достаточно убедительное, достаточно широкое и достаточно обновленное понимание коммуникативных качеств речи, давным-давно замеченных и названных, однако и до настоящего времени не попавших в поле пристального внимания лингвистов.

ГЛАВА 2

СТРУКТУРА РЕЧИ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К НЕРЕЧЕВЫМ СТРУКТУРАМ — ОСНОВА ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

§ 1. По принятому в этом пособии определению, речь — это последовательность языковых знаков (прежде всего, слов), организованная (или построенная) по «правилам» языка и в соответствии с потребностями выражаемой информации. Такую последовательность создает говорящий (или пишущий), такую последовательность воспринимает и «расшифровывает», т. е. так или иначе понимает слушатель (или читатель). В общем случае задача заключается в том, чтобы в сознании слушателя (читателя) возникла такая же информация, которую выражал говорящий (пишущий); правда, это случай идеальный и, как всякий идеал, едва ли достижимый; практически же дело идет так, что между информацией выраженной и информацией, возникшей в сознании слушателей или читателей, устанавливается большее или меньшее сходство. И чем больше это сходство, тем полнее и лучше осуществлены коммуникативные задачи. Более полному и лучшему осуществлению этих задач и служат коммуникативные качества речи, совокупность и система которых образует речевую культуру общества и отдельного человека.

Речь — это внешняя, формальная сторона текста; она всегда имеет не только языковую структуру и ее организацию, но и выражаемый ею, по существу неязыковой (или внеязыковой) смысл, ради которого и во многом подчиняясь которому она строится. Речь оказывается явлением не только лингвистическим, но и психологическим и эстетическим. Именно поэтому люди давно заметили хорошие и плохие стороны речи и давно делаются попытки объяснить их, в частности, прибегая к таким словам, как «точная», «правильная», «красивая», «ясная», «доступная» и т. д. Правда, эти слова, как правило, при-

меняются нетерминированно, т. е. без точного и однозначного их логического содержания и определения, и одна из центральных задач учения о речевой культуре — терминирование слов, обозначающих коммуникативные качества речи.

Уже римляне выработали целую систему понятий, мнений и рекомендаций, оценивающих качества хорошей речи. Были замечены и описаны (правда, не строго) сами эти качества, и среди них такие, как ясность, чистота, уместность и др. По убеждению Цицерона, чистота и ясность речи столь необходимы, что даже не нуждаются ни в каком обосновании. Однако эти необходимые качества недостаточны для того, чтобы оратор мог вызвать восхищение слушателей,— для этого нужна красота речи [*29*, 192, 198]. По мнению Дионисия Галикарнасского, самое важное и совершенное из достоинств речи — уместность. «Обладающая им речь согласуется должным образом и с говорящим, и со слушателями, и с темой (ведь в этом заключается уместность)» [*29*, 197].

Конечно, далеко не все мысли римских теоретиков красноречия и ораторов могут быть разделены нами; однако их попытки терминирования соответствующих слов, оценивающих качества речи, поучительны и должны быть приняты во внимание. Особо поучителен сам факт — попытка римских ораторов создать теорию к а ч е с т в х о р о ш е й р е ч и.

Возьмем еще лишь одну иллюстрацию, говорящую о поисках качеств речи и попытках их осмысления и описания. Едва ли не каждый действительно большой писатель (из ряда «классиков»), и русский, и западноевропейский — писал и уж во всяком случае думал о таких понятиях, как правильность языка (речи), его точность, выразительность, образность, красота и т. д. Многочисленные высказывания Пушкина, Тургенева, Л. Толстого, Чехова, Горького, А. Толстого, Флобера, Мопассана и многих, многих других как будто и известны, и в то же время еще ждут изучения под углом зрения теории речевой культуры.

Одна из неотложных задач современной лингвистической науки — теоретическое объяснение и описание главных коммуникативных качеств речи, их «истоков» и оснований, их структурно-языковых свойств и особенностей, их системных связей, их непротиворечивого терминологического обозначения.

§ 2. В числе теоретических предпосылок успешного описания и верного понимания речевой культуры, понимания и описания качеств хорошей речи оказывается умение увидеть системные отношения речи, ее языковой структуры к чему-то, что находится за ее пределами, к другим, неречевым структурам. Это необходимо потому, что речь в процессе ее построения и понимания всегда решает те или иные коммуникативные задачи и всегда соотнесена и связана с другими, внешними по отношению к ней структурами (самого языка, сознания в его целом, мышления, предметной действительности и т. д.). Попытаемся внимательнее присмотреться к тому, с чем же именно и как соотнесена речь и как ее соотнесенность с неречевыми структурами может быть и должна быть использована для осмысления и описания ее коммуникативных качеств.

а) **Соотношение речь — язык.** Это соотношение самоочевидно: ведь речь построена из материала языка и по свойственным ему «правилам». Однако самоочевидность еще не означает того, что мы видим и понимаем все стороны этого соотношения. Речь построена из языка, подчинена его законам, но она не равна языку. В речи языковые единицы получают «чрезвычайную прибавку», а именно выбор, повторение, размещение, комбинирование и трансформирование. Говорящий или пишущий вынужден самими задачами и возможностями коммуникации осуществлять выбор из множества наличных в системе языка слов и иных единиц — вполне определенных, требуемых или подсказываемых вполне определенным «шагом» в развертывании, построении речи. И это важно: давление системы языка велико, ее вариативные возможности практически неограниченны — как найти нужное слово, нужное их соединение, нужную интонацию? Как осуществить коммуникативно правильный (в идеале — оптимальный) выбор? На этот вопрос каждый автор речи отвечает по-своему, отвечает практически — и не всегда лучшим образом.

Развертывая речь, мы неизбежно повторяем одни и те же слова, их формы, синтаксические конструкции, интонационные шаблоны и т. д. Как эта избранная нами повторяемость языковых единиц отражается на коммуникативных свойствах речи — усиливает или ослабляет их? Какая повторяемость и в каких условиях желательна, а какая становится помехой речевой культуре?

Языковая система обычно не предписывает сама по себе взаимного размещения слов и других ее знаков в речевой последовательности, хотя какие-то случаи размещения и могут оказаться предписанными. Русский язык допускает большую свободу размещения, взаимного расположения слов, словосочетаний, целых высказываний и их структурно-синтаксических частей. Конечно, известные ограничения наложены на речевое размещение языковых знаков — и системой языка, и логическим развитием выражаемой мысли. Однако эти ограничения не лишают автора речи возможности варьировать в больших пределах взаимное размещение языковых средств — и вместе с тем не устраняют необходимости личного, авторского выбора одного из возможных вариантов размещения. Какой же из многих вариантов лучше? И отвечает ли требованиям целесообразности избранный и осуществленный?

Не менее заметной «чрезвычайной прибавкой» в речи, по сравнению с языком, оказывается и комбинирование — слов, словосочетаний, целых высказываний — в пределах одного предложения, в пределах абзаца и целого текста. Ставшая в последнее десятилетие модной «лингвистика текста» получает какое-то оправдание и объяснение лишь при условии, что ее предметом будет признана речь — с ее особенностями, в числе которых очень заметное место занимает комбинирование языковых знаков. Слушатель или читатель воспринимает в тексте не отдельные слова и даже не отдельные высказывания, а их сцепления, их комбинации разной степени сложности и различной качественной «выделки». Какова она у разных авторов и в различных стилях? Когда она хороша, а когда не очень? Что должно быть главным критерием признания тех или иных комбинационных признаков речи? И как различия этих признаков сказываются на ее коммуникативном воздействии?

Попадая в речь, знаки языка могут получать семантические (в частности, стилевые) сдвиги и наслоения, могут в той или иной степени трансформироваться. Ярким примером этого могут служить так называемые образные значения слов и словосочетаний, возникающие в речи писателей и поэтов — метафорические, метонимические и иные. Можно указать на распространенное в речи многих авторов антонимическое противопоставление и синонимическое сближение слов и словосочетаний, кото-

рые, если их взять в словаре, не обнаруживают ни свойств синонимов, ни признаков антонимии. Явно «положительное» оценочное слово в языке, примененное в речи, может приобрести отрицательную оценку, оттенок иронии, осуждения и т. д. И вновь возникает вопрос: что же заслуживает предпочтения с позиций речевой культуры?

Получается, таким образом, что соотношение язык — речь важно для понимания многих свойств речи. Однако прежде всего это соотношение нужно для понимания и разъяснения таких коммуникативных качеств речи, как правильность, чистота и богатство (разнообразие).

Если в речи соблюдены нормы литературного языка, она называется правильной. Если в речи нет чуждых литературному языку слов и словесных оборотов, она называется чистой. Если в речи применены многие и различные знаки языка (их заметно больше в наборе, чем обычно, т. е. чем в большинстве речевых произведений), такую речь можно назвать богатой, разнообразной.

Как видим, каждое из названных трех коммуникативных качеств речи становится понятным и получает определение на базе соотношения знаковой структуры речи с тем, что дает говорящему или пишущему литературный язык.

б) **Соотношение речь — мышление.** Речь и мышление постоянно связаны и взаимодействуют в едином процессе речемыслительной деятельности. В речи мысль выражается, и в речи же она формируется. Вместе с тем речь получает свою знаковую, языковую структуру не только в зависимости от того, чем располагает и что предлагает язык на каждом шаге ее развертывания, но и в зависимости от того, что́ нужно выражаемой мысли, что́ она выбирает и как она контролирует развертываемую знаковую структуру речи.

Соотношение речь — мышление позволяет осмысливать такие качества речи, как точность и логичность. Если в речи значения составляющих ее слов и их сочетаний строго соотнесены с содержаниями и объемами выражаемых понятий, речь называют точной. Если связи значений, свойственных словам, словосочетаниям и предложениям, вошедшим в структуру речи, не противоречат законам логики, законам мышления, такую речь называют логичной. Так появляется возможность терминирования еще двух коммуникативных качеств речи —

ее точности и логичности. Доступность речи также получает некоторое объяснение на базе соотношения речь — мышление.

в) **Соотношение речь — сознание.** Мышление, как известно, входит в сознание, но не равно ему. Сознание шире мышления. Если мышление можно определить как процесс отображения действительности в формах понятий, суждений и умозаключений, то сознание — это процесс отображения действительности в любых формах, включая ощущения, представления, эмоциональные, волевые, эстетические состояния субъекта (здесь слово «сознание» берется лишь в одном из его значений и никак не затрагивается так называемое общественное сознание как совокупность общественных взглядов, идей и т. д.).

Не нужно никого убеждать в том, что речь выражает не только мысли, но и чувства, и волю людей, выражает она и те состояния сознания, которые можно назвать эстетическими переживаниями человека. По-видимому, речь не только выражает все это, но и участвует в формировании эмоционального мира человека; во всяком случае, эмоциональный и эстетический потенциал речи, если он создан автором, произведет соответствующее воздействие на сознание тех, кто речь воспринимает.

Соотношение речь — сознание помогает понять, что стоит за словами выразительность, образность, уместность, действенность, когда эти слова применяются для обозначения коммуникативных качеств речи. Если речь построена так, что самим подбором и размещением средств языка, знаковой структурой воздействует не только на ум, но и на эмоциональную область сознания, поддерживает внимание и интерес слушателя или читателя,— такую речь называют выразительной. Если структура речи, воздействуя на сознание (или выражая его), формирует конкретно-чувственные представления о действительности, она называется образной. Если речь, захватывая различные области сознания слушателя или читателя, подчиняет его автору, такая речь действенна (конечно, действенность речи опирается и на соотношение речь — мышление).

г) **Соотношение речь — действительность.** Как правило, речевые структуры соотнесены с какими-то предметами, явлениями, событиями окружающего человека мира: речь оказывается (при участии сознания и мышле-

ния) своеобразной знаковой моделью тех или иных «кусочков» или «узлов» жизни. Очевидно, что тот, кто слушает или читает сказанное или написанное, заинтересован в том, чтобы отчетливо и незатрудненно распознавать, какие именно «кусочки» действительности, какие факты и события смоделированы воспринимаемой речью; иначе говоря, слушатель или читатель заинтересован в том, чтобы правильно, в соответствии с замыслом и намерением автора речи, соотнести ее с обозначенной в речи действительностью. В том же самом заинтересован и автор речи — даже в тех случаях, когда он вводит слушателя или читателя в заблуждение, т. е. «подставляет» с помощью речевой модели вместо одной действительности другую.

Соотношение речь — действительность, наряду с соотношением речь — мышление, позволяет осмыслить такие коммуникативные качества, как точность и логичность. Если между значением слова и его предметной отнесенностью достигнуто в речи полное соответствие, речь точна; если достигнуто соответствие между смысловыми связями слов и предложений, с одной стороны, и «логикой» отношений и зависимостей между предметами и явлениями реального мира, с другой, речь логична. В сущности, оказывается, нужно было бы различать точность понятийную и точность предметную, логичность понятийную и логичность предметную — в описаниях коммуникативных качеств речи.

д) **Соотношение речь — человек, ее адресат** (получатель). Автор речи создает ее, как правило, не для себя, а для другого. Помимо автора речь имеет адресата (получателя). Им может быть один человек или группа людей. Речь, таким образом, всегда «отнесена» к человеку, ее адресату. Автор обычно заинтересован в том, чтобы получатель речь понял, чтобы она была получателю доступной (исключения бывают, но они едва ли многочисленны); в том же заинтересован и получатель. В связи с этим может быть осмыслено коммуникативное качество речи, называемое ее доступностью. Доступна такая речь, языковая структура которой облегчает опознавание получателем выраженной ею информации (вопрос о доступности самой информации — особый!).

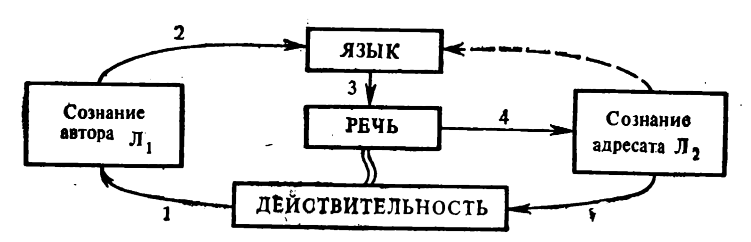
На базе того же соотношения получает разъяснение и словосочетание «действенность речи». Если языковая структура речи побуждает ее получателя к изменению

поведения, внешнего (поступка, действия) или внутреннего (мыслей, взглядов, настроений), она действенна.

е) **Соотношение речь — условия общения.** Под «условиями общения» будем понимать место, время, жанр и задачи коммуникативного процесса. Языковая структура речи должна быть приведена в соответствие с условиями общения, и в этом случае речь может быть названа уместной.

Так намечаются контуры системного подхода к свойствам речи, к ее коммуникативным качествам, и появляется возможность терминировать привычные слова правильность речи, ее чистота, точность, логичность, выразительность, образность, доступность, действенность и уместность.

§ 3. Перечисленные отношения структуры речи к неречевым структурам участвуют в осуществлении коммуникативного процесса, графическая модель которого может быть использована для более наглядного представления и дополнительного пояснения коммуникативных качеств речи.



Эта графическая модель позволяет увидеть, какие шаги должны быть сделаны, чтобы замкнулся коммуникативный круг, какие отношения речи к неречевым структурам на каждом шаге работают, ошибки и неуверенность каких шагов сказываются на общем качестве, на уровне культуры речи.

Модель показывает, что в коммуникативном круге прежде всего необходим шаг: действительность — сознание $Л_1$, т. е. необходимо, чтобы автор имел некоторый предмет для разговора, некоторую информацию о действительности. Первым шагом будет вызван шаг второй: сознание — язык, т. е. сознание автора, получив «задание» от действительности, обратится к механизму языка за знаковым материалом для построения речи. Третий шаг язык — речь будет вызван и обусловлен предшест-

вующими двумя и приведет к построению речи как хорошей или плохой знаковой модели действительности. Четвертый шаг речь — сознание адресата (получателя), опознающего речевую модель и обозначенную ею действительность, а также работу сознания $Л_1$, т. е. сознания автора. Опознавание сознанием $Л_2$ действительности в соответствии с тем, как будет опознана речь, и составит пятый шаг коммуникативного круга. Если адресат, осуществив пятый шаг, пожелает ответить на полученную информацию, он станет автором речи и коммуникативный круг будет повторен, но в обратном направлении.

На каких же шагах коммуникативного круга, ослаблением и нарушеним каких коммуникативных отношений речи к неречевым структурам может ухудшаться ее качество?

На первом шаге (действительность — сознание $Л_1$) могут появиться «помехи» в результате плохого видения, знания действительности или в результате недостаточной переработки сознанием (мышлением) поступившей от действительности информации. Это приведет к ошибкам в выборе и речевой организации средств языка, а затем и к тому, что речь как модель действительности будет искажать ее, т. е. утратит необходимую точность и логичность.

На втором шаге (сознание $Л_1$ — язык) также могут появиться помехи в результате неокрепшего владения языком и слабого знания его материала и его свойств, а также в результате недостаточной переработки сознанием $Л_1$ поступившей от языка информации, т. е. плохого контроля сознанием создаваемой структуры речи. Это, как и в первом случае, приведет к ошибкам в выборе и речевой организации средств языка, а затем и к тому, что речь как знаковая модель действительности будет искажать ее (или ви́дение и понимание ее сознанием $Л_1$), т. е. утратит необходимую точность, логичность и ослабит другие свои коммуникативные качества.

На третьем шаге (язык — речь) по причинам, только что названным, речь может ослабить свои коммуникативные качества, и это может произойти даже при условии, что шаг первый и шаг второй были сделаны удовлетворительно, но на третьем шаге был ослаблен контроль сознания за построением речи.

На четвертом шаге (речь — сознание $Л_2$) будет возбуждена работа сознания (мышления) $Л_2$ в результате

воздействия речи. При этом может произойти следующее: а) из-за помех, возникших на первом или втором (или том и другом) шагах коммуникативного круга, сознание $Л_2$ воспримет такую модель действительности (и работы сознания $Л_1$), которая в той или иной степени эту действительность искажает; результат — большее или меньшее непонимание адресатом той информации, которую был намерен выразить автор речи; б) из-за помех, возникших на третьем шаге коммуникативного круга и вызванных ошибками предшествующих, сознание $Л_2$ также будет введено в заблуждение и не осуществится нужное взаимопонимание автора речи и ее адресата; в) могут появиться собственные помехи в распознавании языковой структуры речи и выраженной ею информации либо из-за недостаточного владения языком, свойственного адресату, и недостаточного знания им материала и свойств языка, либо из-за ослабленного контроля сознания за процессом восприятия речи.

Наконец, на пятом шаге коммуникативного круга могут появиться помехи из-за неверного соотнесения сознанием $Л_2$ речи и действительности, что будет обусловлено либо неполным знанием и пониманием самой речевой структуры, либо недостаточной (для восприятия выраженной ею информации) осведомленностью о действительности, либо ослаблением контроля сознания над соотношением речи и сознания, речи и действительности.

Так, в общих чертах, рисуется коммуникативный круг, по которому движутся знаки языка и выражаемая построенными из них речевыми цепями информация.

§ 4. В связи с намеченными здесь отношениями структуры речи к неречевым структурам и пониманием этих отношений как базы для построения теории и описания коммуникативных качеств речи и ее культуры, полезно рассмотреть некоторые проблемы ее изучения. Возьмем лишь немногие — и очевидные.

1. Понимание норм литературного языка не имеет в настоящее время желаемого и нужного единообразия. И это касается не только вопроса о том, что такое норма, но и вопроса о том, все ли структурные уровни языка имеют норму, а если да, то чем эта норма специфична на каждом уровне.

В частности, совсем неясно, имеет ли норму лексический и лексико-семантический уровень литературного языка. Многие авторы такую норму предполагают и го-

ворят о ней. Многие же авторы предпочитают о ней промолчать. Есть и такие, кто в ее существовании сомневается. К числу сомневающихся должен отнести себя и автор этого пособия.

В главе первой было допущено, что норма — это исторически принятый в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор одного из функциональных парадигматических и синтагматических вариантов языкового знака; было допущено также, что норма регулирует чисто структурную, знаковую, языковую сторону речи, не захватывая важнейших в общении отношений речи к сознанию, действительности, человеческому поведению.

Но если так, норма воспринимается и применяется в результате действия речевого автоматизма; если норма усвоена, нет колебаний в выборе языкового варианта — есть «правильно» и «неправильно», «так говорят» и «так не говорят». И все это хорошо применимо к произнесению фонем и их вариантов, к месту ударения в слове, к образованию форм слова и самих слов, к построению предложений и к типам интонирования. Однако все это неприменимо или применимо с какими-то сложными оговорками и сомнениями к употреблению в речи слов и их значений.

Выбор слова и его значения для введения в речь регулируется скорее не нормой, а целесообразностью. Об этом, между прочим, убедительно говорит авторское редактирование текста, так называемая работа писателя над словом. Пушкин и Л. Толстой, Чехов и Маяковский в большинстве случаев заменяли одно слово другим, а другое — третьим и четвертым не потому, что первое слово было неправильно: оно было неточно или неуместно, не вступая в противоречие с указаниями толковых словарей и грамматическими предписаниями. В использовании лексики и лексической семантики речевой автоматизм не срабатывает или оказывается недостаточным. Требуются другие силы. Требуется соотнести речь и с языком, и с сознанием, и с действительностью, и с условиями общения для того, чтобы найти единственно нужное размещение единственно нужных слов (по убеждению Л. Толстого).

Было бы очень просто читать студентам доступные и понятные лекции, вести действенную пропаганду, создавать образцовые художественные тексты, если бы выбором и применением слов и их значений управляла

норма. Но она всем этим не управляет. И поэтому остается неясным, что́ называют лексической нормой ее защитники.

2. Требует обновленного осмысления старое-престарое различение выразительных и изобразительных средств языка (или речи?). По смыслу терминов получается, что одни — «выражают», другие — «изображают»; одни как будто соотнесены с сознанием, другие — с миром вещей. Антитезы, повторы, анафоры — выражают, эпитеты, метафоры, метонимии — изображают.

Но ведь в речи функции выражения и функции изображения очень часто объединяются, сливаются и их носителями оказываются одни и те же средства языка. «Ты как отзвук забытого гимна в моей черной и дикой судьбе» (А. Блок) — какие слова и их сочетания «выражают», а какие «изображают»?

Деление средств языка на изобразительные и выразительные воспринимается в наше время как очень традиционное и едва ли оправдываемое фактами. И вместе с тем это деление хочется как-то принять и сохранить — может быть, с большими теоретическими поправками.

Напрашивается, например, попытка «изобразительность» отдать лексике и семантике, а «выразительность» — синтаксису. Но ведь и слова не только «изображают», но и «выражают»; коммуникативное качество выразительности создается своеобразием организации в речи средств языка, включая и лексику, и ее семантику.

Может быть, следует принять термин «изобразительно-выразительные средства языка», уже известный современной науке? Этот термин не требует обязательного разграничения «изобразительности» и «выразительности» и позволяет строить типологию изобразительно-выразительных средств уже на прочной базе языковой структуры (лексические изобразительно-выразительные средства, словообразовательные, морфологические, синтаксические, интонационные, фонемно-акцентологические). При этом не упускалась бы возможность замечать изменение «силы» выразительности (или изобразительности) при переходе от одного структурно-языкового типа изобразительно-выразительных средств языка к другому. Таким образом удалось бы сохранить традиционную идею изобразительности лексики и выразительности синтаксиса, придав ей более гибкое и более верное осмысление и применение.

3 Заказ 693

Как же изобразительно-выразительные средства языка используются речью для формирования и функционирования ее коммуникативного качества — выразительности? Может ли быть выразительной речь, если в ней нет изобразительно-выразительных средств языка? Если принять во внимание то, что изобразительно-выразительные средства применяются как правило и прежде всего в речи художественной, поставленный ранее вопрос можно переформулировать: может ли быть выразительной нехудожественная речь (публицистическая, научная, деловая)?

Но на этот вопрос ответ подсказывается нашим речевым опытом: да, и публицистическая, и научная, и даже деловая речь может быть в той или иной степени выразительной. Какими средствами языка и какой их организацией в структуре речи это достигается?

3. В этой главе уже упоминалось о том, что одно и то же коммуникативное качество речи может обосновываться двумя или даже тремя отношениями языковой структуры речи к неречевым структурам.

Так, точность речи зависит не только от соотношения речь — мышление, но и от соотношения речь — действительность. То же можно сказать и о чистоте речи. Чистота речи регулируется не только соотношением речь — язык, но и соотношением речь — сознание (его нравственные аспекты).

Это ставит перед учением о культуре речи вопрос о типах или вариантах того или иного коммуникативного качества, обусловленных раздельностью или совместностью влияний, оказываемых на него отношениями речевой структуры к неречевым. Точность речи может быть предметной, понятийной, образной и смешанной. Логичность может быть предметной, понятийной, образной и смешанной. Чистота может быть структурной, понятийной и смешанной. Выразительность может быть структурной, образно-эмоциональной, понятийной и смешанной и т. д.

Понятно, что описание этих типов или вариантов коммуникативных качеств могло бы помочь более строгому пониманию возможностей практического влияния науки и преподавания на уровень речевой культуры, могло бы помочь выработке соответствующих рекомендаций.

4. В коммуникативном акте участвуют два сознания — сознание автора речи и сознание адресата. В иде-

але коммуникативный акт должен опираться на адекватную работу этих двух сознаний — и это должно быть обеспечено качеством речи.

Вдумаемся в своеобразие и сложность этой задачи. Как правило, автор речи выражает какую-то уже известную его сознанию, переработанную и освоенную этим сознанием информацию. Адресат должен, восприняв речь, выработать такую же информацию, обратившись прежде всего к ее источнику, т. е. каким-то явлениям, фактам, сторонам действительной жизни. Но для того чтобы информация выраженная и информация «воспринятая» (а точнее, выработанная сознанием адресата под воздействием речи) оказались адекватными, необходимо: а) чтобы источник информации был у автора речи и адресата один и тот же; б) чтобы оба сознания эту информацию, идущую из одного и того же источника, одинаково ограничили в самом источнике; в) чтобы оба сознания эту информацию одинаково осмыслили и выработали к ней одинаковое отношение, одинаково ее оценили; г) чтобы оба сознания одинаково относились к языку, его знакам и их значениям. Можно предположить, что все эти условия не будут соблюдены почти никогда, поэтому информация, выраженная речью, и информация, выработанная сознанием адресата под воздействием речи, будет так или иначе различаться, ее адекватность не будет обеспечена.

Естественно, возникают вопросы, затрагивающие проблематику культуры речи. Один из них: в какой мере расхождения информации в сознании автора речи и ее адресата будут зависеть от ее структуры, а в какой — от иных, неязыковых условий (знания человека, его опыт, возраст, уровень развития, темперамент и т. д.). Как преодолеть с помощью самой речи опасность неполного понимания автора речи ее адресатом, если это неполное понимание вызвано неязыковыми условиями? Например, как преподаватель, знающий в своей области неизмеримо больше, чем студент — его слушатель, может максимально уменьшить опасность неполного или неверного понимания путем соответствующей корректировки речи?

Можно думать, что обсуждаемая здесь проблема «двух сознаний», участвующих в акте коммуникации, очень важна не столько для теории культуры речи и описания ее коммуникативных качеств, сколько для

самой практики речевого общения. Ведь все области деятельности, где язык применяется в качестве профессионального оружия (художественная литература, наука, преподавание, пропаганда, публицистика и т. д.), заинтересованы в том, чтобы посредством речи сводить к минимуму различия в информации, зависящие от несовпадения работ двух сознаний.

5. Поставленные только что вопросы, связанные с двумя сознаниями, участвующими в акте коммуникации, своеобразно возникают и тогда, когда мы начинаем осмысливать действенность речи. Не получается ли нередко так, что речь действенна по мнению автора и мало действенна — по мнению читателя или слушателя (пусть ни тот, ни другой не использует термин «действенность»)? Автор речи, если он не имеет специальных знаний о свойствах языка и возможностях речи, не может оценить степень ее действенности; адресат это может сделать хотя бы потому, что понял то, что услышал или прочитал, либо не понял, захотел что-то изменить в своем поведении или не захотел и т. д.

Действенность речи усиливается или ослабляется не только в зависимости от того, какие средства языка и как были применены, но и в зависимости от того, для выражения какой информации они были использованы — достаточен ли был в этой информации тот ее слой, который создавался не воздействием объективного мира, а реагированием на это воздействие, его эмоциональным и эстетическим восприятием и оценкой — в сознании автора.

Но все это вопросы, которые уже возникли, однако решение их пока не вполне подготовлено, и это суживает возможности рекомендательного влияния науки на речевое поведение людей.

6. Очень сложной и малопроясненной остается проблема взаимодействия и взаимообусловленности семантики языковых знаков, вошедших в речевые цепи, и выражаемого этими цепями смысла, т. е. конкретной логической, эмоциональной и образно-эстетической информации. Во «Введении» уже было сказано о том, что следует различать значение, семантику языковых знаков и смысл текста. Однако понимание этой необходимости не влечет за собой автоматически решения самой проблемы. В 70-е годы сделана не одна попытка объяснения перехода от «смысла к тексту» путем создания различ-

ных «порождающих» моделей. Однако ни одна из этих попыток не дала обещанных результатов.

Но все же можно предположить, что суть проблемы заключена в том, что смысл текста — это выражаемая им информация о конкретной работе сознания отдельного человека в процессе отображения вполне определенных, именно этих сторон, явлений, предметов реального мира; семантика языкового знака (его значение) — это присущее ему свойство выражать и возбуждать информацию о чем-то, что отличается от него самого. Языковой знак благодаря этому свойству членит многообразие и многоразличие динамичной и постоянно меняющейся информации о конкретной работе сознания на конечное, хотя и очень большое, число обобщающих смыслы значений, которые и становятся опорой и условием возникновения и выражения все новых и новых смыслов.

Из этого пояснения очевидно, по крайней мере, то, что смысл текста и семантика языковых знаков (прежде всего слов) предполагают друг друга: семантика слова — результат отвлечения от смыслов и обобщения их; смысл текста — результат работы конкретного сознания, опирающейся на семантику слов, которая может быть представлена как некий информационный инвариант, меняющийся вариативно в смыслах текста.

Проблемы речевой культуры, в частности проблемы коммуникативных качеств речи, не могут быть полностью решены без внимания к сложным и пока во многом неясным вопросам соотношения и различия семантики языкового знака и смысла текста.

7. Неразрывность семантики знаков языка и смысла текста по-особому освещает некоторые стороны коммуникативных качеств речи. Очевидно, что такие качества речи, как точность, логичность, выразительность, действенность, уместность, не могут быть поняты, если структуру речи (со свойственной ей семантикой) взять вне ее связи со смыслом текста. Можно, видимо, говорить о взаимном воздействии семантики знаков языка на смысл и смысла на коммуникативные возможности знаков языка, их речевых цепей.

Языковая структура речи, воздействуя на сознание слушателя или читателя, получает заряд не только от языка, но и от смысла текста. Лишь теоретически можно (и нужно!) речевую структуру брать в ее отвлечении от смысла — для более полного и точного постижения ее

коммуникативных свойств и особенностей. Практически же, в общении, в коммуникативном акте, структура речи работает как выражающая вполне определенный смысл текста, и в зависимости от того, какой это смысл, как он взаимодействует с речевой структурой, усиливаются или искажаются и ослабляются коммуникативные качества речи.

Можно привести только один пример. В «среднем» коммуникативные качества речи художественной окажутся более сильными по воздействию на сознание адресата, чем коммуникативные качества речи научной или деловой. Объяснение этого факта нужно искать не только в том, что художественная речь богаче по набору и использованию средств языка, но и в том, что эта речь эмоциональнее, активнее, личностнее по выражаемому ею смыслу.

Все эти соображения неизбежно приводят к выводу о том, что мы допустили бы большую ошибку, если бы забыли, что язык, по Марксу, это практическое, действительное сознание и что нет и не может быть речи самой по себе — она всегда выражает то или иное содержание, смысл, конкретную информацию, которая становится одним из важных условий речевой культуры.

8. Один из сложных вопросов, возникающих перед учеными, обдумывающими проблему «речь и сознание»,— это вопрос об эстетическом восприятии речи, ее структуры сознанием. Речь может восприниматься как красивая и некрасивая. Но те состояния сознания, которые побуждают человека сказать «Как красиво!» или «Как безобразно!»,— эти состояния сознания в очень большой степени зависят от господствующих социальных интересов и вкусов и в известных пределах меняются вместе с ними. Эстетические идеи и представления в классовом обществе носят классовый характер, и в обществе, свергнувшем эксплуататорские классы, эти идеи и представления социально обусловлены; поэтому они не могут быть совершенно одинаковыми у разных людей, даже если эти люди живут в государстве, способствующем усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом и т. д. Кроме того, нужно принять во внимание воздействие на отдельных людей созданных в прошлом эстетических ценностей и различие этих воздействий.

Одним словом, люди неодинаково осознают и оценивают (разумеется, не всегда) одни и те же произведения искусства, эстетические стороны жизни в различных ее проявлениях.

Есть словесные произведения, эстетическое воздействие которых настолько сильно, что оно становится бесспорным и как бы снимает многие различия в восприятии и оценке прекрасного, существующие в обществе. Достаточно назвать в истории русской литературы и словесного, речевого творчества имена А. Пушкина, Л. Толстого, А. Чехова, А. Блока. Однако известно, какие страсти рождало пламенное, поэтически-ораторское слово В. Маяковского; страсти поулеглись, но деление читателей на сторонников и противников поэта осталось. А ведь если вдуматься в причины согласия или несогласия читателей с поэзией Маяковского, можно заметить, что эти причины — прежде всего в необычности для традиционной поэзии речевой системы поэта, в необычности отбора в поэзию языковых средств и способов их речевой организации.

Учение о речевой культуре не может обойти вопрос об эстетическом восприятии речи. Он важен и для теории, и, еще больше, для практики. Чтобы наш социалистический идеал выступил «во всем его величии и во всей его прелести» (Ленин), образ героя должен отличаться жизненностью и убедительностью. Только на высоком уровне художественности произведения «вдохновляют современников и передают потомкам память сердца и души о нашем поколении, о нашем времени, его треволнениях и свершениях» [*22*, 80].

Уроки писателей-классиков, требовавших от себя и других самого строгого критического отношения к слову, его эстетическим свойствам и возможностям, не утратили своего значения и сегодня; в их числе и совсем недавние по времени уроки А. М. Горького. Однако много еще книг, похожих одна на другую. «Язык в таких книгах,— как отметил Г. Марков на VI съезде советских писателей,— сугубо правильный, но бесцветный, без солей, витаминов и, не боюсь сказать, без микробов, то есть без признаков живой материи» [*61*, 34].

Для улучшения качества художественной литературы пристальное внимание писателей и критиков должно быть направлено и на речевую культуру художественной речи, в особенности на ее эстетические свойства.

ГЛАВА 3

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ: НОРМЫ УДАРЕНИЯ

§ 1. Правильность речи — ее не единственное, но главное коммуникативное качество. Почему главное? Потому что прежде всего правильностью речи обеспечиваются ее взаимопонимаемость, ее единство. Нет правильности — не могут «сработать» другие коммуникативные качества — точность, логичность, уместность и т. д. Правильность речи всегда ведет нас к соблюдению норм литературного языка, неправильность — к отступлению от них. Поэтому определение правильности речи как ее главного коммуникативного качества можно считать общепризнанным в науке и достаточно четким: правильность речи — это соответствие ее языковой структуры действующим языковым нормам.

О понимании нормы уже говорилось во введении к этому пособию. Мы условились называть нормой исторически принятый в данном языковом коллективе (предпочтенный) выбор одного из функциональных парадигматических и синтагматических вариантов языкового знака. Но если это выбор одного из вариантов языкового знака на каждом шаге развертывания речи, это значит, что на каждом же шаге остаются нереализованными отвергнутые нормой варианты и один из этих отвергнутых вариантов может быть подсказан речевыми навыками индивида, не очень хорошо освоившего норму. Получается, что норма несет в себе самой возможность отклонения от нее, когда она применяется отдельными людьми. Возникает, таким образом, проблема степени усвоения нормы говорящими и пишущими — проблема не столько лингвистическая, сколько психологическая и педагогическая. Одни нормы усваиваются легко и при минимальном участии школы. Другие нормы укрепляются влиянием школы. Третьи — остаются полуосвоенными

и после окончания человеком средней школы. Было бы полезно для целенаправленного воздействия на речевую культуру знать, какие именно знаки языка имеют норму, усваиваемую независимо от школы, какие — под воздействием школы и какие остаются неусвоенными и в средней школе; перечни норм третьего типа были бы особенно нужны — и для дополнительных усилий школы, и для внешкольного воздействия на говорящий коллектив (через печать, радио, телевидение и т. д.).

Если норма — это исторически принятый (предпочтенный) выбор одного из функциональных вариантов языкового знака, то, по смыслу определения, следует, что нормы с течением времени и в результате действия совокупных социальных условий, в которых применяется язык, меняются. Но если нормы меняются (а изменение норм не может быть актом одноразовым и быстрым), неизбежно существование старой и новой нормы в тот или иной период развития литературного языка — в тех или иных его узлах и точках.

Это хорошо известно лингвистам, специалистам по истории литературного языка. Можно напомнить читателям некоторые факты. В. И. Чернышов в работе «Правильность и чистота русской речи» писал в начале XX столетия: «В русском языке еще недавно колебались в форме некоторых слов между мягкими и твердыми произношениями и написаниями, особенно в слогах *ры*, *ри*.

Так, Пушкин часто писал: *скрып, скрыпит,* у Тургенева и Толстого находим: *брычка*, Белинский писал: *Александрынский театр* и т. д.

Теперь прочно остановились на одной какой-либо форме, и старые, находившие себе опору в народном произношении, не допускаются в литературном языке.

В наше время употребляются только формы: *скрип, скрипка, скрипеть, бричка, Александринский, расстрижение, кринка, криница, дырявый, крыльцо*» [*97*, 471].

Несколько далее В. И. Чернышов говорит: «Так как в современном употреблении правильные формы родительного на *-у* нередко подменяются новыми мнимограмотными формами на *-а*, то следует рекомендовать формы родительного на *-у* в выражениях, подобных [далее из большого списка взяты лишь отдельные выражения, предложенные ученым.— *Б. Г.*]: *много воздуху, принес картофелю, насеяли клеверу, мало меду, купи перцу, налил портвейну, купил ситцу, поел супу и сыру, занял*

хмелю, бутылка хересу, привез цементу, хочу черносливу, чашка шоколаду, много шелку» [97, 493].

По авторитетному мнению В. И. Чернышова, в современном литературном языке в именительном (и винительном) падеже множественного числа имеют окончание *-а, -я* вместо *-ы, -и* следующие имена существительные мужского рода: *баса, боцмана, грифеля, дьякона, кителя, колера, конюха, лекаря, маклера, писаря, редактора, ректора, струга, фельдшера, фельдъегеря, штемпеля, штурмана, щеголя, ястреба* [из большого списка, предложенного ученым, выборка сделана автором пособия.— *Б. Г.*].

Попытаемся непредвзято взглянуть на рекомендации В. И. Чернышова. Да, и теперь, в 80-е годы XX столетия, норма требует произношения *скрип, скрипка, бричка, Александринский, крыльцо,* а не *скрып, скрыпка, брычка, Александрынский, крильцо.* Значит, старая норма ушла, новая прочно утвердилась.

Но едва ли мы безоговорочно согласимся с рекомендацией писать и говорить *много воздуху* (не лучше ли — *много воздуха?), принес картофелю* (а почему бы не *принес картофеля?), насеяли клеверу* (разве хуже — *насеяли клевера?), купил ситцу* (а может быть, предпочесть — *купил ситца?), чашка шоколаду* (видимо, правильнее — *чашка шоколада).*

И совсем невозможно согласиться с рекомендацией писать и говорить *аптекаря, дисканта, консула, лоцмана, офицера, пристава, прииска, промысла, слесаря, служителя, фактора, фельдфебеля, цензора, циркуля* и т. д.

Что же произошло? Почему мы не соглашаемся с рекомендациями серьезного, вдумчивого специалиста — знатока русской литературы XIX в., а значит, и закрепленных ею литературных норм?

Исторически формы родительного падежа имен существительных мужского рода давным-давно используют конкурирующие окончания *-а* и *-у.* Иначе говоря, давным-давно борются две нормы, охватывая, правда, небольшой круг имен, но имен активных. Окончание *-у* в начале XX в. было более сильным в разговорном стиле, окончание *-а* — в стилях книжных.

Подобное же размежевание (хотя очень непоследовательное) было свойственно и окончаниям именительного падежа множественного числа (а также падежа винительного) *-ы, -и* и *-а, -я* в существительных мужского

рода (хотя круг этих существительных также не очень велик). Окончание *-ы, -и* более старое и книжное, окончание *-а, -я* более молодое и разговорное.

В. И. Чернышов признавал: «Употребление в большинстве случаев давно узаконило приведенные выше нормы с окончанием *-а* (*-я*) вместо *-ы* (*-и*) в именительном падеже множественного числа имен мужского рода. Относительно редких словоупотреблений мы уже сделали необходимые оговорки. Если взять самое близкое к нам время, то мы увидим полное господство в языке приведенных выше форм на *-а*». И ниже: «Возникает вопрос, каких форм нам держаться в употреблении? Мы видим вообще поступательное движение и победу новых форм с *-а, -я* над формами с *-ы, -и*, и это дает нам основание смело держаться новых форм, если мы усвоили их употребление. Ведь и формы *века, дома, края, паруса, писаря, пояса, учителя, рога, снега* лет сто тому назад должны были казаться вульгарными, малограмотными» [*97*, 506].

Но ведь не получилось так, как предсказывал В. И. Чернышов, хотя лингвистическая «футурология» крупного ученого как будто была безупречной, потому что опиралась на один из сильных, выраженных процессов исторических изменений в функционировании форм имени существительного. И в наши дни нередко приходится читать оптимистические заявления о том, что на базе знания прошлой истории языка можно предугадывать его будущее. Возможно, и так. Однако на практике пока это не получается — даже в таком, казалось бы, частном и ясном случае, как борьба окончаний *-ы, -а* в именительном и винительном падежах множественного числа существительных мужского рода.

В чем же ошибка автора работы «Правильность и чистота русской речи»? В том, прежде всего, что тенденцию к изменению нормы он принял за победу нормы новой. А победы не произошло. Ее нет и сейчас. Почему? Видимо, потому, что нормы сохраняются и меняются в зависимости от многих условий, в частности от степени влияния книги на общество и от степени влияния разных языковых стилей на речевую деятельность людей.

В первой половине XX столетия влияние книги непрерывно росло, в особенности после Великой Октябрьской социалистической революции, росла престижность литературы, печатного слова, т. е. литературно-книжного ва-

рианта языка. Вместе с этим росло и влияние на речевое сознание общества книжных стилей, в частности научного, делового, публицистического. Естественно, влияние разговорного стиля, на что ориентировался В. И. Чернышов, уменьшалось, а вместе с этим падала и «престижность» разговорно-просторечных окончаний *-а*, *-я*. В результате мы признаем в 1977 г. правильными формы *консулы, лоцманы, офицеры, цензоры, прииски, промыслы, циркули* и т. д.

В Древней Руси население, говорившее по-русски, окало, т. е. произносили звук [о] не только под ударением, но и в безударных слогах (подобно тому, как это происходит и в наши дни в ослабленных, но живых говорах Севера, Северо-Востока и Сибири). Однако оканье не стало нормой национального русского литературного языка. Что же помешало? Изменение состава московского населения и разнодиалектный состав населения Петербурга. Москва в XVI—XVIII вв. вбирала в себя многих выходцев из южных губерний и принимала, не замечая того, черты южнорусского произношения, в частности так называемое аканье. И это происходило как раз в то время, когда закладывались прочные основания единого литературного языка с его нормами. Одной из них и стало аканье.

После Великой Октябрьской социалистической революции, в особенности в период первых пятилеток, состав и численность населения Москвы и Ленинграда вновь быстро и заметно менялись. Это лишало «чистоты» систему московских и ленинградских языковых норм и вело к угасанию различий между ними. Кроме того, под влиянием грамотности и книги возникали такие изменения в нормах произношения, которые явно подсказывались написанием слова, буквой: постепенно уходило из «набора» произносительных норм «иканье» [ч'иво́, в'иду́] и заменялось «еканьем» [ч'эво́, в'эду]; смягчались в соответствии с написанием звуки [г], [к], [х] в конце основы перед окончанием (мы теперь предпочитаем [гро́мк'ий, т'и́х'ий, до́лг'ий] и все чаще отвергаем правильные для начала века звучания [гро́мкъй, т'и́хъй, до́лгъй]; «как по писаному», мы произносим возвратную частицу *-ся* в глагольных формах, т. е. мы смягчаем звук [с']: [дъгада́лс'а, улыба́яс'] — а по старой норме этот звук должен быть твердым.

Таким образом, даже беглые наблюдения условий,

в которых функционируют и меняются нормы литературного языка, обнаруживают, что эти условия различны и сами подвержены историческим переменам. Это и когда-то очень сильные, а ныне угасающие диалекты, это и изменение состава населения культурных, политических и административных центров страны, это и распространение грамотности, это и овладение литературным языком и его стилями, это и так называемая, уже упоминавшаяся ранее кодификация самой литературной нормы.

Кодификация литературной нормы — это ее официальное признание и описание в грамматиках, словарях, справочниках, имеющих авторитет во мнении общества. Кодифицированная норма прочнее некодифицированной, в особенности если кодификация известна широким кругам населения. Кодификация открывает возможность обеспечить большую устойчивость нормы, предотвратить полустихийные и как будто не контролируемые ее изменения. Об этих возможностях кодификации можно судить по следующим двум примерам: а) разговорная речь упорно навязывает носителям литературного языка ударение *зво́нишь*, *зво́нит*, *зво́ните*, *позво́нишь*, *позво́ните* и под.; такое именно ударение поддерживается законом аналогии: мы произносим *хо́дишь, хо́дит, но́сишь, но́сит, про́сишь, про́сит*, глаголы *ходить*, *носить*, *просить*, *звонить* имеют вполне сходное строение, так почему же нужно произносить *звони́шь*, *звони́т* и т. д.? Тем не менее, несмотря на сильнейшее давление разговорной речи и наличную в самом языке базу, опору для переноса ударения в глаголе *звонить*, правильным надо признать *звони́шь*, *звони́т*, *звони́м*, *звони́те*, *звоня́т*, *позвоню́*, *позвони́шь* и т. д. Почему? Потому что таково предписание кодифицированной нормы, опирающейся не только на указания грамматик и словарей, но и на авторитет классической русской литературы, на престиж артистов наиболее известных театров и т. д.;

б) под воздействием принятого цифрового обозначения числительных в печатных текстах мы испытываем затруднения в склонении имен числительных. Как нужно произнести количественное числительное, если в тексте напечатано: *Колхозы района продали государству дополнительно более 275 000 пудов хлеба*? Не каждый читающий вслух такой текст произнесет имя чис-

лительное правильно, т. е.— *более двухсот семидесяти пяти тысяч*. Один прочитает так, другой — еще как-нибудь. Нарушается норма, наносится ущерб единству языка — пусть и незначительный. А ради чего, собственно, допускать расшатывание языка, подрывать его нормы? Ведь эти нормы кодифицированы.

Но как же быть в тех случаях, когда одна норма силой социальных влияний заменяется другой нормой? В период замены принять обе нормы, кодифицировать обе, и дать времени делать его дело.

§ 2. Историческая смена норм литературного языка, сосуществование в отдельных «точках» языковой структуры двух норм — это явления объективные, не зависящие от воли и желания отдельных людей. Поэтому и различия в произношении, ударении, образовании форм слова или в построении предложений, если эти различия вызваны сменой и сосуществованием норм, должны признаваться объективными по своему источнику и вызвавшим их причинам.

Однако уже предложенный читателю пример с именами числительными количественными побуждает предположить, что есть и иные, субъективные, условия и причины, вызывающие нарушение норм языка в речи отдельных людей. Нередко случается так, что та или иная норма просто не усвоена человеком, он не сталкивался с ней в своей речи или, если и сталкивался, не знал ее как следует, не перевел ее в свой речевой навык. Бывает и по-другому: человек с нормой знаком, но для ее применения требуется некоторое, пусть не очень большое, усилие мысли и памяти, и это усилие нужно осуществить в доли секунды — и говорящий пасует, он искажает норму — говорит (или пишет) не как нужно, не как правильно, а как полегче. Именно так поступают читающие текст с цифровыми обозначениями имен числительных — если навыки образования форм этих числительных недостаточны, знания полузабыты, а напрягать память и думать о словах не хочется.

Многочисленны случаи искажения синтаксических норм, регулирующих соединения слов в составе предложения, построение предложений. «Граждане командировочные, оплачивайте за проезд купившие талонами!» — что это такое — влияние колебания нормы или незнание простейших законов языка, незнание нормы и нежелание задуматься о той бессмыслице, которая воз-

никает в результате субъективного искажения нормы?

Нельзя не видеть принципиальной разницы между объективными колебаниями нормы и их отражением в речи, с одной стороны, и субъективными искажениями нормы — с другой. Нельзя, в частности, потому, что субъективные искажения нормы могут оказаться приписанными (при изучении разговорной речи) языку, его свойствам, используемым в разговорном стиле. К сожалению, появились лингвистические работы, авторы которых, опираясь на магнитофонные записи разговорной речи, склонны все ее особенности связывать с «нормами разговорного языка». Между тем в числе этих особенностей, помимо того, что идет от свойств языка и его норм, немало результатов небрежного, невнимательного или невежественного применения языковых норм. В речи надо различать, как об этом уже говорилось, норму и ее искажение. И не следует думать, что искажение нормы всегда вызывается объективно-языковыми причинами и условиями. В противном случае мы пришли бы в конце концов к оправданию всего, что встречается в речи, включая «меканье», словесные и логические перебои, разрывы и разрушающие смысл изломы предложения, деформированные интонации и т. д. Защитники особых «норм разговорной речи» (разговорного языка) ссылаются иногда на то, что они записывают речь литературно образованных людей (учителей, инженеров, ученых и других лиц, имеющих среднее и высшее образование). Но ведь образование само по себе, в особенности образование техническое, не дает знания языковой нормы во всем ее объеме и тем более не обеспечивает усвоения необходимого круга речевых навыков. Те, кого называют «носителями литературного языка», владеют этим языком кто лучше, кто хуже. Неужели нужно в связи с этим вспоминать о том, что был Пушкин и рядом с ним были десятки ныне забытых писателей, не владеющих хотя бы сносно нормами литературного языка своего времени? Неужели нужно напоминать о том, что М. Горький, защищая классический русский литературный язык, вынужден был учить чуть ли не азам литературно-языковой грамоты многих лиц, которые громко именовали себя писателями, не имея за душой самого необходимого — владения нормами литературного языка?

§ 3. Нормы литературного языка регулируют функциональное варьирование, выбор парадигматических и синтагматических вариантов на разных уровнях языковой структуры. Поэтому можно различать структурно-языковые типы норм.

1. Нормы произношения регулируют выбор акустических вариантов фонемы или чередующихся фонем — на каждом шаге развертывания речи и в каждом слоге отдельные слова. Можно [зълато́й], нельзя [золото́й]; можно [дека́н], нельзя [д'экан]; можно [агаро́т — уса́д'ба], нельзя [агарод — уса́т'ба].

2. Нормы ударения регулируют выбор вариантов размещения и движения ударного слога среди неударных. Можно *кварта́л*, нельзя *ква́ртал*. Нормы русского современного ударения в литературном языке тесно связаны с морфологическими свойствами частей речи и оказываются одним из их формальных показателей. Подвижность и разноместность современного русского ударения делает его трудным для усвоения, в особенности лицами, для которых русский язык неродной и усваивается ими не в раннем детстве, что приводит к «накладыванию» новых акцентологических норм на старые, уже усвоенные в родном языке.

3. Нормы словообразования регулируют выбор морфем, их размещения и соединения в составе нового слова: можно *наблюдатель*, но нельзя — *наблюдальщик*, можно *охотник*, но нельзя — *охотщик*, можно *лесной*, *речной*, но нельзя — *лесовой, рековой*.

4. Нормы морфологические регулируют выбор вариантов морфологической формы слова и вариантов ее сцепления с другими: можно *офице́ры, инжене́ры*, нельзя — *офицера́, инженера́*; можно *много дел, нет мест* и нельзя — *много делов, нет местов*.

5. Нормы синтаксические регулируют выбор вариантов построения предложений — простых и сложных; можно *Когда я подъезжал к этой станции и задумчиво глядел в окно, у меня с головы слетела шляпа*; нельзя (запись чиновника Ярмонкина в жалобной книге — читатель, конечно, помнит рассказ А. П. Чехова): «Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа».

6. О нормах лексических мы уже говорили. Читатель, возможно, помнит, что нет оснований регулирование выбора слов и их значений приписывать действию

нормы. Норма действует жестко и категорично, к тому же в сфере речевого автоматизма. Выбор слова и его значения, как правило, не предписывается жестко и категорично и зависит от решения, которое примет сознание говорящего или пишущего. Этот выбор регулируется обычно не нормой, а целесообразностью — принципом, который действует достаточно мягко и вместе с тем требовательно, удовлетворяя нужды речевого общения. Но все же на долю нормы в лексике кое-что остается: это те слова и фразеологизмы, применение которых исключено литературным языком.

7. В современной лингвистической литературе иногда говорят и о нормах стилистических, имея в виду, прежде всего, несоответствие выбранного слова или синтаксической структуры условиям общения и господствующему стилю изложения. Так, по словам К. И. Чуковского, один из переводчиков «принес в издательство «Всемирная литература» такой перевод романтической сказки:

«За неимением красной розы жизнь моя будет разбита». Горький сказал ему, что канцелярский оборот «за неимением» неуместен в романтической сказке. Старик согласился и написал по-другому:

«*Ввиду отсутствия* красной розы жизнь моя будет разбита», чем доказал полную свою непригодность для перевода романтических сказок» [*98*, 122].

Нет, видимо, людей «пригодных» и «непригодных» для усвоения норм литературного языка. Но есть, оказывается, люди «непригодные» для художественного перевода и, добавлю от себя, для сочинения художественных текстов. Это лишний раз подтверждает мысль о том, что в стиле господствуют не нормы, а целесообразность, когда нужны и вкус, и талант.

§ 4. В современном русском литературном языке среди норм произношения хочется выделить прежде всего две наиболее сильные. Одна из них — количественная и качественная редукция гласных звуков в безударном положении, другая — смягчение твердых согласных звуков перед мягкими и перед гласными переднего ряда.

Первая норма исключает так называемое оканье, т. е. произнесение звука [о] в безударном положении: нельзя, следовательно, говорить [молоко́, дорого́й, зо́лото, Во́логда, б'эгово́й, делово́й] и т. д. Нужно говорить: [мълако́, дъраго́й, зо́лъта, Во́лъгда, б'ъгаво́й, д'ълаво́й] и т. д.

«Окающие» говоры занимали большие территории на севере и северо-востоке России и оказали заметное влияние на литературную речь жителей — не только сельских, но и городских, в том числе и с хорошим литературным образованием. Известно, что многие видные представители русской интеллигенции первой половины XX в. окали, в их числе были Горький, Гладков, Калинин. На этот факт ссылаются иногда защитники окающего произношения. Но ведь языковая норма принадлежит не отдельным людям — она принадлежит всем, для кого тот или иной язык — родной. Норма современного русского литературного языка требует отказа от оканья, хотя само по себе нарушение этого требования нормы и не устраняет взаимопонимания говорящих, но может затруднять его.

Широкая по охвату звукового материала норма редукции гласных захватывает не только оканье и аканье, но также «иканье», «эканье», «яканье» и другие разновидности редукции.

В конце XIX — начале XX в. в так называемом московском произношении, которое признавалось образцовым, действовала норма, предписывавшая произнесение звука [и] на месте буквы *е* в безударных слогах [в'иду́, б'ир'о́ш, л'ит'а́т, вы́б'ижал и др.]; звук [и] произносился и на месте буквы *я* (в безударном слоге) или на месте буквы *а* после *ч* [р'идаво́й, вз'ила́, зав'ила́, ч'исы́ и т. д.]. В середине XX в. эта норма оказалась поколебленной, и нередко предпочтение отдается в перечисленных случаях произнесению звука [е], часто со слабым призвуком [и].

В этом колебании нормы нужно видеть результат влияния книги, письма, орфографии на звучание: произношение как бы приближается к написанию. Под этим влияним ослабевает редукция, и немало людей произносят [ч'асы, р'ады], хотя нет пока оснований кодифицировать такое произношение.

Очень много колебаний нормы, устанавливающей произношение согласных перед мягкими согласными в сочетаниях [сн'], [сл'], [нс'], [нт'], [нз'] и др. Институтом русского языка АН СССР были осуществлены массовые наблюдения над произношением согласных перед мягкими согласными, результаты наблюдений обработаны с помощью статистики и опубликованы в книге «Русский язык по данным массового обследова-

ния» (М., 1974). Эти данные позволяют уверенно говорить о том, что около сорока человек из каждых ста смягчают согласный звук перед мягким согласным, остальные произносят звук твердый. Но и сорок из ста — это немало. Это не позволяет признать действующей одну норму — их две, и с этим нужно считаться, обсуждая вопросы речевой культуры. Поэтому на вопрос, как правильно — [васн'э́] или [вас'н'э́], [jэ́сл'и] или [jэ́с'л'и], [ба́нт'ик] или [ба́н'т'ик], [б'эзн'и́х] или [б'эз'н'и́х], можно и нужно ответить: предпочтение не может быть пока отдано ни одному из двух вполне допускаемых нормой вариантов.

Иноязычные слова в русском литературном языке усваивают обычно его нормы, им подчиняются, но нередко долгое время несут следы влияния иной языковой системы. Так, иноязычные слова, в которых, в частности в начале основы, встречается сочетание согласного звука и гласного переднего ряда [е], должны бы получать смягчение этого согласного. Однако эта общая закономерность дает немало исключений, что ведет к необходимости узнавать в словарях, как же следует произнести согласный звук — твердо или мягко.

В этих словах согласный звук перед [е] звучит мягко (так сказать, по-русски): *дебаркадер, дебатировать, дебют, дебютировать, девальвация, дегазация, дегенерат, деградация, деградировать, дегустация, дегустировать, дедукция, дедуктивный, дезинфекция, дезинформация, дезорганизация, дезорганизовать, дезориентация, декада, декадный, декан, деканат, деквалификация, декламатор, декламировать, декларация, декларировать, деклассированный, декорация, декрет, делегат, делегация, дельта, демаркация, демаскировать, демилитаризация, демисезонный, демобилизовать, демонтаж, демонтировать, деморализация, деморализовать, денационализация, дендрарий, депонировать, депонент, депутат, деривация, деспотия, деталь, детонация, дефект, дефектный, дефиниция, дефис, дефицит, деформация, децентрализация, дециграмм, дециметр, дешифровать, дешифровка, дешифровщик, реализовать, ревматизм, револьвер, ревю, регби, реглан, редактор, реестр, резерв, резервуар, резон, рейд, рейс, рейтузы, реквием, рекомендация, рекорд, ректор, реликвия, рельс, ремонт, ренегат, рентген, репрессивный, реприза, репс, ретироваться, рефери, рефлектор, рефрен, рецензия.*

А в этих словах согласный звук перед [э] звучит твердо (так сказать, по-иноземному): *демпинг, денди, детектив, детерминизм, де-факто, де-юре, реле, релейный* и некоторые другие.

Как видим, перевес в пользу мягкого произношения очень заметен; немногие слова с твердым звучанием согласного не подчинились пока общей закономерности; может быть, потому, что они очень уж нерусские по всему своему облику и не освоены как следует языковым сознанием русских людей. Но и эти немногие слова могут со временем подчиниться общей норме.

Конечно, нормы произношения, действующие в современном русском литературном языке, не могут быть сведены к тем, которые только что описаны; часть не описанных здесь норм изучается студентами-филологами в курсе «Современный русский язык», часть не охватывается и этим курсом. Усвоению норм произношения помогает внимательное слушание дикторов центрального радио и телевидения и осознанное подражание их произношению; эта практическая школа доступна всем, кто хочет в ней заниматься.

§ 5. Нормы ударения в современном русском литературном языке многолики и нелегки для усвоения — тем более, что они далеко не всегда совпадают с диалектными закономерностями ударения, оказывающими широкое влияние на говорящих. Как хорошо известно, нелегкость усвоения норм ударения объясняется двумя его особенностями — разноместностью и подвижностью. Ударение в нашем языке — разноместное, потому что в разных словах падает на разные слоги (первый, второй и т. д.); ударение — подвижное, потому что в одном и том же слове, при изменении его формы, может перемещаться с одного слога на другой. Если бы слова имели какие-то метки, какие-то формальные или хотя бы смысловые признаки, которые говорили бы нам, на каком слоге должно стоять ударение и как оно должно перемещаться с одного слога на другой при изменении форм слова, усвоение ударения шло бы легче. Однако таких меток, таких формальных или смысловых признаков в словах нет (или почти нет). Ударение усваивается вместе со словом — подобно тому, как усваивается значение слова: надо запомнить, перевести в речевой навык свойственное слову ударение, как надо усвоить, перевести в навык словесное значение. Вот эта индиви-

дуальность словесного ударения (а точнее, малозаметная для говорящих его типизированность) хорошо объясняет те затруднения, какие допускает, изучая русский язык, иностранец, и те, к сожалению многочисленные и досадные, ошибки, которые делает человек, для которого русский язык — родной. Создается впечатление, что изучать ударение, исправлять допускаемые ошибки можно только по специальным справочникам и словарям (а также, разумеется, подражая тому, как «ставят» ударения безупречно владеющие русским языком люди). Все же кое-какую помощь может оказать нам знание типов русского ударения, типовых схем его положения в словах и их формах. Правда, и в этом случае главная трудность остается, потому что в самих словах почти нет указаний на то, в какой акцентологический тип (т. е. тип ударения) то или иное слово входит.

Вот некоторые сведения об ударении в именах существительных, прилагательных и глаголах.

Об ударении в именах существительных

§ 6. Если присмотреться к словам современного русского литературного языка, то можно отчетливо увидеть подвижность ударения. Но это вовсе не значит, что любое взятое нами слово при его изменении по падежам, родам, числам, временам и т. д. перемещает ударение с одного слога на другой. Во многих словах, в частности во многих именах существительных, ударение неподвижно во всех парадигмах, как, например, в слове *ка́пля*.

Казалось бы, имена существительные с неподвижным ударением не должны вызывать затруднений у говорящих; но ведь в их сознании «рядом» находятся и имена с неподвижным ударением, и имена с ударением подвижным; возникает взаимовлияние типов ударений, и в речи появляются ошибки — ударение сдвигается с установленного для него нормой места, неподвижное превращается в подвижное.

Так, в разговорной речи грамотных людей (т. е. применяющих в общении, как правило, литературный язык) мы иногда слышим *арбузы́ привезли, начали блюда́ разносить, братьёв встречал, верблюда́м корму дали, на той поля́не большущие вязы́ растут, тогда госпиталя́м боль-*

шое внимание уделяли, этот врач диагно́зы хорошо ставит, жбано́в под молоко не хватило, два ква́ртала уже прошло, отчет после двух кварта́ло́в, краны́ надо починить, мага́зины еще не открыты, в этом озере большие сазаны́ водятся; в одной основе может быть и два, и три суффи́кса; в магазине много торто́в, цыганы́ приехали, все яруса́ в театре обновили и т. д.

Вот небольшой перечень имен существительных с неподвижным ударением на основе, в которых замечается нарушение нормы при употреблении в разговорной речи: *арбу́з — арбу́за — арбу́зу — арбу́зом — об арбу́зе, арбу́зы — арбу́зов — арбу́зам — арбу́зы — арбу́зами — об арбу́зах; аргама́к — аргама́ка — аргама́ку — аргама́ка — аргама́ком — об аргама́ке, аргама́ки — аргама́ков — аргама́кам — аргама́ков — аргама́ками — об аргама́ках;*
блю́до — блю́да — блю́ду — блю́до — блю́дом — о блю́де, блю́да — блю́д — блю́дам — блю́да — блю́дами — о блю́дах; берёста — берёсты — берёсте — берёсту — берёстой — о берёсте; буржу́й — буржу́я — буржу́ю — буржу́я — буржу́ем — о буржу́е, буржу́и — буржу́ев — буржу́ям — буржу́ев — буржу́ями — о буржу́ях;
верблю́д — верблю́да — верблю́ду — верблю́да — верблю́дом — о верблю́де, верблю́ды — верблю́дов — верблю́дам — верблю́дов — верблю́дами — о верблю́дах; вью́га — вью́ги — вью́ге — вью́гу — вью́гой — о вью́ге, вью́ги — вью́г — вью́гам — вью́ги — вью́гами — о вью́гах; вя́з — вя́за — вя́зу — вя́з — вя́зом — о вя́зе, вя́зы — вя́зов — вя́зам — вя́зы — вя́зами — о вя́зах;
го́спиталь — го́спиталя — го́спиталю — го́спиталь — го́спиталем — о го́спитале, го́спитали — го́спиталей — го́спиталям — го́спитали — го́спиталями — о го́спиталях;
гру́нт — гру́нта — гру́нту — гру́нт — гру́нтом — о гру́нте, гру́нты — гру́нтов — гру́нтам — гру́нты — гру́нтами — о гру́нтах;
диа́гноз — диа́гноза — диа́гнозу — диа́гноз — диа́гнозом — о диа́гнозе, диа́гнозы — диа́гнозов — диа́гнозам — диа́гнозы — диа́гнозами — о диа́гнозах; досу́г — досу́га — досу́гу — досу́г — досу́гом — о досу́ге;
жба́н — жба́на — жба́ну — жба́н — жба́ном — о жба́не, жба́ны — жба́нов — жба́нам — жба́ны — жба́нами — о жба́нах;
за́суха — за́сухи — за́сухе — за́суху — за́сухой — о за́сухе, за́сухи — за́сух — за́сухам — за́сухи — за́сухами — о за́сухах; зме́й — зме́я — зме́ю — зме́я — зме́ем —

о змée, змéи — змéев — змéям — змéев — змéями — о змéях; зýбр — зýбра — зýбру — зýбра — зýбром — о зýбре, зýбры — зýбров — зýбрам — зýбров — зýбрами — о зýбрах;
капкáн — капкáна — капкáну — капкáн — капкáном — о капкáне, капкáны — капкáнов — капкáнам — капкáны — капкáнами — о капкáнах; кáпля — кáпли — кáпле — кáплю — кáплей — о кáпле, кáпли — кáпель — кáплям — кáпли — кáплями — о кáплях; кармáн — кармáна — кармáну — кармáн — кармáном — о кармáне, кармáны — кармáнов — кармáнам — кармáны — кармáнами — о кармáнах; квартáл — квартáла — квартáлу — квартáл — квартáлом — о квартáле, квартáлы — квартáлов — квартáлам — квартáлы — квартáлами — о квартáлах; клáд — клáда — клáду — клáд — клáдом — о клáде, клáды — клáдов — клáдам — клáды — клáдами — о клáдах; крáн — крáна — крáну — крáн — крáном — о крáне, крáны — крáнов — крáнам — крáны — крáнами — о крáнах; клýб (учреждение) — клýба — клýбу — клýб — клýбом — о клýбе, клýбы — клýбов — клýбам — клýбы — клýбами — о клýбах; кýб — кýба — кýбу — кýб — кýбом — о кýбе, кýбы — кýбов — кýбам — кýбы — кýбами — о кýбах;
лóзунг — лóзунга — лóзунгу — лóзунг — лóзунгом — о лóзунге, лóзунги — лóзунгов — лóзунгам — лóзунги — лóзунгами — о лóзунгах;
магазúн — магазúна — магазúну — магазúн — магазúном — о магазúне, магазúны — магазúнов — магазúнам — магазúны — магазúнами — о магазúнах; мúнус — мúнуса — мúнусу — мúнус — мúнусом — о мúнусе, мúнусы — мúнусов — мúнусам — мúнусы — мúнусами — о мúнусах; мýскул — мýскула — мýскулу — мýскул — мýскулом — о мýскуле, мýскулы — мýскулов — мýскулам — мýскулы — мýскулами — о мýскулах;
нéрв — нéрва — нéрву — нéрв — нéрвом — о нéрве, нéрвы — нéрвов — нéрвам — нéрвы — нéрвами — о нéрвах;
óчерк — óчерка — óчерку — óчерк — óчерком — об óчерке, óчерки — óчерков — óчеркам — óчерки — óчерками — об óчерках;
пейзáж — пейзáжа — пейзáжу — пейзáж — пейзажем — о пейзáже, пейзáжи — пейзáжей — пейзáжам — пейзáжи — пейзáжами — о пейзáжах; пéсня — пéсни — пéсне — пéсню — пéсней — о пéсне, пéсни — пéсен — пéс-

ням — пéсни — пéснями — о пéснях; плáн — плáна — плá-ну — плáн — плáном — о плáне, плáны — плáнов — плá-нам — плáны — плáнами — о плáнах; предмéт — предмé-та — предмéту — предмéт — предмéтом — о предмéте, предмéты — предмéтов — предмéтам — предмéты — предмéтами — о предмéтах; призы́в — призы́ва — при-зы́ву— призы́в — призы́вом — о призы́ве, призы́вы — призы́вов — призы́вам — призы́вы — призы́вами — о при-зывах; прóфиль — прóфиля — прóфилю — прóфиль — прó-филем — о прóфиле, прóфили — прóфилей — прóфилям — прóфили — прóфилями — о прóфилях;
ромáн — ромáна — ромáну — ромáн — ромáном — о ро-мáне, ромáны — ромáнов — ромáнам — ромáны — ромá-нами — о ромáнах;
сазáн — сазáна — сазáну — сазáна — сазáном — о сазá-не, сазáны — сазáнов — сазáнам — сазáнов — сазáна-ми — о сазáнах; свáт — свáта — свáту — свáта — сва-том — о свáте, свáты — свáтов — свáтам — свáтов — свá-тами — о свáтах; созы́в — созы́ва — созы́ву — созы́в — со-зы́вом — о созы́ве, созы́вы — созы́вов — созы́вам — созы́-вы — созы́вами — о созы́вах; срéдство — срéдства — срéдству — срéдство — срéдством — о срéдстве, срéдст-ва — срéдств — срéдствам — срéдства — срéдствами — о срéдствах; стéржень — стéржня — стéржню — стéр-жень — стéржнем — о стéржне, стéржни — стéржней — стéржням — стéржни — стéржнями — о стéржнях; сýф-фикс — сýффикса — сýффиксу — сýффикс — сýффик-сом — о сýффиксе, сýффиксы — сýффиксов — сýффик-сам — сýффиксы — сýффиксами — о сýффиксах;
террóр — террóра — террóру — террóр — террóром — о террóре; тúгр — тúгра — тúгру — тúгра — тúгром — о тúгре, тúгры — тúгров — тúграм — тúгров — тúграми — о тúграх; тóк — тóка — тóку — тóк — тóком — о тóке, тóки — тóков — тóкам — тóки — тóками — о тóках; тóрт — тóрта — тóрту — тóрт — тóртом — о тóрте, тóр-ты — тóртов — тóртам — тóрты — тóртами — о тóртах; трю́м — трю́ма — трю́му — трю́м — трю́мом — о трю́ме, трю́мы — трю́мов — трю́мам — трю́мы — трю́мами — о трю́мах; тýча — тýчи — тýче — тýчу — тýчей — о тýче, тýчи — тýч — тýчам — тýчи — тýчами — о тýчах; тю́ль — тю́ля — тю́лю — тю́ль — тю́лем — о тю́ле; тюльпáн — тюльпáна — тюльпáну — тюльпáн — тюльпáном — о тюль-пáне, тюльпáны — тюльпáнов — тюльпáнам — тюльпá-ны — тюльпáнами — о тюльпáнах;

уро́д — уро́да — уро́ду — уро́да — уро́дом — об уро́де, уро́ды — уро́дов — уро́дам — уро́дов — уро́дами — об уро́дах;
фаза́н — фаза́на — фаза́ну — фаза́на — фаза́ном — о фаза́не, фаза́ны — фаза́нов — фаза́нам — фаза́нов — фаза́нами — о фаза́нах; фла́г — фла́га — фла́гу — фла́г — фла́гом — о фла́ге, фла́ги — фла́гов — фла́гам — фла́ги — фла́гами — о фла́гах; фло́т — фло́та — фло́ту — фло́т — фло́том — о фло́те, фло́ты — фло́тов (и *флото́в*) — *фло́там* (и *флота́м*) — *фло́ты — фло́тами* (и *флота́ми*) — *о фло́тах* (и *о флота́х*); *фо́нд — фо́нда — фо́нду — фо́нд — фо́ндом — о фо́нде, фо́нды — фо́ндов — фо́ндам — фо́нды — фо́ндами — о фо́ндах; фонта́н — фонта́на — фонта́ну — фонта́н — фонта́ном — о фонта́не, фонта́ны — фонта́нов — фонта́нам — фонта́ны — фонта́нами — о фонта́нах;*
хо́бот — хо́бота — хо́боту — хо́бот — хо́ботом — о хо́боте, хо́боты — хо́ботов — хо́ботам — хо́боты — хо́ботами — о хо́ботах; хри́п — хри́па — хри́пу — хри́п — хри́пом — о хри́пе, хри́пы — хри́пов — хри́пам — хри́пы — хри́пами — о хри́пах;
ци́ркуль — ци́ркуля — ци́ркулю — ци́ркуль — ци́ркулем — о ци́ркуле, ци́ркули — ци́ркулей — ци́ркулям — ци́ркули — ци́ркулями — о ци́ркулях; цыга́н — цыга́на — цыга́ну — цыга́на — цыга́ном — о цыга́не, цыга́не — цыга́н — цыга́нам — цыга́н — цыга́нами — о цыга́нах;
ча́н — ча́на — ча́ну — ча́н — ча́ном — о ча́не, ча́ны — (и *чаны́*), *ча́нов* (и *чано́в*), *ча́нам* (и *чана́м*) — *ча́ны* (и *чаны́*) — *ча́нами* (и *чана́ми*) — *о ча́нах* (и *о чана́х*);
ша́рж — ша́ржа — ша́ржу — ша́рж — ша́ржем — о ша́рже, ша́ржи — ша́ржей — ша́ржам — ша́ржи — ша́ржами — о ша́ржах; шофёр — шофёра — шофёру — шофёра — шофёром — о шофёре, шофёры — шофёров — шофёрам — шофёров — шофёрами — о шофёрах; шри́фт — шри́фта — шри́фту — шри́фт — шри́фтом — о шри́фте, шри́фты (и *шрифты́*) — *шри́фтов* (и *шрифто́в*) — *шри́фтам* (и *шрифта́м*) — *шри́фты* (и *шрифты́*) — *шри́фтами* (и *шрифта́ми*) — *о шри́фтах* (и *о шрифта́х*); *што́рм — што́рма — што́рму — што́рм — што́рмом — о што́рме, што́рмы — што́рмов* (и *штормо́в*) — *што́рмам* (и *шторма́м*) — *што́рмы — што́рмами* (и *шторма́ми*) — *о што́рмах* (и *о шторма́х*); *штра́ф — штра́фа — штра́фу — штра́ф — штра́фом — о штра́фе, штра́фы — штра́фов — штра́фам — штра́фы — штра́фами — о штра́фах;*

я́рус — я́руса — я́русу — я́рус — я́русом — о я́русе, я́русы — я́русов — я́русам — я́русы — я́русами — о я́русах; *я́хта — я́хты — я́хте — я́хту — я́хтой — о я́хте, я́хты — я́хт — я́хтам — я́хты — я́хтами — о я́хтах.*

В нашей повседневной (литературной) речи многие слова из предложенного читателю списка получают ударение не на том слоге, на котором оно должно быть.

В некоторых словах, вошедших в наш перечень, литературный язык дает отклонение от общего правила в одной лишь падежной форме: в предложном падеже единственного числа, если эта форма употреблена с предлогом *в* или предлогом *на* и имеет окончание *-у*; ударение передвигается на это окончание: *на виду́, в плену́, в торфу́, во хмелю́.*

§ 7. Есть в современном русском литературном языке немало имен существительных с неподвижным ударением на окончании; конечно, если такое существительное в именительном (или винительном) падеже единственного числа имеет так называемое нулевое окончание, ударение вынуждено передвинуться на основу; то же самое может произойти и в отдельных словах — в форме родительного падежа множественного числа: *тура́ — ту́р, сума́ — су́м, графа́ — гра́ф.*

Вот далеко не полный перечень имен существительных с неподвижным ударением на окончании:

бага́ж — багажа́ — багажу́ — бага́ж — багажо́м — о багаже́; блинда́ж — блиндажа́ — блиндажу́ — блинда́ж — блиндажо́м — о блиндаже́, блиндажи́ — блиндаже́й — блиндажа́м — блиндажи́ — блиндажа́ми — о блиндажа́х;

во́л — вола́ — волу́ — вола́ — воло́м — о воле́, волы́ — воло́в — вола́м — воло́в — вола́ми — о вола́х;

галу́н — галуна́ — галуну́ — галу́н — галуно́м — о галуне́, галуны́ — галуно́в — галуна́м — галуны́ — галуна́ми — о галуна́х; гара́ж — гаража́ — гаражу́ — гара́ж — гаражо́м — о гараже́, гаражи́ — гараже́й — гаража́м — гаражи́ — гаража́ми — о гаража́х; гонча́р — гончара́ — гончару́ — гончара́ — гончаро́м — о гончаре́, гончары́ — гончаро́в — гончара́м — гончаро́в — гончара́ми — о гончара́х; графа́ — графы́ — графе́ — графу́ — графо́й — о графе́, графы́ — гра́ф — графа́м — графы́ — графа́ми — о графа́х; гро́ш — гроша́ — грошу́ — гро́ш — грошо́м — о гроше́, гроши́ — гроше́й — гроша́м — гроши́ — гроша́ми — о гроша́х;

жара́ — жары́ — жаре́ — жару́ — жаро́й — о жаре́; жгу́т — жгута́ — жгуту́ — жгу́т — жгуто́м — о жгуте́, жгуты́ — жгуто́в — жгута́м — жгуты́ — жгута́ми — о жгута́х; же́зл — жезла́ — жезлу́ — же́зл — жезло́м — о жезле́; жезлы́ — жезло́в — жезла́м — жезлы́ — жезла́ми — о жезла́х; жмы́х — жмыха́ — жмыху́ — жмы́х — жмыхо́м — о жмыхе́, жмыхи́ — жмыхо́в — жмыха́м — жмыхи́ — жмыха́ми — о жмыха́х;
ишáк — ишака́ — ишаку́ — ишака́ — ишако́м — об ишаке́, ишаки́ — ишако́в — ишака́м — ишако́в — ишака́ми — об ишака́х;
кайма́ — каймы́ — кайме́ — кайму́ — каймо́й — о кайме́, каймы́ — каём — кайма́м — каймы́ — кайма́ми — о кайма́х; каба́н — кабана́ — кабану́ — кабана́ — кабано́м — о кабане́, кабаны́ — кабано́в — кабана́м — кабано́в — кабана́ми — о кабана́х; ки́й — кия́ — кию́ — ки́й — кие́м — о кие́, кии́ — киёв — кия́м — кии́ — кия́ми — о кия́х; ки́т — кита́ — киту́ — кита́ — кито́м — о ките́, киты́ — кито́в — кита́м — кито́в — кита́ми — о кита́х; кишка́ — кишки́ — кишке́ — кишку́ — кишко́й — о кишке́, кишки́ — кишо́к — кишка́м — кишки́ — кишка́ми — о кишка́х; клюка́ — клюки́ — клюке́ — клюку́ — клюко́й — о клюке́, клюки́ — клю́к — клюка́м — клюки́ — клюка́ми — о клюка́х; ковы́ль — ковыля́ — ковылю́ — ковы́ль — ковыле́м — о ковыле́, ковыли́ — ковыле́й — ковыля́м — ковыли́ — ковыля́ми — о ковыля́х; кожу́х — кожуха́ — кожуху́ — кожу́х — кожухо́м — о кожухе́, кожухи́ — кожухо́в — кожуха́м — кожухи́ — кожуха́ми — о кожуха́х; крю́к — крюка́ — крюку́ — крю́к — крюко́м — о крюке́, крюки́ — крюко́в — крюка́м — крюки́ — крюка́ми — о крюка́х; кума́ — кумы́ — куме́ — куму́ — кумо́й — о куме́, кумы́ — ку́м — кума́м — кумы́ — кума́ми — о кума́х; курдю́к — курдюка́ — курдюку́ — курдю́к — курдюко́м — о курдюке́, курдюки́ — курдюко́в — курдюка́м — курдюки́ — курдюка́ми — о курдюка́х;
лиша́й — лишая́ — лишаю́ — лиша́й — лишаём — о лишае́, лишаи́ — лишаёв — лишая́м — лишаи́ — лишая́ми — о лишая́х; ломо́ть — ломтя́ — ломтю́ — ломо́ть — ломтём — о ломте́, ломти́ — ломте́й — ломтя́м — ломти́ — ломтя́ми — о ломтя́х; лыжня́ — лыжни́ — лыжне́ — лыжню́ — лыжне́й — о лыжне́, лыжни́ — лыжне́й — лыжня́м — лыжни́ — лыжня́ми — о лыжня́х;
мездра́ — мездры́ — мездре́ — мездру́ — мездро́й — о мездре́; митка́ль — миткаля́ — миткалю́ — митка́ль —

миткалём — о миткалé, миткалú — миткалéй — миткалям — миткалú — миткалями — о миткалях; миндáль — миндаля — миндалю — миндáль — миндалём — о миндалé; мóрж — моржá — моржý — моржá — моржóм — о моржé, моржú — моржéй — моржáм — моржéй — моржáми — о моржáх;
наждáк — наждакá — наждакý — наждáк — наждакóм — о наждакé, наждакú — наждакóв — наждакáм — наждакú — наждакáми — о наждакáх;
плóд — плодá — плодý — плóд — плодóм — о плодé, плоды́ — плодóв — плодáм — плоды́ — плодáми — о плодáх; плýт — плутá — плутý — плутá — плутóм — о плуте́, плуты́— плутóв — плутáм — плутóв — плутáми — о плутáх; плóт — плотá — плотý — плóт — плотóм — о плоте́, плоты́ — плотóв — плотáм — плоты́ — плотáми — о плотáх; пóлк — полкá — полкý — пóлк — полкóм — о полкé, полкú — полкóв — полкáм — полкú — полкамú — о полкáх; пращá — пращú — пращé — пращý — пращёй — о пращé, пращú — пращéй — пращáм — пращú — пращáми —о пращáх;
ревéнь — ревеня — ревеню — ревéнь — ревенём — о ревенé; ремéнь — ремня — ремню — ремéнь — ремнём — о ремнé, ремнú — ремнéй — ремням — ремнú — ремнями — о ремнях; репéй — репья — репью — репéй — репьём — о репьé, репьú— репьёв — репьям — репьú — репьями — о репьях; рубéж — рубежá — рубежý — рубéж — рубежóм — о рубежé, рубежú — рубежéй — рубежáм — рубежú — рубежáми — о рубежáх; рýбль — рубля — рублю — рýбль — рублём — о рублé, рублú — рублéй — рублям — рублú — рублями — о рублях;
сéрп — серпá — серпý — сéрп — серпóм — о серпé, серпы́ — серпóв — серпáм — серпы́ — серпáми — о серпáх; скамья — скамьú — скамьé — скамью — скамьёй — о скамьé, скамьú — скамéй — скамьям — скамьú — скамьями — о скамьях; стопá — стопы́ — стопé — стопý — стопóй — о стопé, стопы́ — стóп — стопáм — стопы́ — стопáми — о стопáх; ступня — ступнú — ступнé — ступню — ступнёй — о ступнé, ступнú — ступнéй — ступням — ступнú — ступнями — о ступнях; сумá — сумы́ — сумé — сумý — сумóй — о сумé, сумы́ — сýм — сумáм — сумы́ — сумáми — о сумáх;
тирáж — тиражá — тиражý — тирáж — тиражóм — о тиражé, тиражú — тиражéй — тиражáм — тиражú — тиражáми — о тиражáх; турá — туры́ — турé — турý — ту-

рой — о туре́, туры́ — ту́р — тура́м — туры́ — тура́ми — о тура́х; тя́ж — тяжа́ — тяжу́ — тя́ж — тяжо́м — о тяже́, тяжи́ — тяже́й — тяжа́м — тяжи́ — тяжа́ми — о тяжа́х;
утю́г — утюга́ — утюгу́ — утю́г — утюго́м — об утюге́, утюги́ — утюго́в — утюга́м — утюги́ — утюга́ми — об утюга́х;
фе́рзь — ферзя́ — ферзю́ — фе́рзь — ферзём — о ферзе́, ферзи́ — ферзе́й — ферзя́м — фе́рзи — ферзя́ми — о ферзя́х; фити́ль — фитиля́ — фитилю́ — фити́ль — фитилём — о фитиле́, фитили́ — фитиле́й — фитиля́м — фитили́ — фитиля́ми — о фитиля́х;
хо́лм — хо́лма — холму́ — хо́лм — холмо́м — о холме́; холмы́ — холмо́в — холма́м — холмы́ — холма́ми — о холма́х; холу́й — холуя́ — холую́ — холуя́ — холуём — о холуе́; холуи́ — холуе́в — холуя́м — холуи́ — холуя́ми — о холуя́х; хруста́ль — хрусталя́ — хрусталю́ — хруста́ль — хрусталём — о хрустале́;
чёлн — челна́ — челну́ — чёлн — челно́м — о челне́, челны́ — челно́в — челна́м — челны́ — челна́ми — о челна́х;
ши́п — шипа́ — шипу́ — ши́п — шипо́м — о шипе́, шипы́ — шипо́в — шипа́м — шипы́ — шипа́ми — о шипа́х; шушу́н — шушуна́ — шушуну́ — шушу́н — шушуно́м — о шушуне́, шушуны́ — шушуно́в — шушуна́м — шушуны́ — шушуна́ми — о шушуна́х; шу́т — шута́ — шуту́ — шута́ — шуто́м — о шуте́, шуты́ — шуто́в — шута́м — шуто́в — шута́ми — о шута́х; шлея́ — шлеи́ — шлее́ — шлею́ — шлеёй — о шлее́, шлеи́ — шле́й — шлея́м — шлеи́ — шлея́ми — о шлея́х;
щи́т — щита́ — щиту́ — щи́т — щито́м — о щите́, щиты́ — щито́в — щита́м — щиты́ — щитами́ — о щита́х; юла́ — юлы́ — юле́ — юлу́ — юло́й — о юле́, юлы́ — ю́л — юла́м — юлы́ — юла́ми — о юла́х;
яга́ — яги́ — яге́ — ягу́ — яго́й — о яге́; я́зь — язя́ — язю́ — язя́ — язём — о язе́, язи́ — язе́й — язя́м — язе́й — язя́ми — о язя́х; язы́к — языка́ — языку́ — язы́к — языко́м — о языке́, языки́ — языко́в — языка́м — языки́ — языка́ми — о языка́х; янта́рь — янтаря́ — янтарю́ — янта́рь — янтарём — о янтаре́, янтари́ — янтаре́й — янтаря́м — янтари́ — янтарями́ — о янтаря́х; ячме́нь — ячменя́ — ячменю́ — ячме́нь — ячменём — о ячмене́.

Может быть, и этот перечень слов и их форм с их ударениями читатели внимательно просмотрят и сверят про себя со своими навыками, а если то, что показано

в перечне, не совпадает с навыками читателей, может быть, они заметят расхождения и внесут поправку в свою речь.

§ 8. Помимо имен существительных с неподвижным ударением на основе слова и с неподвижным ударением на окончании слова, наш язык имеет группы имен с перемещаемым ударением — с основы на окончание и с окончания на основу.

Различают пять разновидностей подвижного ударения в именах существительных.

1. Ударение с основы в единственном числе перемещается на окончание во множественном по образцу: *о́рден — о́рдена — о́рдену — о́рден — о́рденом — об о́рдене*, *но ордена́ — ордено́в — ордена́м — ордена́ — ордена́ми — об ордена́х*.

2. Ударение с основы в единственном числе и в именительном (а также винительном, если существительное неодушевленное) множественного перемещается на окончание в косвенных падежах множественного числа по образцу: *го́лубь — го́лубя — го́лубю — го́лубя — го́лубем — о го́лубе*; *го́луби*, но *голубе́й — голубя́м — голубе́й — голубя́ми — о голубя́х*.

Таким образом, вторая разновидность почти повторяет первую, за исключением ударения в именительном падеже множественного числа.

3. Ударение с окончания в единственном числе перемещается на основу во множественном по образцу: ***коза́ — козы́ — козе́ — козу́ — козо́й — о козе́***, но ***ко́зы — ко́з — ко́зам — ко́з — ко́зами — о ко́зах***. Третья разновидность имеет схему движения ударения, обратную по сравнению со схемой второй разновидности.

4. Ударение с окончания в единственном числе перемещается на основу в трех падежах множественного — именительном, родительном и винительном; дательный, творительный и предложный сохраняют ударение на окончании; образец: ***волна́ — волны́ — волне́ — волну́ — волно́й — о волне́***, но ***во́лны — во́лн — во́лны***, а затем ударение опять на окончании — ***волна́м — волна́ми — о волна́х***. Этот тип имен дает много колебаний в ударении под влиянием предшествующего типа.

5. Пятая разновидность знает передвижение ударения с окончания в единственном числе на основу в винительном падеже того же числа; множественное число не дает устойчивой схемы движения ударений; обра-

зец: *щека́ — щеки́ — щеке́ — щеко́й — о щеке́*, но *щёку, щёки — щёк — щека́м — щёки — щека́ми — о щека́х*. Множественное число, из-за неустойчивости схемы ударения, дает в этом типе имен немало колебаний нормы.

Перейдем к наблюдению и запоминанию слов и их форм.

Первая разновидность

ба́л — ба́ла — ба́лу — ба́л — ба́лом — о ба́ле, балы́ — бало́в — бала́м — балы́ — бала́ми — о бала́х; бо́р — бо́ра — бо́ру — бо́р — бо́ром — о бо́ре, боры́ — боро́в — бора́м — боры́ — бора́ми — о бора́х; бо́рт — бо́рта — бо́рту — бо́рт — бо́ртом — о бо́рте, борта́ — борто́в — борта́м — борта́ — борта́ми — о борта́х; бу́фер — бу́фера — бу́феру — бу́фер — бу́фером — о бу́фере, буфера́ — буферо́в — буфера́м — буфера́ — буфера́ми — о буфера́х;
ва́л — ва́ла — ва́лу — ва́л — ва́лом — о ва́ле, валы́ — вало́в — вала́м — валы́ — вала́ми — о вала́х; ве́ер — ве́ера — ве́еру — ве́ер — ве́ером — о ве́ере, веера́ — вееро́в — веера́м — веера́ — веера́ми — о веера́х; ве́нзель — ве́нзеля — ве́нзелю — ве́нзель — ве́нзелем — о ве́нзеле, вензеля́ — вензеле́й — вензеля́м — вензеля́ — вензеля́ми — о вензеля́х;
го́л — го́ла — го́лу — го́л — го́лом — о го́ле, голы́ — голо́в — гола́м — голы́ — гола́ми — о гола́х;
дире́ктор — дире́ктора — дире́ктору — дире́ктора — дире́ктором — о дире́кторе, директора́ — директоро́в — директора́м — директоро́в — директора́ми — о директора́х; до́ктор — до́ктора — до́ктору — до́ктора — до́ктором — о до́кторе, доктора́ — докторо́в — доктора́м — докторо́в — доктора́ми — о доктора́х; ду́пель — ду́пеля — ду́пелю — ду́пеля — ду́пелем — о ду́пеле, дупеля́ — дупеле́й — дупеля́м — дупеле́й — дупеля́ми — о дупеля́х; кру́г — кру́га — кру́гу — кру́г — кру́гом — о кру́ге, круги́ — круго́в — круга́м — круги́ — круга́ми — о круга́х;
ла́герь — ла́геря — ла́герю — ла́герь — ла́герем — о ла́гере, лагеря́ — лагере́й — лагеря́м — лагеря́ — лагеря́ми — о лагеря́х;
о́рден — о́рдена — о́рдену — о́рден — о́рденом — об о́рдене, ордена́ — ордено́в — ордена́м — ордена́ — ордена́ми — об ордена́х; о́рдер — о́рдера — о́рдеру — о́рдер — о́рдером — об о́рдере, ордера́ — ордеро́в — орде-

ра́м — ордера́ — ордера́ми — об ордера́х; о́круг — о́круга — о́кругу — о́круг — о́кругом — об о́круге, округа́ — округо́в — округа́м — округа́ — округа́ми — об округа́х; плу́г — плу́га — плу́гу — плу́г — плу́гом — о плу́ге, плуги́ — плуго́в — плуга́м — плуги́ — плуга́ми — о плуга́х; па́рус — па́руса — па́русу — па́рус — па́русом — о па́русе, паруса́ — парусо́в — паруса́м — паруса́ — паруса́ми — о паруса́х;
со́боль — со́боля — со́болю — со́боля — со́болем — о со́боле, соболя́ — соболе́й — соболя́м — соболе́й — соболя́ми — о соболя́х; спи́рт — спи́рта — спи́рту — спи́рт — спи́ртом — о спи́рте, спирты́ — спирто́в — спирта́м — спирты́ — спирта́ми — о спирта́х; стро́й — стро́я — стро́ю — стро́й — стро́ем — о стро́е, строй — строёв — строя́м — строй — строя́ми — о строя́х; су́п — су́па — су́пу — су́п — су́пом — о су́пе, супы́ — супо́в — супа́м — супы́ — супа́ми — о супа́х;
то́н — то́на — то́ну — то́н — то́ном — о то́не, тона́ — тоно́в — тона́м — тона́ — тона́ми — о тона́х; то́рг — то́рга — то́ргу — то́рг — то́ргом — о то́рге, торги́ — торго́в — торга́м — торги́ — торга́ми — о торга́х (в значении «продажа»); *то́поль — то́поля — то́полю — то́поль — то́полем — о то́поле, тополя́ — тополе́й — тополя́м — тополя́ — тополя́ми — о тополя́х; ты́л — ты́ла — ты́лу — ты́л — ты́лом — о ты́ле, тылы́ — тыло́в — тыла́м — тылы́ — тыла́ми — о тыла́х;*
хо́д — хо́да — хо́ду — хо́д — хо́дом — о хо́де, ходы́ — ходо́в — хода́м — ходы́ — хода́ми — о хода́х; хо́р — хо́ра — хо́ру — хо́р — хо́ром — о хо́ре, хоры́ — хоро́в — хора́м — хоры́ — хора́ми — о хора́х (в значении «коллектив певцов»);
ча́й — ча́я — ча́ю — ча́й — ча́ем — о ча́е, чаи́ — чаёв — чая́м — чаи́ — чая́ми — о чая́х;
шка́ф — шка́фа — шка́фу — шка́ф — шка́фом — о шка́фе, шкафы́ — шкафо́в — шкафа́м — шкафы́ — шкафа́ми — о шкафа́х; шта́б — шта́ба — шта́бу — шта́б — шта́бом — о шта́бе, штабы́ — штабо́в — штаба́м — штабы́ — штаба́ми — о штаба́х; шта́бель — шта́беля — шта́белю — шта́бель — шта́белем — о шта́беле, штабеля́ — штабеле́й — штабеля́м — штабеля́ — штабеля́ми — о штабеля́х; ште́мпель — ште́мпеля — ште́мпелю — ште́мпель — ште́мпелем — о ште́мпеле, штемпеля́ — штемпеле́й — штемпеля́м — штемпеля́ — штемпеля́ми — о штемпеля́х.

Если какое-либо из существительных этого типа применяется в предложном падеже с окончанием *-у*, ударение перемещается на это окончание: *на балу́, в бору́, на боту́, на валу́, в кругу́, на спирту́, в году́, в хору́, в чаю́, в шкафу́* и под.

Вторая разновидность

ве́домость — ве́домости — ве́домости — ве́домость — ве́домостью — о ве́домости, ве́домости, но *ведомосте́й — ведомостя́м — ведомостя́ми — о ведомостя́х* (винительный множественного как именительный: *ве́домости*); *во́лость — во́лости — во́лости — во́лость — во́лостью — о во́лости; во́лости* (именительный и винительный), но *волосте́й — волостя́м — волостя́ми — о волостя́х; во́лк — во́лка — во́лку — во́лка — во́лком — о во́лке; во́лки*, но *волко́в — волка́м — волко́в — волка́ми — о волка́х; во́р — во́ра — во́ру — во́ра — во́ром — о во́ре; во́ры* — но *воро́в — вора́м — воро́в — вора́ми — о вора́х;*
го́лубь — го́лубя — го́лубю — го́лубя — го́лубем — о го́лубе; го́луби, но *голубе́й — голубя́м — голубе́й — голубя́ми — о голубя́х;*
до́лжность — до́лжности — до́лжности — до́лжность — до́лжностью — о до́лжности; до́лжности, но *должносте́й — должностя́м — должностя́ми — о должностя́х;*
зве́рь — зве́ря — зве́рю — зве́ря — зве́рем — о зве́ре; зве́ри, но *звере́й — зверя́м — звере́й — зверя́ми — о зверя́х;*
ка́мень — ка́мня — ка́мню — ка́мень — ка́мнем — о ка́мне; ка́мни, но *камне́й — камня́м — камня́ми, о камня́х;*
ко́рень — ко́рня — ко́рню — ко́рень — ко́рнем — о ко́рне; ко́рни, но *корне́й — корня́м — корня́ми — о корня́х;*
ла́поть — ла́птя — ла́птю — ла́поть — ла́птем — о ла́пте; ла́пти, но *лапте́й — лаптя́м — лаптя́ми — о лаптя́х;*
ле́бедь — ле́бедя — ле́бедю — ле́бедя — ле́бедем — о ле́беде; ле́беди, но *лебеде́й — лебедя́м — лебеде́й — лебедя́ми — о лебедя́х;*
ме́лочь — ме́лочи — ме́лочи — ме́лочь — ме́лочью — о ме́лочи; ме́лочи, но *мелоче́й — мелоча́м — мелоча́ми — о мелоча́х;*
но́вость — но́вости — но́вости — но́вость — но́востью — о но́вости; но́вости, но *новосте́й — новостя́м — новостя́ми — о новостя́х;*
о́бруч — о́бруча — о́бручу — о́бруч — о́бручем — об

о́бруче; *о́бручи*, но *обруче́й — обруча́м — обруча́ми — об обруча́х; о́кунь — о́куня — о́куню — о́куня — о́кунем — об о́куне*; *о́куни*, но *окуне́й — окуня́м — окуне́й — окуня́ми — об окуня́х*;
па́рень — па́рня — па́рню — па́рня — па́рнем — о па́рне; *па́рни*, но *парне́й — парня́м — парне́й — парня́ми — о парня́х; пло́скость — пло́скости — пло́скости — пло́скость — пло́скостью — о пло́скости; пло́скости — плоскосте́й — плоскостя́м — плоскостя́ми — о плоскостя́х* (и *пло́скостей — пло́скостям — пло́скостями — о пло́скостях*); *по́весть — по́вести — по́вести — по́весть — по́вестью — о по́вести; по́вести*, но *повесте́й — повестя́м — повестя́ми — о повестя́х; про́поведь — про́поведи — про́поведи — про́поведь — про́поведью — о про́поведи*; *про́поведи*, но *проповеде́й — проповедя́м — проповедя́ми — о проповедя́х*; *со́боль — со́боля — со́болю — со́боля — со́болем — о со́боле*; *со́боли*, но *соболе́й — соболя́м — соболе́й — соболя́ми — о соболя́х*; *ска́терть — ска́терти — ска́терти — ска́терть — ска́тертью — о ска́терти; ска́терти*, но *скатерте́й — скатертя́м — скатертя́ми — о скатертя́х; ско́рость — ско́рости — ско́рости — ско́рость — ско́ростью — о ско́рости; ско́рости*, но *скоросте́й — скоростя́м — скоростя́ми — о скоростя́х;*
те́нь — те́ни — те́ни — те́нь — те́нью — о те́ни; те́ни, но *тене́й — теня́м — теня́ми — о теня́х; тро́сть — тро́сти — тро́сти — тро́сть — тро́стью — о тро́сти; тро́сти — тро́стей — тро́стям — тро́стями — о тро́стях;*
у́голь — у́гля — у́глю — у́голь — у́глем — об у́гле; у́гли, но *угле́й — угля́м — угля́ми — об угля́х;*
це́рковь — це́ркви — це́ркви — це́рковь — це́рковью — о це́ркви; це́ркви, но *церкве́й — церква́м — церква́ми — о церква́х;*
че́тверть — че́тверти — че́тверти — че́тверть — че́твертью — о че́тверти; че́тверти, но *четверте́й — четвертя́м — четвертя́ми — о четвертя́х;*
ще́ль — ще́ли — ще́ли — ще́ль — ще́лью — о ще́ли; ще́ли, но *ще́лей — щеля́м — щеля́ми — о щеля́х.*

Третья разновидность

арба́ — арбы́ — арбе́ — арбу́ — арбо́й — об арбе́, а́рбы — а́рб — а́рбам — а́рбы — а́рбами — об а́рбах;
вдова́ — вдове́ — вдовы́ — вдову́ — вдово́й — о вдове́, вдо́вы — вдо́в — вдо́вам — вдо́в — вдо́вами — о вдо́вах;

грозá — грозы́ — грозе̂ — грозу́ — грозóй — о грозé; грозы́ — грóз — грóзам — грóзы — грóзами — о грóзах; деснá — десны́ — деснé — десну́ — деснóй — о деснé, дёсны — дёсен — дёснам — дёсны — дёснами — о дёснах; дохá — дохú — дохé — дохý — дохóй — о дохé; дóхи — дóх — дóхам — дóхи — дóхами — о дóхах; дрофá — дрофы́ — дрофé — дрофу́ — дрофóй — о дрофé; дрóфы — дрóф — дрóфам — дрóф — дрóфами — о дрóфах;
змея́ — змей — змеé — змею́ — змеéй — о змеé, змéи — змéй — змéям — змéй — змéями — о змéях;
иглá — иглы́ — иглé — иглу́ — иглóй — об иглé, úглы — úгл — úглам — úглы — úглами — об úглах; избá — избы́ — избé — избу́ — избóй — об избé, úзбы — úзб — úзбам — úзбы — úзбами — об úзбах;
козá — козы́ — козé — козу́ — козóй — о козé, кóзы — кóз — кóзам — кóзами — кóз — о кóзах; кольцó — кольцá — кольцу́ — кольцó — кольцóм — о кольцé, кóльца — колéц — кóльцам — кóльца — кóльцами — о кóльцах; косá — косы́ — косé — косу́ (и *кóсу*) — *косóй — о косé, кóсы — кóс — кóсам — кóсы — кóсами — о кóсах;*
лунá — лунé — луны́ — луну́ — лунóй — о лунé, лу́ны — лу́н — лу́нам — лу́ны — лу́нами — о лу́нах;
овцá — овцы́ — овцé — овцу́ — овцóй — об овцé, óвцы — овéц — óвцам — овéц — óвцами — об óвцах; окнó — окнá — окну́ — окнó — окнóм — об окнé, óкна — óкон — óкнам — óкна — óкнами — об óкнах; ордá — орды́ — ордé — орду́ — ордóй — об ордé, óрды — óрд — óрдам — óрды — óрдами — об óрдах; осá — осы́ — осé — осу́ — осóй — об осé, óсы — óс — óсам — óс — óсами — об óсах;
свинья́ — свиньи́ — свиньé — свинью́ — свиньёй — о свиньé, свúньи — свинéй — свúньям — свинéй — свúньями — о свúньях; семья́ — семьи́ — семьé — семью́ — семьёй — о семьé, сéмьи — семéй — сéмьям — сéмьи — сéмьями — о сéмьях; сестрá — сестры́ — сестрé — сестру́ — сестрóй — о сестрé, сёстры — сестёр — сёстрам — сестёр — сёстрами — о сёстрах; сиротá — сироты́ — сиротé — сироту́ — сиротóй — о сиротé, сирóты — сирóт — сирóтам — сирóт — сирóтами — о сирóтах; скалá — скалы́ — скалé — скалу́ — скалóй — о скалé, скáлы — скáл — скáлам — скáлы — скáлами — о скáлах; скулá — скулы́ — скулé — скулу́ — скулóй — о скулé, скýлы — скýл — скýлам — скýлы — скýла-

ми — о скулах; слугá — слуги́ — слугé — слугу́ — слугóй — о слугé, слу́ги — слу́г — слу́гам — слу́г — слу́гами — о слу́гах; смолá — смолы́ — смолé — смолу́ — смолóй — о смолé, смóлы — смóл — смóлам — смóлы — смóлами — о смóлах; совá — совы́ — совé — сову́ — совóй — о совé, сóвы — сóв — сóвам — сóвами — о сóвах; соснá — сосны́ — соснé — сосну́ — соснóй — о соснé, сóсны — сóсен — сóснам — сóсны — сóснами — о сóснах; сохá — сохи́ — сохé — соху́ — сохóй — о сохé, сóхи — сóх — сóхам — сóхи — сóхами — о сóхах; стеклó — стеклá — стеклу́ — стеклó — стеклóм — о стеклé, стёкла — стёкол — стёклам — стёкла — стёклами — о стёклах; стрекозá — стрекозы́ — стрекозé — стрекозу́ — стрекозóй — о стрекозé, стрекóзы — стрекóз — стрекóзам — стрекóз — стрекóзами — о стрекóзах; строфá — строфы́ — строфé — строфу́ — строфóй — о строфé, стрóфы — стрóф — стрóфам — стрóфы — стрóфами — о стрóфах;
тюрьмá — тюрьмы́ — тюрьмé — тюрьму́ — тюрьмóй — о тюрьмé, тю́рьмы — тю́рем — тю́рьмам — тю́рьмы — тю́рьмами — о тю́рьмах;
уздá — узды́ — уздé — узду́ — уздóй — об уздé, у́зды — у́зд — у́здам — у́зды — у́здами — об у́здах.

Четвертая разновидность

Вспомним, что она отличается от третьей разновидности тем, что ударение перемещается с окончания на основу в именительно-родительном и винительном падежах, а в падежах дательном, творительном и предложном остается на окончании.
блохá — блохи́ — блохé — блоху́ — блохóй — о блохé, блóхи — блóх, но *блохáм — блохáми — о блохáх; бороздá — борозды́ — бороздé — борозду́ — бороздóй — о бороздé; бóрозды — борóзд,* но *бороздáм — бороздáми — о бороздáх;*
волнá — волны́ — волнé — волну́ — волнóй — о волнé, вóлны — вóлн, но *волнáм — волнáми — о волнáх* (допустимо *вóлнам — вóлнами — о вóлнах*);
губá — губы́ — губé — губу́ — губóй — о губé; гу́бы — гу́б, но *губáм — губáми — о губáх;*
железá — железы́ — железé — железу́ — железóй — о железé; жéлезы — желёз, но *железáм — железáми — о железáх;*

межá — межи́ — межé — межý — межóй — о межé; мéжи — мéж, но *межáм — межáми — о межáх;*
полосá — полосы́ — полосé — полосý (допустимо и *пóлосу*) *— полосóй — о полосé; пóлосы — полóс,* но *полосáм — полосáми — о полосáх;*
серьгá — серьги́ — серьгé — серьгý — серьгóй — о серьгé; сéрьги — серёг, но *серьгáм — серьгáми — о серьгáх; сковородá — сковороды́ — сковородé — сковородý — сковородóй — о сковородé; скóвороды — сковорóд,* но *сковородáм — сковородáми — о сковородáх; строкá — строки́ — строкé — строкý* (но: *Не всякое лыко в стрóку*) *— строкóй — о строкé; стрóки — стрóк,* но *строкáм — строкáми — о строкáх;*
тропá — тропы́ — тропé — тропý — тропóй — о тропé; трóпы — трóп, но *тропáм — тропáми — о тропáх.*

Эта разновидность подвижного ударения не обладает большой устойчивостью, и она колеблется: допустимо и *волнáми* и *вóлнами*, и *бороздáми* и *бóроздами*, и *железáми* и *жéлезами*; и *волосáми* и *вóлосами*. Перенос ударения с окончания на основу в дательном, творительном и предложном падежах (а он и дает колебание ударения, дает вторую норму) неизбежен: он вызывается и поддерживается воздействием на эти три падежные формы множественного числа форм именительного, родительного и винительного падежей — с ударением на основе; по закону аналогического уподобления и в остальных падежных формах множественного числа ударение перемещается на основу, и весь ряд форм множественного числа выравнивается по ударению.

Кроме того, в именах существительных описываемой группы ударение колеблется и в форме единственного числа винительного падежа. Грамматики и словари нередко признают одинаково правильным *бóрозду* и *бороздý*, *жéлезу* и *железý*, *пóлосу* и *полосý*, *скóвороду* и *сковородý*, *слóбоду* и *слободý*, *стрóку* и *строкý*.

Пятая разновидность

Общим признаком, объединяющим имена в эту группу, является перемещение ударения с окончания на основу в винительном падеже единственного числа. Однако множественное число не обнаруживает при этом достаточного единства: в одних именах ударение пере-

мещается как в разновидности четвертой, в других — оно неподвижно на основе. Возьмем все же несколько имен пятой разновидности:

бородá — бороды́ — бородé — бородóй — о бородé, но вин. *бóроду;* множ. *бóроды — борóд — бородáм — бородáми — о бородáх; боронá — бороны́ — боронé — боронóй — о боронé*, но вин. *бóрону;* множ. *бóроны — борóн — боронáми — о боронáх;*

головá — головы́ — головé — головóй — о головé, но вин. *гóлову;* множ. *гóловы — голóв — головáм — головáми — о головáх; горá — горы́ — горé — горóй — о горé*, но вин. *гóру;* множ. *гóры — гóр — горáм — горáми — о горáх;*

доскá — доски́ — доскé — доскóй — о доскé, но вин. *дóску;* множ. *дóски — досóк — доскáм — доскáми — о доскáх; душá — души́ — душé — душóй — о душé*, но вин. *ду́шу*; множ. *ду́ши — ду́ш — ду́шам — ду́шами —* о *ду́шах* (но *по душáм*);

землá — земли́ — землé — землёй — о землé, но вин. *зёмлю;* множ. *зёмли — зёмель — зёмлям — зёмлями — о зёмлях; зимá — зимы́ — зимé — зимóй — о зи́ме*, но вин. *зи́му;* множ. *зи́мы — зи́м — зи́мам — зи́мами — о зи́мах;*

крохá — крохи́ — крохé — крохóй — о крохé, но вин. *крóху;* множ. *крóхи — крóх — крохáм — крохáми — о крохáх;*

порá — поры́ — порé — порóй — о порé, но вин. *пóру;*

рекá — реки́ — рекé — рекóй — о рекé, но вин. *рéку;* множ. *рéки — рéк — рекáм — рекáми — о рекáх* (допустимо *реку́, рéкам, рéками, о рéках*);

спинá — спины́ — спинé — спинóй — о спинé, но вин. *спи́ну*; множ. *спи́ны — спи́н — спи́нам — спи́нами — о спи́нах*; *средá — среды́ — средé — средóй — о средé*, но вин. *срéду*; множ. *срéды — срéд — срéдам* (и *средáм*) — *срéдами* (и *средáми*) — *о срéдах* (и *о средáх*) — день недели; вин. *среду́*, множ. *срéды — срéд — срéдам — срéдами — о срéдах* — вещество; *стенá — стены́ — стенé — стенóй — о стенé*, но вин. *стéну;* множ. *стéны — стéн — стенáм — стенáми — о стенáх; сторонá — стороны́ — сторонé — сторонóй — о сторонé*, но вин. *стóрону;* множ. *стóроны — сторóн — сторонáм — сторонáми — о сторонáх;*

ценá — цены́ — ценé — ценóй — о ценé, но вин. *цéну;* множ. *цéны — цéн — цéнам — цéнами — о цéнах;*

щёка — щекѝ — щекé — щекóй — о щекé, но вин. *щёку*; множ. *щёки — щёк — щекáм — щекáми — о щекáх.*

И в этой группе имен существительных колебания ударений нередки. Литературная речь знает и *вóдам — вóдах* и *водáм — водáх*; *дýшам — дýшами* и *душáм — душáми*; *рéкам — рéками* и *рекáм — рекáми*; *стéнам — стéнами* и *стенáм — стенáми* и др.

Об ударении в именах прилагательных

§ 9. Ударение имен прилагательных наименее устойчиво в кратких формах, поэтому нас часто затрудняет задача — выбрать нужное, т. е. правильное, ударение в кратких формах прилагательных *белый, важный, правый* и многих других. Мы часто становимся в тупик, не зная, чтó выбрать — *вы прáвы* или *вы правы́, облака бéлы* или *облака белы́, дела вáжны* или *дела важны́.*

Правда, в подавляющем большинстве имен прилагательных ударение в краткой форме падает на тот же слог, который имеет ударение и в полной: *говорли́вый — говорли́в, говорли́ва, говорли́во, говорли́вы; громóздкий — громóздок, громóздка, громóздко, громóздки; талáнтливы — талáнтлив — талáнтлива, талáнтливо, талáнтливы; хлопотли́вый — хлопотли́в, хлопотли́ва, хлопотли́во; хлопотли́вы; краси́вый — краси́в, краси́ва, краси́во, краси́вы; плакси́вый — плакси́в, плакси́ва, плакси́во, плакси́вы; ми́лостивый — ми́лостив, ми́лостива, ми́лостиво, ми́лостивы; учти́вый — учти́в — учти́ва — учти́во, учти́вы; ужи́вчивый — ужи́вчив, ужи́вчива, ужи́вчиво, ужи́вчивы; устóйчивый — устóйчив, устóйчива, устóйчиво, устóйчивы; немы́слимый — немы́слим, немы́слима, немы́слимо, немы́слимы; неутоми́мый — неутоми́м, неутоми́ма, неутоми́мо, неутоми́мы;* также: *милосéрдный, многолю́дный, безоткáзный, развя́зный, азáртный, грáмотный, алоги́чный, сóлнечный, максимáльный, оптимáльный, благодéтельный, питáтельный, тени́стый, золоти́стый и многие другие.*

Если внимательно всмотреться в морфемное строение таких прилагательных, можно заметить его некоторые особенности: например, наличие суффиксов *-ив-, -лив-, -чив, им-, -н-, -альн-, -ельн-, -ист-* и др. А это означает, что имена прилагательные с неподвижным

ударением имеют, как правило, формальные признаки, позволяющие эти прилагательные отличать от тех, в которых ударение в кратких формах подвижно и падает то на основу, то на окончание.

И так как именно прилагательные с подвижным ударением очень часто вызывают нарушения норм литературного языка в нашей речи, их усвоению должно бы уделяться особое внимание уже в средней школе. Перечень таких прилагательных не очень велик, но все же значителен, причем в него входят и очень употребительные имена прилагательные, часто мелькающие в живой речи, и если ударение в них смещено, это замечается слушателями и мешает взаимному общению людей. Вот почему вопрос: как же правильно — *Вы пра́вы* или *Вы правы́, Платья дли́нны* или *Платья длинны́* — этот вопрос нельзя считать праздным.

Есть ли какая-то общая закономерность в движении ударения — в тех именах прилагательных, в которых оно подвижно? Да, есть, хотя эта закономерность и не всегда выдерживается. Вот она: если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в остальных кратких формах оно стоит на основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: *бе́лый — бела́, бе́л, бе́ло, бе́лы* (правда, *все бело́ кругом* и *не белы́ снеги*); *бле́дный — бледна́, бле́ден, бле́дно, бле́дны; бли́зкий — близка́ — бли́зок, бли́зко, бли́зки; бо́дрый — бодра́, бо́др, бо́дры; бо́йкий — бойка́, бо́ек, бо́йко, бо́йки; бу́рый — бура́, бу́р, бу́ро, бу́ры; бы́стрый — быстра́, бы́стр, бы́стро, бы́стры; ва́жный — важна́, ва́жен, ва́жно, ва́жны; ве́тхий — ветха́, ве́тх, ве́тхо, ве́тхи; во́льный — вольна́, во́лен, во́льно, во́льны* (но: *Они вольны́ поступать, как хотят*); *высо́кий — высока́, высо́к, высо́ко* (и *высоко́*), *высо́ки* (и *высоки́*); *вя́зкий — вязка́, вя́зок, вя́зко, вя́зки;* *ги́бкий — гибка́, ги́бок, ги́бко, ги́бки; гла́дкий — гладка́, гла́док, гла́дко, гла́дки; гне́вный — гневна́, гне́вен, гне́вно, гне́вны; гнило́й — гнила́, гни́л, гни́ло, гни́ли* (в этом прилагательном и в полной форме ударение на окончании); *гну́сный — гнусна́, гну́сен, гну́сно, гну́сны; го́дный — годна́, го́ден, го́дно, го́дны; го́лый — гола́, го́л, го́ло, го́лы; то́нкий — тонка́, то́нок, то́нко, то́нки; гре́шный — грешна́, гре́шен, гре́шно, гре́шны; гро́зный — грозна́, грозе́н, гро́зно, гро́зны; гру́бый — груба́, гру́б, гру́бо, гру́бы; гру́зный — грузна́, грузе́н, гру́зно, гру́зны; гря́зный — грязна́, гря́зен, гря́зно, гря́зны; гу́лкий — гулка́,*

гу́лок, гу́лко, гу́лки; густо́й — густа́, гу́ст, гу́сто, гу́сты (ударение и в полной форме на окончании);
далёкий — далека́, далёк, далёко, далёки (и *далеко́, далеки́*); *дёрзкий — дерзка́, дёрзок, дёрзко, дёрзки* и т. д.

Как можно видеть из нашего начатого, но незавершенного перечня имен прилагательных с подвижным ударением, этот перечень достаточно велик. Если вдуматься в морфологическую структуру вошедших в него имен прилагательных, можно понять, что, как правило, это слова с односложными основами без суффиксов (или простейшими, древними суффиксами *-к-*, *-н-*, частично «поглощенными» основой): *бел-ый, бодр-ый, важный, вольн-ый, вяз-к-ий, гиб-к-ий, глад-к-ий, гнев-н-ый, гни-л-ой, гнус-н-ый, год-н-ый, гол-ый, тон-к-ий, греш-н-ый, гроз-н-ый, груб-ый, груз-н-ый, гряз-н-ый, гул-к-ий, густ-ой, дерз-к-ий* и т. д.

Можно видеть и то, что краткая форма множественного числа получает ударение в зависимости от места ударения в кратких формах женского и среднего рода: если в этих формах ударение на одном и том же слоге, этот слог оказывается ударяемым и в форме множественного числа: *бога́та, бога́то* — и *бога́ты, полёзна — полёзно* — и *полёзны; моро́зна, моро́зно* — и *моро́зны; правди́ва, правди́во* — и *правди́вы;* если же формы женского и среднего рода имеют ударение на разных слогах, форма множественного числа принимает ударение по образцу формы среднего рода: *бела́, бе́ло — бе́лы; бледна́, бле́дно — бле́дны; вольна́, во́льно — во́льны; горда́, го́рдо — го́рды; гневна́, гне́вно — гне́вны; годна́, го́дно — го́дны* и т. д.

Конечно, эти пояснения не снимают сами по себе вопроса о том, как же все-таки правильно — *пра́вы* или *правы́, далёки* или *далеки́* и т. д. Ведь и ударение в формах среднего рода оказывается неустойчивым: *далёко* и *далеко́, высо́ко* и *высоко́, глубо́ко* и *глубоко́.* Так что не всегда удается проверить ударение в одной форме ударением в другой. В соответствии с этим допускаемым нормой колебанием ударений в форме единственного числа среднего рода оказывается допустимым и колебание ударений в форме множественного числа: *бе́лы* и *белы́, вели́ки* и *велики́, высо́ки* и *высоки́, глубо́ки* и *глубоки́, далёки* и *далеки́, ма́лы* и *малы́, по́лны* и *полны́, пья́ны* и *пьяны́, ста́ры* и *стары́, широ́ки* и *широки́.* Колебание ударений допускается и в отдельных фор-

мах множественного числа, несмотря на то, что соответствующие краткие формы среднего рода имеют устойчивое ударение: в среднем роде — *ви́дно*, во множественном числе — *ви́дны* и *видны́*; в среднем роде — *вре́дно*, во множественном числе — *вре́дны* и *вредны́*; в среднем роде — *го́дно*, во множественном числе — *го́дны и годны́*, так же — *кру́пны* и *крупны́*, *ми́лы* и *милы́*, *но́вы* и *новы́*, *ну́жны* и *нужны́*.

Полезно вспомнить несколько распространенных, активных в нашей речи имен прилагательных в краткой форме множественного числа — с правильным ударением, принятым языковой нормой: *бле́дны, бли́зки, бо́йки, бу́рны, ве́рны, вре́дны, глу́пы, го́рьки, гря́зны, дли́нны, жа́лки, зно́йны, кра́сны, кру́глы, ло́жны, ни́зки, пра́вы, про́сты, пу́сты, ре́дки, ре́зки, су́хи, у́зки, чи́сты, я́рки, я́сны;* в этом ряду, как это ни странно, не оказывается прилагательного *легкий*, краткая форма которого знает ударение на окончании — *легки́*. Прихоти языка многообразны и многочисленны, они особенно дают о себе знать в разговорной речи. В ней только что перечисленные прилагательные получают смещенное ударение: *бледны́, верны́, глупы́, длинны́, пусты́* и т. д. Это смещение ударений не случайно, оно получается по образцу форм женского рода: *бледна́* — отсюда и *бледны́*, *длинна́* — отсюда *длинны́, чиста́ — чисты́*. Однако строгий литературный язык такому, казалось бы, оправданному ударению противится, а спорить с языком едва ли нужно.

Чтобы завершить краткий очерк об ударениях в именах прилагательных, обратим внимание на то, как ведут себя в разговорной речи ударения в сравнительной степени этих имен. В русском литературном языке действует прочная норма: если в краткой форме женского рода ударение падает на окончание, то в сравнительной форме оно оказывается на суффиксе *-ее*: *длинна́ — длинне́е, видна́ — видне́е, нужна́ — нужне́е, полна́ — полне́е, светла́ — светле́е* и т. д.; если же в краткой форме женского рода ударение стоит на основе, то и в сравнительной степени оно остается на основе же: *краси́ва — краси́вее, лени́ва — лени́вее, лило́ва — лило́вее, насме́шлива — насме́шливее, поко́рна — поко́рнее, приве́тлива — приве́тливее, суро́ва — суро́вее, ужа́сна — ужа́снее, прекра́сна — прекра́снее*.

Об ударении в глаголах

§ 10. В каждой части речи есть более стойкие и менее стойкие участки нормы. Менее стойкие, естественно, подвержены бо́льшим воздействиям различных сил, колеблющих или искажающих норму. К таким участкам и должно быть привлечено внимание в первую очередь при изучении речевой культуры. В имени прилагательном такими «слабыми» участками оказываются его краткие формы и формы степеней сравнения. В глаголе — формы прошедшего времени, формы причастий страдательных и, в меньшей мере, формы лица в настоящем и будущем. В этой именно последовательности они и станут предметом нашего наблюдения.

Обычно ударение в формах прошедшего времени такое же, как и в инфинитиве: *бежа́ть — бежа́л, бежа́ла, бежа́ло, бежа́ли*; *будора́жить — будора́жил, будора́жила, будора́жило, будора́жили*; *веле́ть — веле́л, веле́ла, веле́ло, веле́ли*; *вду́маться — вду́мался, вду́малась, вду́малось, вду́мались*; *говори́ть — говори́л, говори́ла, говори́ло, говори́ли*; *гуля́ть — гуля́л, гуля́ла, гуля́ло, гуля́ли*; *де́лать — де́лал, де́лала, де́лало, де́лали*; *дотро́нуться — дотро́нулся, дотро́нулась, дотро́нулось, дотро́нулись* и т. д.

Если форма инфинитива — очень древняя и кончается звуками *-сти*, *-чь*, ударение во всех формах прошедшего времени падает на окончание (за исключением, разумеется, формы мужского рода, которая не имеет окончания): *бере́чь — берёг — берегла́, берегло́, берегли́; брести́ — брёл, брела́, брело́, брели́; вести́ — вёл, вела́, вело́, вели́*; *врасти́ — врос, вросла́, вросло́, вросли́*; *вле́чь — влёк, влекла́, влекло́, влекли́; возрасти́ — возро́с, возросла́, возросло́, возросли́; донести́ — донёс, донесла́, донесло́, донесли́*; *дотрясти́ — дотря́с, дотрясла́, дотрясло́, дотрясли́; доже́чь — дожёг, дожгла́, дожгло́, дожгли́; допе́чь — допёк, допекла́, допекло́, допекли́; завезти́ — завёз, завезла́, завезло́, завезли́; зацвести́ — зацвёл, зацвела́, зацвело́, зацвели́; зате́чь — затёк, затекла́, затекло́, затекли́.*

Ударение в глаголах на *-сти* и *-чь* «ведет себя» вполне надежно, кроме глаголов с приставкой *вы-*, которая всегда ударная в формах совершенного вида, а в формах вида несовершенного перетягивает в описываемых глаголах ударение с окончания на основу.

Совершенный вид: *вы́брести — вы́брел, вы́брела, вы́брело, вы́брели; вы́вести — вы́вел, вы́вела, вы́вело, вы́вели; вы́расти — вы́рос, вы́росла, вы́росло, вы́росли; вы́трясти — вы́тряс, вы́трясла, вы́трясло, вы́трясли; вы́печь — вы́пек, вы́пекла, вы́пекло, вы́пекли; вы́течь — вы́тек, вы́текла, вы́текло, вы́текли.*

Несовершенный вид: *выбреда́ть — выбреда́л, выбреда́ла, выбреда́ло, выбреда́ли; выводи́ть — выводи́л, выводи́ла, выводи́ло, выводи́ли; выраста́ть — выраста́л, выраста́ла, выраста́ло, выраста́ли; вытряса́ть — вытряса́л, вытряса́ла, вытряса́ло, вытряса́ли; выпека́ть — выпека́л, выпека́ла, выпека́ло, выпека́ли; вытека́ть — вытека́л, вытека́ла, вытека́ло, вытека́ли.* Таким образом, в формах (глаголах) несовершенного вида на *-сть* и *-чь* сохраняется общая закономерность ударения в глаголах — в формах прошедшего времени оно падает на тот же слог, что и в инфинитиве.

Наименее стойким участком в прошедшем времени оказываются формы сравнительно немногих очень активных в речи древних русских глаголов. В разговорной речи часто приходится слышать *взя́ла* (вместо правильного ударения — *взяла́*), *отда́ли* (вместо правильного — *о́тдали*), *переня́ла* (вместо *переняла́*), *отплы́ла* (вместо правильного — *отплыла́*), *разда́л* (вместо *ро́здал*), *поня́л* (вместо *по́нял*), *нача́ли* (вместо *на́чали*), *проли́ли* (вместо *про́лили*), *зада́ли* (вместо *за́дали*) и т. д.

Всего в эту группу входит около 280 глаголов совершенного вида — как непроизводных (бесприставочных и безаффиксальных), так и производных. Для начала перечислим все (или почти все) непроизводные глаголы:

брать *— бра́л, брала́, бра́ло, бра́ли;*
быть *— бы́л, была́, бы́ло, бы́ли;*
взять *— взя́л, взяла́, взя́ло, взя́ли;*
вить *— ви́л, вила́, ви́ло, ви́ли;*
врать *— вра́л, врала́, вра́ло, вра́ли;*
гнать *— гна́л, гнала́, гна́ло, гна́ли;*
гнить *— гни́л, гнила́, гни́ло, гни́ли;*
дать *— да́л, дала́, да́ло, да́ли;*
драть *— дра́л, драла́, дра́ло, дра́ли;*
ждать *— жда́л, ждала́, жда́ло, жда́ли;*
жить *— жи́л, жила́, жи́ло, жи́ли;*
звать *— зва́л, звала́, зва́ло, зва́ли;*
клясть *— кля́л, кляла́, кля́ло, кля́ли;*
лгать *— лга́л, лгала́, лга́ло, лга́ли;*
лить *— ли́л, лила́, ли́ло, ли́ли;*
пить *— пи́л, пила́, пи́ло, пи́ли;*
плыть *— плы́л, плыла́, плы́ло, плы́ли;*
прясть *— пря́л, пряла́, пря́ло, пря́ли;*
рвать *— рва́л, рвала́, рва́ло, рва́ли;*
слыть *— слы́л, слыла́, слы́ло, слы́ли;*
ткать *— тка́л, ткала́, тка́ло, тка́ли,*

Как можно легко убедиться, все глаголы, попавшие в этот список,— древние, непроизводные (кроме *взять*, но и в нем производность теперь затемнена), односложные, на *-ить* или *-ать*. Может быть, непроизводность, односложность и конечные звуки *-ить*, *-ать* и стали приметами, по которым можно узнать принадлежность глагола к интересующему нас типу?

Оказывается, нет. Существуют глаголы с точно такими приметами, но не входящие в наш акцентологический тип. Вот несколько таких глаголов: ***бить*** — *би́л, би́ли, би́ло*; ***брить*** — *бри́л, бри́ла, бри́ло, бри́ли*; ***выть*** — *вы́л, вы́ла, вы́ло, вы́ли*; ***жать*** — *жа́л, жа́ла, жа́ло, жа́ли*; ***злить*** — *зли́л, зли́ла, зли́ло, зли́ли*; ***знать*** — *зна́л, зна́ла, зна́ло, зна́ли* и др. В этих глаголах ударение в форме женского рода не передвигается на окончание.

Что же делать человеку, который хочет соблюдать нормы ударения, но в речи своей допускает акцентологические ошибки? **Нужно заучить, запомнить** все глаголы, вошедшие в предложенный читателю список. Заучить, запомнить и проверить себя не один раз — попадает ли ударение туда, где оно должно быть. И тогда остальные 255 глаголов, образованных от вошедших в наш список и имеющих такую же схему движения ударения, не будут затруднять говорящего. Если глагол *брать* имеет в форме прошедшего времени женского рода единственного числа ударение на окончании, точно так будут вести себя и все приставочные и аффиксальные глаголы, образованные от глагола *брать*: *вобрать — вобрала́, взобраться — взобрала́сь, добрать — добрала́, добраться — добрала́сь, забрать — забрала́, забраться — забрала́сь, избрать — избрала́, набрать — набрала́, набраться — набрала́сь* и т. д. Если глагол *звать* принадлежит к описываемому акцентологическому типу (в прошедшем времени), то и все его производные тоже будут находиться в этом же акцентологическом типе: *воззвать — воззвала́, дозваться — дозвала́сь, зазвать — зазвала́, назвать* (гостей) — *назвала́, назваться — назвала́сь* и т. д. Этой общей закономерности подчиняются и производные глаголы, образованные на базе не существующих теперь самостоятельно основ *-ня-* и *-ча-*: *донять — доняла́, внять — вняла́, занять — заняла́, наняться — наняла́сь, начать — начала́, начаться — начала́сь*.

Если это знать (а это совсем немного!), то не будешь, по-видимому, говорить: *Коза забра́лась в огород,*

Заниматься нача́ли только в октябре, Наня́л маляров потолки покрасить (ведь движение ударения допускает его перемещение только на окончание формы женского рода!).

Из общей закономерности знают исключение только глаголы с приставкой *вы-*, которая всегда перетягивает ударение на себя и держит во всех формах глагола. Поэтому и получается: *брать — бра́л, брала́*, но *вы́брал, вы́брала*; *ждать — жда́л, ждала́*, но *вы́ждал, вы́ждала* и т. д.

На общую схему движения ударения в формах прошедшего времени может оказывать влияние аффикс *-ся*, и ударение в возвратном глаголе может отклониться от ударения в глаголе невозвратном. Так, глагол *забрать*, по общему правилу, имеет в прошедшем времени ударение *забра́л, забрала́, забра́ло, забра́ли*; глагол же *забраться* распределяет ударение в формах прошедшего времени несколько иначе: *забра́лся, забрала́сь, забрало́сь, забрали́сь*; глагол *допить* имеет ударение *до́пил, допила́, до́пило, до́пили*, а глагол *допиться* сдвигает ударение ближе к возвратному аффиксу, и оно во всех формах падает на окончание: *допи́лся, допила́сь, допило́сь, допили́сь*; глагол *излить* имеет ударение *изли́л, излила́, изли́ло, изли́ли*, а глагол *излиться* сдвигает его на окончание (разумеется, кроме формы мужского рода, которая окончания не имеет): *изли́лся, излила́сь, излило́сь, излили́сь*; глагол *навить* принимает «нормальное» для своего акцентологического типа ударение: *нави́л, навила́, нави́ло, нави́ли*; глагол *навиться* перемещает ударение на окончание, выравнивает ударение в трех формах из четырех: *нави́лся, навила́сь, навило́сь, навили́сь*; глагол *налить* принимает обычное ударение *на́лил, налила́, на́лило, на́лили*; глагол *налиться* имеет ударение, сдвинутое к концу слова: *нали́лся, налила́сь, налило́сь, налили́сь*; глагол *отозвать* дает ударение *отозва́л, отозвала́, отозва́ло, отозва́ли*; глагол *отозваться — отозва́лся, отозвала́сь, отозвало́сь, отозвали́сь*, т. е. и в этом случае перед нами сдвинутое к концу слова ударение.

Можно сформулировать следующее общее для глаголов описываемого типа акцентологическое правило (отдельные отступления от него возможны): возвратные глаголы, соотнесенные с невозвратными глаголами описываемого типа, перемещают ударение в формах прошедшего времени на окончание.

Об ударении в причастиях

§ 11. Нам известно по речевому опыту (и это подтверждается статистическими наблюдениями), что действительные причастия в разговорной речи неактивны, т. е. встречаются сравнительно редко; кроме того, ударение в таких причастиях хорошо подсказывается ударением в личных формах глаголов и в формах прошедшего времени: *чита́ют — чита́ющий, вызыва́ют — вызыва́ющий, иду́т — иду́щий, спя́т — спя́щий, говори́л — говори́вший, посмотре́л — посмотре́вший, переде́лал — переде́лавший, вы́лететь — вы́летевший* и т. д. Эти два обстоятельства (т. е. малая употребительность в разговорной речи и предсказываемость ударения личными глагольными формами) позволяют не обсуждать особо ударение, его место в действительных причастиях — тем более, что они применяются только в полной форме, падежные и родовые изменения которой не перемещают ударения.

Иное дело — краткие страдательные причастия (*налит, открыт, увезен, отдален, привлечен, отражен* и т. д.). Эти причастия в разговорной речи — гости не редкие, а ударение в них подвижное, и передвижение ударения, предписываемое нормой, нередко нарушается повседневной практикой речевого общения. Так, мы слышим *Поступившие на базу товары все еще не завезёны в мага́зины* (нужно: *не завезены́ в магази́ны*); *В докладе не уделёно достаточного внимания работе школы* (нужно: *не уделено́*); *В этой газетной статье хорошо отражёна жизнь села* (нужно: *отражена́*); *Наше село отделёно от соседнего села небольшой речкой* (нужно: *отделено́*); *Лаборатория объединёна общей научной задачей* (нужно: *объединена́*).

Ударение в кратких формах таких причастий связано с ударением в полных формах по правилу: если в причастии полной формы ударение падает на суффикс *-онн-* (пишем *-енн-*), то на суффиксе оказывается ударение и в мужском роде краткой формы, а в остальных кратких формах ударение перемещается на окончание: *введённый — введён, введена́, введено́, введены́; ввезённый — ввезён, ввезена́, ввезено́, ввезены́; взбеленённый — взбеленён, взбеленена́, взбеленено́, взбеленены́; взбешённый — взбешён, взбешена́, взбешено́, взбешены́; вкоренённый — вкоренён, вкоренена́, вкоренено́, вкоренены́;*

влюблённый — влюблён, влюблена́, влюблено́, влюблены́; забелённый — забелён, забелена́, забелено́, забелены́; завезённый — завезён, завезена́, завезено́, завезены́; заведённый — заведён, заведена́, заведено́, заведены́; завершённый — завершён, завершена́, завершено́, завершены́; загражденный — заграждён, заграждена́, заграждено́, заграждены́ и т. д.

Правило, сформулированное выше и иллюстрированное примерами, действует уверенно и четко. Знание этого правила может предупредить множество нарушений требования правильности речи. Однако говорящий не всегда верно размещает ударения и в формах полных причастий: нужно ли сказать *увéзенный* или *увезённый, завéденный* или *заведённый, погрýженный* или *погружённый, наклéенный* или *наклеённый?*

Известно, что страдательные причастия, основа которых имеет суффиксы *-анн-*, *-янн-*, *-ованн-*, размещают ударение на слоге, предшествующем этим суффиксам: *завязать — завя́з-анн-ый, отчитать — отчи́т-анн-ый, изуро́довать — изуро́д-ованн-ый, развеять — разве́-янн-ый, оприходовать — оприхо́д-ованн-ый, отломать — отло́м-анн-ый* и т. д. Все такие причастия образованы от глаголов, инфинитив которых завершается суффиксальным звуком *-а-* (*-я-*): *завяза́ть, отчита́ть, изуро́довать, разве́ять, оприхо́довать, отлома́ть* и т. д.

А как разместить ударение в страдательном причастии, если оно не имеет только что названных суффиксов и образовано от глаголов, инфинитив которых имеет суффиксальный звук *-и-*: *заслуж-и-ть, заключ-и-ть, завер-и-ть, запрос-и-ть, закорм-и-ть, залеч-и-ть, зажив-и-ть; наготов-и-ть, надолб-и-ть, накорм-и-ть, накал-и-ть, накрас-и-ть; налов-и-ть, налеп-и-ть* и др.

В современном русском литературном языке действует, хотя и не без колебаний, следующая закономерность: если ударение в личных формах простого будущего времени падает на окончание, то ударение в полных формах страдательного причастия окажется на суффиксе *-онн-, -енн-* (*завершйшь, заверша́т — завершённый; заключи́шь, заключа́т — заключённый; заживи́шь, заживя́т — заживлённый; сотвори́шь, сотворя́т — сотворённый; покори́шь, покоря́т — покорённый; удиви́шь, удивя́т — удивлённый; возбуди́шь, возбудя́т — возбуждённый* и т. д.). Если же ударение в личных формах будущего простого падает на основу, ударение в полном

страдательном причастии будет предшествовать суффиксу *-онн-*, *-енн-*: *наточишь, наточат — наточенный*; *погрузишь, погрузят — погруженный*; *истопишь, истопят — истопленный*; *увидишь, увидят — увиденный*; *допросит, допросят — допрошенный; заслужишь, заслужат — заслуженный*; *заверишь, заверят — заверенный*; *залечишь, залечат — залеченный*; *закормишь, закормят — закормленный*; *наготовить, наготовят — наготовленный* и т. д.

Если ударение в личных формах будущего простого времени колеблется, будет колебаться и ударение в полном страдательном причастии: *погрузишь* и *погрузишь, погрузят* и *погрузят* — поэтому *погруженный* и *погружённый*; *набелишь* и *набелишь, набелят* и *набелят*, поэтому *набеленный* и *набелённый; накрошишь* и *накрошишь, накрошат* и *накрошат*, поэтому *накрошенный* и *накрошённый*; *наваришь* и *наваришь, наварят* и *наварят*, поэтому *наваренный* и *наварённый; запрудишь* и *запрудишь, запрудят* и *запрудят*, поэтому *запруженный* и *запружённый* (предполагается, что в этом случае двумя различными ударениями в глаголе различаются его два значения: *запрудить* — перегородить плотиной и *запрудить* — заполнить улицу (о толпе).

Так от ударения в кратких формах страдательных причастий мы пришли к ударениям в полных формах, а затем и к ударениям в личных формах глагола. Ну что же, это естественно: мы привыкли говорить о языке как системе, вот и возникает необходимость эту систему увидеть в действительности.

Вернемся еще раз к ударениям в причастиях, а именно в тех, которые имеют суффикс *-т-* и образованы от инфинитивов с суффиксами *-ну-*, *-о-*, *-и-*. Если суффиксы *-ну-* и *-о-* в инфинитиве — ударяемые, то ударение в причастиях перемещается на один слог вперед: *перемолоть — перемолотый, прополоть — прополотый, загнуть — загнутый, воткнуть — воткнутый, изогнуть — изогнутый, согнуть — согнутый, отогнуть — отогнутый, развернуть — развёрнутый, тянуть — тянутый, натянуть — натянутый* и некоторые другие. Но: *загнуть — загнутый, тронуть — тронутый*; как будто отступление от правила, однако в первом глаголе *-ну-* уже не осознается как суффикс, во втором глаголе — ударение не на суффиксе. Значит, наше правило не нарушено.

§ 12. Страдательные причастия глаголов *лить — пить* имеют суффикс *-т-* и подвижное, притом неустойчивое

ударение. Глагол *лить* знает следующие ударения в страдательных, полных и кратких причастиях, образованных от производных по отношению к *лить* глаголов:
дóлитый и *долúтый, дóлит* и *долúт, дóлита* и *долúта, дóлито* и *долитó, дóлиты* и *долиты́*;
зáлитый и *залúтый, зáлит* и *залúт, залитá* и *зáлита, зáлито* и *залúто, залúты* и *зáлиты*;
излúтый — излúт, излитá, излúто, излúты;
нáлитый и *налитóй, нáлит* и *налúт, налитá* и *налúта, нáлито* и *налúто, нáлиты* и *налúты*;
óблитый и *облúтый, óблит* и *облúт, облитá* и *облúта, óблито* и *облúто, óблиты* и *облúты*;
перелúтый — перелúт, перелитá, перелúто, перелúты; *пóлитый* и *полúтый — пóлит* и *полúт, политá* и *полúта, пóлито* и *полúто, пóлиты* и *полúты*; *прóлитый* и *пролúтый — прóлит* и *пролúт, прóлита, пролитá* и *пролúта, прóлито, пролитó* и *пролúто, прóлиты* и *пролúты*;
рáзлитый и *разлúтый — рáзлит* и *разлúт, разлитá* и *разлúта, рáзлито* и *разлúто, рáзлиты* и *разлúты*; *распúтый* и *рóспитый — рóспит* и *распúт, распитá* и *распúта, рóспито* и *распúто, рóспиты* и *распúты*;
слúтый — слúт, слитá, слúто, слúты.

Подобным же образом ведет себя ударение и в причастиях страдательных, образованных от глаголов, производных по отношению к глаголу *пить*:
дóпитый и *допúтый — дóпит* и *допúт, допитá* и *допúта, дóпито* и *допúто, дóпиты* и *допúты*;
зáпитый и *запúтый — зáпит* и *запúт, запитá* и *запúта, зáпито* и *запúто, зáпиты* и *запúты*;
испúтый — испúт, испитá, испúто, испúты; *прóпитый* и *пропúтый*; *перепúто*; *пóпито*; *распито* (см. выше!).

Можно ли рекомендовать какой-то выбор из двух возможных ударений? По-видимому, можно, если принять во внимание общую достаточно сильную акцентологическую закономерность, захватившую часть кратких прилагательных, часть родовых форм глагола в прошедшем времени и часть причастий. Эта закономерность отчетливо дала о себе знать в предложенном читателю описании языковых фактов: перемещение ударения на окончание в формах женского рода единственного числа и возвращение ударения на основу в остальных формах. Вспомним: *бы́л, былá, бы́ло, бы́ли*; *пúл, пилá, пúли, пúло*; *звáл, звалá, звáло, звáли*; *ткáл, ткалá, ткáло, ткáли*; *бéл, белá, бéло, бéлы*; *блúзок, близкá, блúзко,*

близки; *важен, важна́, ва́жно, ва́жны*; *ги́бок, гибка́, ги́бко, ги́бки*; *на́лит, налита́, на́лито, на́литы*; *запи́т, запита́, за́пито, за́питы*.

Так вот, если принять во внимание действие этой закономерности, во-первых, и наличие колебаний акцентологической нормы в описанных только что страдательных кратких причастиях, во-вторых, то можно рекомендовать те ударения в этих причастиях, которые соответствуют общей закономерности, т. е. перемещение ударения на окончание в женском роде единственного числа: *за́лит, залита́, за́лито, за́литы*; *на́лит, налита́, на́лито, на́литы*; *о́блит, облита́, о́блито, о́блиты*; *по́лит, полита́, по́лито, по́литы*; *до́пит, допита́, до́пито, до́питы*; *за́пит, запита́, за́пито, за́питы*; *про́пит, пропита́, про́пито, про́питы*; *ро́спит, распита́, ро́спито, ро́спиты*; *до́лит, долита́, до́лито, до́литы* и т. д.

Об ударении в глаголах

творить, растить, звонить

§ 13. О движении ударения в этих глаголах нужно писать особо потому, что эти глаголы очень активны в речи и потому, что разговорная речь очень часто нарушает норму литературного языка; причем для нарушения нормы есть «объективные» основания, заложенные в самой структуре литературного языка.

Возьмем ряд глаголов на *-ить* в инфинитиве — таких, как *ходить, носить, возить, просить, любить*. При спряжении ударение в этих глаголах в первом лице единственного числа падает на окончание *-у*, в остальных формах настоящего времени — на основу: *хожу́*, но *хо́дишь — хо́дят, ношу́*, но *но́сишь — но́сят, вожу́*, но *во́зишь — во́зят, прошу́*, но *про́сишь — про́сят, люблю́*, но *лю́бишь — лю́бят*. Приставочные глаголы, образованные от только что названных, сохраняют ту же схему движения ударения: *захожу́, захо́дишь — захо́дят*; *приношу́, прино́сишь — прино́сят*; *перевожу́, перево́зишь — перево́зят*; *попрошу́, попросишь — попро́сят*; *полюблю́, полю́бишь — полю́бят*.

Вот это и есть объективное основание, позволяющее разговорной речи нарушать норму и зачислять глаголы *творить, растить, звонить* в показанный выше глагольный ряд. Для такого зачисления есть веские основания: а) глаголы *растить, творить, звонить*, как и глаголы *хо-*

дить, носить, просить, любить и под.,— двусложные в форме инфинитива и других формах; б) глаголы *растить, творить, звонить*, как и глаголы *носить, просить, любить* и под., в инфинитиве и формах прошедшего времени имеют ударение на суффиксальном звуке *-и-*; этого сходства оказывается достаточно для того, чтобы и в формах настоящего — будущего простого ударение выровнялось по одному и тому же образцу (действует закон аналогии): *твóришь*, как *нóсишь*; *рóстишь*, как *вóзишь*; *звóнишь*, как *хóдишь*. А кроме того, действуют влияния, идущие из диалектов. Вот почему в разговорной речи мы слышим: *Народ твóрит свою историю* (надо — *творúт*); *На этом заводе хорошо рóстят кадры* (надо — *растя́т*); *Вы куда звóните? Полóжьте трубку!* (надо — *звонúте, положúте*).

Если разговорная речь оказывает такой сильный нажим на литературную норму, а структура самого языка этот нажим поддерживает, стоит ли отстаивать старую литературную норму и противиться новой? Пожалуй, все-таки стоит. Дело в том, что старая литературная норма опирается на художественные произведения классиков. Читатель всегда найдет себе поддержку у Пушкина, Некрасова, Блока или Твардовского (ведь в стихе ударение узнается, даже если стих не произносится вслух). Кроме того, толковые словари и грамматики, рекомендации школы, дикторский текст радио и телевидения, театр помогут правильно ставить ударение в таких словах, как *звоню́, звонúшь, звонúт, звонúм, звонúте, звоня́т*; *ращу́, растúшь, растúт, растúм, растúте, растя́т*; *творю́, творúшь, творúт, творúм, творúте, творя́т*.

ГЛАВА 4

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ: НОРМЫ ГРАММАТИКИ

§ 1. Как и в области ударения, в морфологическом строе литературного языка есть «сильные» и «слабые» нормы; первые соблюдаются всеми, кто говорит и пишет на русском литературном языке как языке родном; вторые легко поддаются воздействиям со стороны или плохо усваиваются — и часто искажаются в нашей речи. Нужно надеяться, что со временем наука будет иметь надежное описание сильных и слабых норм, сильных и слабых, по признаку соблюдения — нарушения нормы, участков и узлов морфологического механизма. В этом пособии будут использованы отдельные примеры нарушаемых речью морфологических норм языка.

Как известно, родительный падеж имени существительного имеет, в числе других, так называемое количественно-выделительное значение. Формы родительного падежа с этим значением указывают на то целое, из которого берется лишь часть: *чашка молока, полкило хлеба, стакан пшена, ложка масла* и т. д. Родительный падеж с таким значением могут иметь лишь те имена существительные, которые обозначают вещество, делимое, членимое на части (по весу, объему и т. п.).

Эти существительные в современном русском литературном языке — во втором склонении, в родительном падеже единственного числа, могут иметь два окончания: *-а* и *-у*; норма делает выбор одного из них. Некоторые имена существительные для выражения количественно-выделительного значения применяют лишь окончание *-у*; именно такое окончание предписывает норма. Вот небольшой перечень существительных, достаточно активных в речи, принимающих окончание *-у*: *анис — анису, атлас — атласу, бархат — бархату, бензин — бензину, вазелин — вазелину, виноград — вино-*

граду, воск — воску, горох — гороху, деготь — дегтю, жир — жиру, изюм — изюму, квас — квасу, керосин — керосину, клей — клею, корм — корму, лак — лаку, лес — лесу, лук — луку, мак — маку, мед — меду, мел — мелу, морс — морсу, перец — перцу, порох — пороху, пух — пуху, рис — рису, сахар — сахару, ситец — ситцу, спирт — спирту, суп — супу, сыр — сыру, творог — творогу, тес — тесу, товар — товару, хрен — хрену, чай — чаю, шелк — шелку, яд — яду и некоторые другие.

Такова норма. Она прочнее в разговорном стиле литературного языка, она ослаблена в стиле деловом.

Значит, в разговоре нужно предпочесть *купил винограду, налил в стакан чаю, попробовал цветочного меду, десять литров бензину, пять метров ситцу, не хватило тесу, много жиру* и т. д.

Описанная норма — не жесткая, поэтому нередки ее колебания, т. е. замена окончания *-у* окончанием *-а*.

Если любое имя существительное из числа тех, которые могут иметь количественно-выделительное значение в родительном падеже, использует в этом падеже какое-то иное значение, отпадает необходимость в окончании *-у* и на его месте оказывается, так сказать, обычное для существительных мужского рода окончание *-а*: *мешок гороху*, но *посев гороха, вкус гороха; ложка меду*, но *лечебные свойства меда*; *тюбик вазелину*, но *химический состав вазелина* и т. д.

Прочно пока держится окончание *-у* (на месте древнего *-а*) в некоторых именах существительных, вошедших в состав устойчивых словосочетаний: *не зная броду, не суйся в воду; не подавали виду; разговаривали с глазу на глаз; ему и всего-то без году неделя; бежал что есть духу; пирожки с пылу с жару; играет — и ни складу ни ладу; здорово вы дали маху; ни отдыху, ни сроку; поддать пару; сбиться с толку; нет покою; ни проходу, ни проезду; бить без промаху; без роду без племени; ей не до смеху; спору нет; не давать спуску; удержу нет никакого; говорить без умолку; смеяться до упаду; прибавить ходу; ни шагу назад; приехать с часу на час; много шуму* и др.

В этом перечне есть и новые для нас имена существительные, принадлежащие к иному семантическому «кругу», а именно имена существительные с отвлеченным значением: *вид, жар, склад, лад, пыл, отдых, толк, промах, смех, спуск, ход* и др. Эти слова обозначают не

вещи и предметы повседневного обихода, не людей и животных, они обозначают качества и свойства, действия и состояние в отвлечении от своих «хозяев» — вещей, предметов, людей и животных; в результате такого отвлечения качества, свойства, действия, состояния ставятся в тот же ряд, в котором находятся предметы, вещи, люди и животные, и это достигается использованием имен существительных, а не имен прилагательных для наименования качеств и свойств, использованием существительных, а не глаголов для наименования действий и состояний.

И вот некоторые отвлеченные имена существительные, особенно в устойчивых словосочетаниях, употребляются с окончанием *-у* на месте ожидаемого *-а*: *блеск — блеску, брак — браку, вес — весу, вздор — вздору, визг — визгу, жар — жару, крик — крику, лоск — лоску, простор — простору, разговор — разговору, свет — свету, спор — спору, страх — страху, ход — ходу, шум — шуму* и некоторые другие.

Окончание *-у* в родительном падеже перечисленные имена существительные получают обычно тогда, когда этот падеж так или иначе информирует о полноте, количестве действия или качества: *много блеску, все-таки дали браку, здесь не хватает весу, намолол вздору, сколько визгу, накопил жиру, немало крику, навели лоску, как много простору, не оберешься разговору, мало свету, наслушался вашего спору, натерпелся страху, дать ходу, наслушаться шуму* и т. д.

Показанная в действии норма не очень устойчива и легко поддается воздействию выражаемого грамматического значения родительного падежа, примененного языкового стиля и других причин. Так, устранение «количественного» значения родительного падежа, в особенности при наличии определения к имени существительному в этом падеже — переводит окончание *-у* в разряд неустойчивых и обычно заменяемых окончанием *-а*: *добивался яркого блеска стекол, увеличение брака дальше недопустимо, изучение падения веса животных, товарищи не слушали его несуразного вздора, не было слышно кошачьего визга, покупатели искали гусиного жира, в лесу не было птичьего крика, ботинкам не хватало лоска, требовал степного простора, уходил от громкого разговора, не хватило света, отказался от бесплодного спора, они не знали страха, машина не*

развивала быстрого хода, городского шума совсем не слышно и т. д.

Намеченная в этих заметках об окончании *-у* акцентологическая закономерность выявлена нежестко и нечетко, поэтому неизбежно колебание языковой нормы и перебои окончаний *-у* и *-а*, и отвлеченные имена существительные прочно удерживают окончание *-у*, лишь находясь в составе устойчивых словосочетаний.

И еще несколько слов об окончании *-у*, на этот раз — в родительном падеже с предлогами *с*, *из*, *от*, *без*. Эти предлоги поддерживают тенденцию к использованию окончания *-у*, но не придают ей силы закона. Поэтому в небольшом сравнительно ряду имен наблюдается колебание нормы и довольно безразличное употребление окончаний *-а* и *-у*: *выбежал из дому* и *выбежал из дома; взял без спроса* и *взял без спросу; шли без шуму* и *шли без шума; заикнулся с испугу* и *заикнулся с испуга*.

§ 2. Окончание *-у* может появляться не только в родительном, но и в предложном падеже единственного числа. Грамматика скажет нам, что такое окончание (вместо обычного *-е*) может появляться во многих словах мужского рода второго склонения. Свободнее это окончание присваивают себе слова односложные, реже оно появляется в словах многосложных. При этом окончание *-у* появляется в предложном падеже лишь в тех случаях, когда имена существительные употреблены с предлогами *в* и *на* и имеют в высказывании так называемое «обстоятельственное» значение — указывают на место и, реже, время и образ действия: *Мальчики были* (где?) *в лесу; Этажерку поставили* (где?) *в углу; Нелегко работать* (где? в каких условиях?) *на ветру; Переговаривались* (когда? в каких условиях?) *на ходу; После купания сидели* (где?) *на берегу; Пальто висело* (где?) *в шкафу* и т. д.

Если те же самые слова и с теми же самыми предлогами оказываются в предложении в роли дополнения, а не обстоятельства и отвечают на вопросы *на чем? в чем?* — они обычно сохраняют свое основное окончание *-е*: *Ездок заметил неровность в беге лошади; Контролеры обнаружили брак в лесе, купленном для стройки; Спортсмен не тренировался два дня, и это отразилось на его весе.*

Вот небольшой перечень имен существительных,

склонных к употреблению окончания *-у* в описанных только что условиях: (в перечень вошли только наиболее активные в речи имена): *бал — на балу, бег — на бегу, берег — на берегу, бок — на боку, бой — в бою, быт — в быту, ветер — на ветру, вид — на виду, воз — на возу, год — в году, долг — в долгу, дым — в дыму, клей — в клею, на клею, край — в краю, на краю круг — в кругу, лоб — на лбу, лес — в лесу, луг — на лугу, лед — на льду, во льду, мед — в меду, на меду, мех — в меху, на меху, мозг — в мозгу, мост — на мосту, нос — в носу, на носу, плен — в плену, полк — в полку, пол — на полу, в полу, пост — на посту, пруд — на пруду, в пруду, пух — в пуху, на пуху, ров — во рву, род — в роду, на роду, рот — во рту, сад — в саду, снег — в снегу, на снегу, спирт — в спирту, на спирту, строй — в строю, ток — на току, тыл — в тылу, угол — в углу, на углу, хлев — в хлеву, ход — в ходу, цвет — в цвету, шкаф — в шкафу, на шкафу* и др.

В большинстве случаев применение окончания *-у* вместо окончания *-е* не вызывает затруднений, так как принимающие окончание *-у* имена активны, а значит, хорошо известны; кроме того, это окончание свойственно прежде всего разговорному стилю литературного языка, а стиль разговорный — наиболее массовый и лучше других усваиваемый. Но это не значит, что мы всегда хорошо справляемся с потребностью выбрать из двух окончаний одно *-е* или *-у*. Нам мешают случаи колебания нормы или сильное влияние книжных стилей. Есть немало имен, одинаково легко принимающих и то и другое окончания. Вот почему иногда возникает недоуменный вопрос: Как же правильно — *в цеху* или *в цехе*? Как лучше — *в отпуску или* в *отпуске*? На этот конкретный вопрос литературный язык позволяет ответить так: можно и *в цеху* (в разговоре такое окончание предпочтительнее), можно и *в цехе*; правильно *в отпуске* (в документе такое окончание даже лучше), правильно и *в отпуску*. Это еще один убедительный пример того, как норма литературного языка может допускать два варианта, значит, у говорящего есть выбор, правда, обычно они (варианты) все-таки дифференцированы — один для одного (или одни) стиля, второй — для другого (других).

§ 3. Еще один морфологический «узел», где колеблется норма и есть случаи двоякого выбора,— это окон-

чание именительного-винительного падежа множественного числа имен существительных мужского рода. В речи нас нередко затрудняет поиск нужной и правильной формы. Можно или нельзя сказать *офицера, инженера, токаря, лекаря, профессоры, докторы*? Я упоминал в начале этой книги, как решал подобные вопросы В. И. Чернышов: надо предпочесть окончания *-а,* так как оно, дескать, господствует в разговорах. Да, но на каком языке — на литературном или на одном из местных либо профессиональных вариантов русского народного языка (этноязыка, по предложению А. И. Горшкова)? Ведь это не одно и то же.

В далеком прошлом, как мы знаем, именительный падеж существительных мужского рода имел во множественном числе окончание *-и* (речь идет, разумеется, о языке русском). Теперь же этот падеж (и винительный, если он совпадает с именительным) имеет три окончания: *-и (кони), -ы (сады), -а (города).* Первые два окончания особых хлопот как будто нам не доставляют, потому что едва ли кому-нибудь из русских придет в голову сказать вместо *кони — коны*, а вместо *волы — воли*. «Хлопоты» возникают из-за окончания *-а*, сравнительно недавно проникшего в круг форм именительного падежа множественного числа существительных мужского рода и разорвавшего этот круг. Окончанию *-а* удалось потеснить своих более старых соперников и прочно закрепиться в нескольких десятках слов. Победе нового окончания помогало ударение: если оно во всех падежах, кроме именительного, уже было на окончании, это, как правило, предрешало победу нового пришельца (привыкшего к ударению очень давно).

В хороших грамматиках приводятся перечни слов, в которых старое для них окончание *-ы* вытеснено окончанием *-а*. Сделаем выборку из этих перечней: *адрес — адреса, бег — бега, берег — берега, бок — бока, век — века, вечер — вечера, ворох — вороха, глаз — глаза, голос — голоса, город — города, директор — директора, доктор — доктора, дом — дома, жёлоб — желоба, жёрнов — жернова, кáтер — катера, колокол — колокола, край — края, купол — купола, кучер — кучера, луг — луга, мастер — мастера, номер — номера, округ — округа, ордер — ордера, остров — острова, парус — паруса, паспорт — паспорта, перепел — перепела, повар — повара, погреб — погреба, поезд — поезда, профессор — про-*

фессора, рог — рога, рукав — рукава, снег — снега, сорт — сорта, сторож — сторожа, тетерев — тетерева, тормоз — тормоза, холод — холода, хутор — хутора, череп — черепа, шелк — шелка и др.

В 20—30-е годы, когда литературный язык испытывал сильнейшее влияние всего разнообразия устной речи, окончание *-а* становилось все активнее и захватывало, пусть нередко и временно, все новые и новые слова. В разговорной речи (не очень литературной) можно было услышать и *офицера*, и *аптекаря*, и *лацкана*, и *торта*, и *инженера* и т. д. В 60—70-е годы активность окончания *-а* пошла на убыль, однако окончание *-а* в перечисленных словах можно услышать и теперь.

Литература и наука проявили большую сдержанность в отношении к новым формам именительного-винительного падежа на *-а*, и во многих словах эта новая форма так и не получила признания. Норма литературного языка отклоняет такие формы, как *месяца, торта, фронта, прииска, офицера, инженера, циркуля, слога, договора, шофера* и др. Правильно: *аптéкари, договóры, инженéры, лéкторы, мéсяцы, лáцканы, прúиски, тóкари, тóрты, офицéры, слóги, фрóнты, цúркули, шофёры* и т. д.

Одним из последствий интенсивного наступления окончания *-а* на формы множественного числа именительного и винительного падежей существительных мужского рода стало колебание нормы и на этом участке языковой морфологической структуры. Участок оказался ослабленным, и в русском литературном языке 70-х годов XX столетия нужно признать одинаково допустимыми формы с окончанием *-ы* и с окончанием *-а* в таких, например, активных в речи словах: *бухгалтер — бухгалтеры* и *бухгалтера, волос — волосы* и *волоса, год — годы* и *года, инспектор — инспекторы* и *инспектора, инструктор — инструкторы* и *инструктора, корректор — корректоры* и *корректора, крейсер — крейсеры* и *крейсера, лагерь — лагери* и *лагеря, омут — омуты* и *омута, отпуск — отпуски* и *отпуска, прожектор — прожекторы* и *прожектора, промысел — промыслы* и *промысла, редактор — редакторы* и *редактора, сектор — секторы* и *сектора, слесарь — слесари* и *слесаря, тополь — тополи* и *тополя, хлеб — хлебы* и *хлеба, цех — цехи* и *цеха, якорь — якори* и *якоря.*

Если формы именительного падежа множественного числа имен существительных мужского рода допускают

два окончания, то в деловом и научном стилях нужно предпочесть окончание *-ы*, а в разговорном — окончание *-а*.

Конечно, от колебания нормы не забудем отличать использование этих двух окончаний в роли словообразовательного средства — для различения разных слов (и их смысла), имеющих одну и ту же основу. В языке нашем есть два слова *хлеб: хлеб* — пища, *хлеб* — посевы. Одно из них получает в именительном (и винительном) падеже множественного числа окончание *-ы* (*хлебы в печи*), а другое — окончание *-а* (*хлеба с полей убраны*). Так же: *провода* (электрические) и *проводы* (на Дальний Восток), *тона* (оттенки, переливы цветов и звуков) и *тоны* (звуки), *цвета* (окраска) и *цветы* (на клумбе).

§ 4. Еще один «слабый» участок морфологических норм — формы родительного падежа множественного числа имен существительных второго склонения. Эти нормы располагают в настоящее время набором из трех окончаний: *-ов*, (*-ев*); *-ей* и так называемое нулевое. Вот образцы: *город-ов, бокал-ов, пальц-ев, умельц-ев, шалаш-ей, учител-ей, масел, умений* (вспомним, что конечные звуки *-ий*, в этом и подобных словах — это конечные звуки основы, но не окончание!)

Наиболее древнее во втором склонении — окончание «нулевое» (правда, оно «нулевое» теперь, а в древности был еще так называемый редуцированный гласный — он-то и был окончанием). Окончания же *-ов* (*-ев*) и *-ей* — «пришельцы», они проникли во второе склонение из исчезнувших склонений — древнего «третьего» и древнего «четвертого».

«Пришельцы» были сильны и настойчивы. Они вступили в длительную и малозаметную борьбу с «хозяином» и потеснили его, заменив во многих словах. Эта борьба не завершена и в наши дни; вот почему во многих случаях мы колеблемся и сомневаемся, выбирая окончание родительного падежа, не знаем, какому отдать предпочтение. Наши сомнения могут поддерживаться влияниями на литературную речь, идущими со стороны местных диалектов.

Читателю полезно оживить в памяти ряды имен существительных, способных вызвать у него сомнения при выборе окончания для формы существительного в родительном падеже множественного числа.

Вот один из таких рядов. В него входят имена, завершающие свою основу звуками *-ин: грузин, южанин, вологжанин.*

Эти имена существительные обозначают национальность человека (грузин, армянин, абазин), его связь с определенной территорией (южанин, северянин, волжанин), с тем или иным городом (вологжанин, киевлянин, горьковчанин).

Эти слова в родительном падеже множественного числа не имеют окончания, кроме того, в этой форме может выпадать суффикс основы *-ин: Вошел грузин — Приехало много грузин; Армянин знает русский язык — Обычаи армян; Южанин говорил с акцентом — В городе немало южан; Все волжане любят свою Волгу — В его произношении слышится оканье волжан; Вологжане неторопливо обсуждали новость — Я искал глазами только что приехавших вологжан; Киевляне обычно приветливы — Украинская щедрость киевлян.*

Нулевое окончание имеют, как правило, и имена существительные среднего рода: *вещество — веществ, место — мест* (нельзя — *местов!*), *болото — болот, войско — войск, плечо — плеч, знание — знаний, дело — дел* (нельзя — *делов!*), *яблоко — яблок* (нельзя — *яблоков!*), *умение — умений* и др. Есть и некоторые исключения из правила, в их числе: *плечико — плечиков, колесико — колесиков, очко — очков, древко — древков, облако — облаков, дно — доньев, полено — поленьев, шило — шильев, ушко — ушков.*

Нулевое окончание имеют некоторые существительные мужского рода, которые не удается зачислить в ту или иную классификационную рубрику: *один аршин — много аршин, один валенок — много валенок, один гренадер — много гренадер, один глаз — много глаз, один гусар — много гусар, один гран — много гран,* так же *драгун, кирасир, партизан, солдат, раз, погон, сапог, чулок* (но — *носков!*), *человек.*

Литература и наука, узаконив форму родительного падежа множественного числа — *чулок, сапог, валенок,* не принимают форму *носок*, несмотря на ее большую активность. Слово *носок* имеет родительный падеж множественного числа в форме *носк-ов*; так же *апельсин — апельсинов, баклажан — баклажанов, мандарин — мандаринов, помидор — помидоров, гектар — гектаров, грамм — граммов, килограмм — килограммов.*

Пожалуй, нет смысла обсуждать предписание нормы, обязывающее говорить и писать *граммов* (а не грамм), *килограммов* (а не килограмм), *гектаров* (а не гектар). Но слова *апельсин, мандарин, баклажан*... Ведь они так похожи на те, которые мы вспомнили ранее — *грузин, южанин, волжанин*. Так почему же *волжан, южан, грузин, горьковчан*, но *апельсинов, лимонов, мандаринов*? Форму на *-ов* поддерживает в этих словах их семантика: они все обозначают фрукты, и одно из них — *лимон* — никак не укладывается в ряд *грузин, вологжанин, южанин*. К тому же слово *лимон* без каких-либо помех образует форму *лимонов*; аналогия *лимон — лимонов, апельсин — апельсинов, мандарин — мандаринов* побуждает защищать действующую норму. Поэтому, дорогой читатель, лучше, может быть, усвоить нужные навыки и говорить, как предписывает норма, а не так, как подсказывают слова *грузин, южанин* и под.

Литературная норма нередко нарушается и в именах существительных (при образовании все того же родительного падежа множественного числа), лишенных единственного числа.

Под влиянием главным образом диалектов, где известная литературному языку норма не сложилась по тем или иным причинам, в отдельных словах, лишенных единственного числа, разговорная речь дает нулевое окончание — в то время как литературный язык его не знает. Вот небольшой перечень таких слов: *алиментов, клавикордов, консервов, мемуаров, подмостков, последков, прогонов, счетов, финансов*. Неправильно: *клавикорд, консерв, подмосток, прогон, последок*.

В других словах по тем же причинам литературная норма отвергает окончание в родительном падеже множественного числа, а разговорная речь нередко это окончание принимает: *брызги — брызг* (не брызгов!), *дрязги — дрязг* (не дрязгов!), *жабры — жабер, именины — именин, каникулы — каникул, колики — колик, макароны — макарон, панталоны — панталон, хлопоты — хлопот, хоромы — хором, цимбалы — цимбал, шаровары — шаровар, шоры — шор*. Значит, неправильно: *брызгов, макаронов, цимбалов, шароваров, каникулов*. Слово *высевки* имеет два варианта родительного падежа — и *высевков*, и *высевок*.

В словах третьего ряда (они тоже не имеют единственного числа) норма применяет для образования фор-

мы родительного падежа окончание *-ей*, а разговорная речь нередко эту норму забывает: *бредни — бредней, будни — будней, вирши — виршей, грабли — граблей, гусли — гуслей, розвальни — розвальней, россказни — россказней, ходули — ходулей, шашни — шашней, ясли — яслей,* допустимые колебания нормы: *грабель, ходуль. Вирш, гусель, розвален, ясель* — неправильно!

§ 5. В имени прилагательном есть свои очаги ослабленной нормы. Один из таких очагов — краткие формы единственного числа мужского рода, второй очаг — формы сравнительной степени.

Как правильно — *многочислен* или *многочисленен, невежествен* или *невежественен, ответствен* или *ответственен, мужествен* или *мужественен?*

Толковые и специальные (показывающие ударение) словари почти единодушны: правильно — *невежествен, многочислен, ответствен, мужествен.* Но вот словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973) дает и *мужествен* и *мужественен* (предупреждая читателя: вторая форма «реже»); *невежествен* и *невежественен* (с тем же предупреждением); только *многочислен; ответствен и ответственен* (читатель предупреждается: вторая форма — устаревающая).

Почему возникают вопросы, как же правильно, и почему составители словарей не вполне единодушны?

Видимо, дело в том, что в современном русском литературном языке есть две очень похожие одна на другую, но по сути своей разные формы — форма страдательного причастия, завершаемая звуками и буквами *-нный,* и форма имени прилагательного, завершаемая теми же звуками и буквами.

Вот причастия: *выписанный, выхоженный, отозванный, предусмотренный, прочитанный.*

А вот имена прилагательные: *безбоязненный, дерзновенный, неизменный, непреклонный, пустынный.*

Краткие формы причастий несколько отличаются от кратких форм имен прилагательных: *прочитан, прочитана, прочитано, прочитаны,* но *пустынен, пустынна, пустынно, пустынна.* Как видим, отличие лишь в образовании формы мужского рода единственного числа: причастие завершается суффиксальным звуком *-н,* имя прилагательное — суффиксальными звуками *-нен* (один из них, гласный,— это наследие далекого прошлого: он

возник из редуцированного звука *ь*, находившегося в составе суффикса и стоявшего в сильной позиции).

Одним из результатов возникшего исторически звукового сходства «исходов» имен прилагательных на *-нный* и страдательных причастий на *-нный* стало их взаимное влияние. И если бы этого влияния не было, мы, не колеблясь, получали бы краткие формы прилагательных *мужественный* или *дерзновенный*: *мужественен*, *дерзновенен*. Но причастия, оказывая воздействие на похожие имена прилагательные, отнимают у них последние два звука, и мы говорим (или пишем) *мужествен, дерзновен* по аналогии с причастиями *облуплен, насуплен, настроен, доверен, наезжен*. Вместе с тем и прилагательные оказывают влияние на причастия: это влияние сказывается не только в том, что многие причастия «окачествляются» в своей семантике, но и, получив качественное значение, начинают изменять свои формы, как имена прилагательные: вот почему форму мужского рода (краткую) слова *определенный* мы склонны образовать по образцу прилагательного: *определен*; а ту же форму слова *неожиданный* можем получить в виде — *неожиданен*.

Для того чтобы яснее представить себе, под влиянием каких сил образуются краткие формы мужского рода в прилагательных типа *мужественный, невежественный*, полезно обратить внимание и на следующее обстоятельство.

Имена прилагательные, завершаемые в основе суффиксальным звуком после согласного, как правило, образуют краткую форму мужского рода на *-ен*: *способный — способен, ущербный — ущербен, дружелюбный — дружелюбен, забавный — забавен, тщеславный — тщеславен, бесправный — бесправен, напевный — напевен, жадный — жаден, складный — складен, парадный — параден, победный — победен, праздный — празден, важный — важен, отважный — отважен, продажный — продажен, авантажный — авантажен, надежный — надежен, возможный — возможен, безотказный — безотказен, яйцеобразный — яйцеобразен, любезный — любезен, полезный — полезен, серьезный — серьезен, урожайный — урожаен, бескрайный — бескраен, необычайный — необычаен, идейный — идеен* и т. д.

Всмотримся внимательно в возникшую перед нами картину: регулярно, без каких-либо исключений, крат-

кие формы мужского рода завершаются звуками *-ен*, если в полной форме перед суффиксом *-н* идет согласный звук. Но ведь *н* — тоже согласный. Если он идет перед суффиксальным *н*, получается два *н*, т. е. возникают как раз те имена прилагательные, которые смущают и составителей словарей, и тех, кто говорит и пишет, зная или не зная, что́ лексикографы рекомендуют.

И действительно, во многих случаях, когда перед нами полное имя прилагательное на *-нный*, мы и не сомневаемся, что в краткой форме мужского рода на конце должно быть звуковое сочетание *-нен*: ведь перед *-ен* должен стоять согласный звук основы, а в наших основах это звук *-н*. Вот несколько примеров: *подлинный — подлинен, бесталанный — бесталанен, желанный — желанен, жеманный — жеманен, гуманный — гуманен, туманный — туманен, странный — странен, гортанный — гортанен, непрестанный — непрестанен, неустанный — неустанен, безуханный — безуханен, благоуханный — благоуханен, самозабвенный — самозабвенен, мгновенный — мгновенен, обыкновенный — обыкновенен, вдохновенный — вдохновенен, откровенный — откровенен* (между прочим, словари признают эту форму, но отвергают совершенно аналогичную *сокровенен*), *царственный — царственен, обыденный — обыденен, современный — современен, бессменный — бессменен, неизменный — неизменен, несравненный — несравненен, безболезненный — безболезнен, безбоязненный — безбоязнен, почтенный — почтенен, драгоценный — драгоценен, священный — священен, невинный — невинен, диковинный — диковинен, повинный — повинен, длинный — длинен, доподлинный — доподлинен, старинный — старинен, картинный — картинен, рутинный — рутинен, чинный — чинен, причинный — причинен, резонный — резонен, неблаговонный — неблаговонен, комбинационный — комбинационен, кульминационный — кульминационен, благосклонный — благосклонен, церемонный — церемонен, неугомонный — неугомонен, бессонный — бессонен, бонтонный — бонтонен, пустынный — пустынен, безымянный — безымянен* и др.

Мы вынуждены были взять этот довольно большой ряд имен прилагательных для того, чтобы отчетливо проступило действие сильной закономерности, которую не хотят видеть (или не видят) составители многих спра-

вочников и словарей. Влияние другой закономерности — со стороны причастий — может только колебать норму, но не может ее уничтожить.

А норма эта такова: если в полной форме имени прилагательного, в исходе основы, идут два звука [н] (им на письме соответствуют две буквы *н*), то в краткой форме мужского рода, на конце ее, должны быть звуки [нен]. Не видно никаких особых причин (кроме указанного ранее влияния страдательных причастий), которые оправдывали бы отступление от общего правила; колебания нормы, конечно, возможны.

Вот почему можно рекомендовать в трудных случаях говорить и писать по общему правилу, включая и такие имена прилагательные, которые словарями выделяются из общего ряда и пишутся в этих словарях с одной буквой *н* на конце: *мужествен*, *невежествен* и под. Если соблюдать общую тенденцию, хорошо выявленную в литературном языке наших дней, то можно допустить (не исключено, что и предпочесть) — *мужественен*, *ответственен*, *невежественен*, *дерзновенен* и под.

§ 6. Завершая короткий обзор избранного ряда морфологических норм, взглянем на то, как мы справляемся с нормой, регулирующей образование степеней сравнения имени прилагательного.

В наших выступлениях на собраниях и заседаниях, в корреспонденциях, публикуемых районными газетами, нередко встречаются высказывания вроде: «Ветлужский район в дорожном строительстве добился более лучших успехов, чем его соседи», «Завод имеет в этом квартале более лучшие показатели, чем в прошлом». В этих и им подобных высказываниях нарушена норма образования сравнительной степени: не нужно было говорить (или писать) «более лучших», достаточно было — *лучших*.

Почему? Потому что сравнительная степень образуется либо с помощью суффикса *-ее* (*добрее*, *смелее*, *теплее*), либо аналитически, с помощью слова *более* (*более добрый*, *более смелый*, *более теплый*). В этот ряд входит и форма *лучший*, очень древняя, образованная не по современному правилу, но имеющая то же значение, что и форма *более хороший*.

Нам известно, что сравнительная степень (*добрее*, *смелее*, *теплее*) означает, что какой-то признак свойственен одному предмету в большей мере, чем другому:

ребенок добрее взрослого, лето теплее весны, небо синее воды. Превосходная степень (*самый добрый, самый теплый, самый синий*) означает, что какой-то признак одному предмету какого-то их круга свойствен в большей мере, чем всем остальным (*Волга — самая длинная река Европы; Секвойя — самое долголетнее дерево на Земле; Единица — самое меньшее целое положительное число*).

Как будто все это нам известно: все учились в школе. Однако мы часто забываем о том, что степени сравнения можно употреблять лишь в таких высказываниях, из содержания которых совершенно ясно, что с чем сравнивается по «количеству» одного и того же признака. Поэтому нельзя, неправильно говорить и писать так: «Наш завод оказался более передовым» (с чем сравнивается наш завод?), «Гоголь создал более реалистические образы» (по сравнению с кем?). Каждое из этих высказываний требует исправления в соответствии со значением сравнительной степени имен прилагательных *передовой, реалистический, развитый*, например, так: *Наш завод оказался более передовым, чем завод «Красный факел»; Гоголь создал более реалистические образы, чем Фонвизин.*

Однажды в газетной заметке промелькнула такая фраза: «Секвойя — величайшее хвойное дерево на земле». На первый взгляд, здесь все на месте, все правильно, указано, что с чем сравнивается (секвойя и все остальные хвойные деревья). И все же сравнительная степень подвела автора: возникла мало заметная фактическая и логическая ошибка: ведь секвойя — самое крупное дерево не только среди хвойных, а вообще среди всех деревьев современного мира.

Я уже напомнил читателям о том, что и сравнительная, и превосходная степени существуют в современном русском литературном языке в двух вариантах: *теплее* и *более теплый*; *умнейший* и *самый умный*. Аналитические формы *более теплый* и *самый умный* (разумеется, и все им подобные по образованию) возникают в процессе речи легче и применяются активнее своих синтетических двойников.

Эти синтетические двойники требуют очень бережного с ними обращения, в противном случае они не прочь сыграть с нами злую шутку. Так, формы *ближайший, важнейший, крупнейший, мельчайший, умнейший*

и другие оказывается могут обозначать вовсе не самый близкий, самый важный, самый крупный, самый мелкий, самый умный, а просто близкий (*В ближайшее время заказ ваш будет выполнен*), очень важный (*Хорошие знания — важнейшее условие работы на сложном станке-автомате*), очень крупный (*Наши конькобежцы одержали новую крупнейшую победу*), очень мелкий (*Мельчайшие пылинки плавали в лучах солнца*), очень умный (*Наш главный инженер — умнейший человек*). В этих случаях признак, обозначенный формой имени прилагательного, берется в одном предмете безотносительно к его «количеству» в других, ни с чем не сравнивается. А это побуждает (и понуждает) тех, кто говорит или пишет, семь раз примерить и один отрезать, т. е. хорошенько подумать, прежде чем применить по видимости превосходную степень имени прилагательного,— подумать о том, достаточно ли отчетливо будет выражено значение прилагательного, не возникнет ли двусмысленности.

Вот один пример из многих. Студент-филолог говорит: «Александр Блок был талантливейшим поэтом России». Форма *талантливейший* здесь применена не вполне удачно. Почему? Потому что она отчетливо выражает значение превосходной степени, и получается, что А. Блок был самым талантливым поэтом России — талантливее Пушкина, Лермонтова, Некрасова и всех других; студент этого смысла, вероятно, в свое высказывание не вкладывал. Хороший редактор должен был отклонить и такое высказывание, появившееся в одной из литературно-критических заметок: «Повесть о настоящем человеке» — крупнейшее произведение послевоенной советской литературы». Значение слова *крупнейший* осознается в этом высказывании по-разному: и «самое крупное», и «очень крупное»; если читатель в своем сознании воспримет первое значение, литературный критик исказит меру ценностей в литературе наших дней.

Под влиянием местных говоров старая, синтетическая форма превосходной степени (*виднейший, крупнейший, умнейший* и под.) может получить искаженное, неправильное образование и произношение. Каждый читатель этой книги, конечно, слышал *виднеющий, умнеющий, крупнеющий*. Полезно было бы некоторым взрослым по-взрослому читать школьный учебник рус-

ского языка, где сказано, что в превосходной степени используются суффиксы *-ейш-*, *-айш-*. И только. Никакого суффикса *-еющ-* в современном русском литературном языке нет.

Вернемся к примеру со словом *лучший*. Древние формы сравнительной степени дошли до наших дней лишь в немногих именах прилагательных: *высший, низший, худший, лучший*. Вот, пожалуй, и все. Таким образом, положительная степень — *высокий, низкий, плохой, хороший*; сравнительная степень — *высший, низший, худший, лучший* (использован суффикс *-ш-*); превосходная степень — *самый высокий* или *высочайший, самый низкий, самый плохой, самый хороший*. Применяемые в разговорной речи (а иногда и в деловых бумагах) словосочетания *более высший, более низший, более худший, более лучший* — неправильны и бессмысленны — так же, как бессмысленны сочетания слов *водяная вода* и *масло масляное*. Говорить *более лучшие* или *более худшие успехи* нельзя.

§ 7. Одним из слабых участков морфологической системы норм в современном русском литературном языке стали имена числительные, и прежде всего надо говорить о склонении числительных количественных.

Даже по центральному радио, из уст опытных дикторов, иногда с удивлением и горечью слышишь: «Библиотека пополнилась пятьсот девятью тысячами книг». А некоторые вполне образованные люди, в их числе и филологи, всерьез думают, что имена числительные можно теперь и не склонять...

Почему же эти распространенные в речи и нужные слова перестают повиноваться предписаниям грамматики? Представим себе, что мы читаем такое высказывание: *2345 рублей было достаточно для оплаты расходов на перевозку груза*. Начиная чтение этого высказывания вслух или «проговаривание» его про себя, мы легко, естественно и незаметно впадаем в ошибку: за цифрами 2345 угадываем не то, что за ними скрыто,— угадываем именительный падеж, а не родительный просто потому, что привыкли каждое слово представлять себе в его «начальной», или «исходной», форме, т. е. в именительном падеже. Мы, разумеется, быстро замечаем, что падеж не именительный, но обдумывать, как же нужно изменить целых четыре части одного числительного (две тысячи триста сорок пять), нам не хочется или мы не

успеваем. Вот и получается: «Две тысячи триста сорок пяти рублей...» или несколько лучше: «Две тысячи триста сорока пяти рублей...».

Кроме того, на «поведение» составных количественных имен числительных влияет и вторая физиологическая причина: некоторые числительные «трудно» изменяются по падежам, т. е. мы вырабатываем навыки изменения формы таких числительных с известными затруднениями. Учителя хорошо знают, что слова *три, четыре, сорок, девяносто, двести, триста, четыреста* очень часто не поддаются ученикам, в особенности тем, у кого не хватает настойчивости и терпения, да и желания справиться с трудностью. Такие ученики кое-как одолевают премудрости образования падежных форм «трудного» слова *девяносто* или *четыреста*.

А в результате получается, что кое-кто из выступающих на собрании или заседании, кое-кто из лекторов, пропагандистов, даже учителей и дикторов вместо *двух тысяч трехсот восьмидесяти пяти* говорит «две тысячи триста восемьдесят пяти», а вместо *тремястами девяноста тремя* — «триста девяносто тремя» (да и последняя часть этого числительного может оказаться искаженной).

Образцовая по языку литература, наука, высокого качества лекционная пропаганда пока не признают (и не видно, почему бы нужно было признать в будущем) «упрямства» имен числительных, а точнее — нашего нежелания или неумения выработать, отшлифовать нужные речевые навыки.

Крайне нужно, чтобы в устных публичных выступлениях и в разговорах за столом (обеденным или служебным) не искажались нормы склонения составных количественных имен числительных — нормы, хорошо и полно изложенные уже в школьной грамматике.

И конечно, никакими правилами, никакими нормами не предусмотрены такие соединения слов, как «без пять минут десять» или «без двадцать в одиннадцать». И то, и другое (несмотря на известную распространенность в разговорной речи жителей, например, г. Горького) совершенно неправильно и неприемлемо.

Два замечания о склонении слов *оба* и *полтора*. Слово *оба* изменяется по родам, вернее, имеет одну форму для мужского и среднего рода, вторую форму — для женского рода. Поэтому в соответствии с действующими грамматическими нормами нужно говорить *оба*

студента, оба яблока, но *обе преподавательницы*. Это различие проходит в косвенных падежах, в их формах: *обоих студентов*, но *обеих преподавательниц, обоим студентам*, но *обеим преподавательницам, обоими студентами*, но *обеими преподавательницами, об обоих студентах*, но *об обеих преподавательницах*. Как будто немного и несложно, а не получается!

Имя числительное *полтора* также различает формы мужского, женского и среднего рода, правда, только в именительном и винительном падежах; мужской и средний род — *полтора*, женский род — *полторы*. Во всех косвенных падежах (кроме винительного, если он равен именительному) это слово, независимо от рода, получает форму *полутора*. Это все, конечно, известно или было известно по школьному учебнику. Нужно, очевидно, лишь вспомнить забытое, если в речи возникают ошибки. А один случай требует особого разговора. Это именительный (либо винительный) падеж числительного *полтора* в сочетании со словом *сутки*. *Пробыли в Москве (полтора? полторы? полутора?) сутки* или *суток?* Нужно, оказывается (такова норма), *по́лтора суток* — с ударением на первом «о».

Но может быть, действительно пришла пора отказаться от принятого грамматиками склонения количественных имен числительных? Отказаться, во-первых, не так просто: литературно грамотные люди этот отказ могут и не принять; а во-вторых, чем же заменить действующую норму в случае отказа от нее? Ведь никакой устойчивой замены нет, а те колебания падежных форм количественных имен числительных, которые дает разговорная речь, слишком беспорядочны и многолики, чтобы их можно было принять вместо отвергаемой нормы. Норма, не забудем об этом, обеспечивает единство литературного языка; отсутствие нормы расшатывает это единство.

§ 8. О местоимениях. Наблюдение за тем, как ведут себя местоимения в современной литературной речи, убеждает в слабости некоторых норм, их регулирующих.

Так, по нормам грамматики местоимение *они* указывает на многих лиц и не должно применяться для указания на одно лицо, даже очень авторитетное или влиятельное. Вежливость подменяется чинопочитанием, если в литературной речи вместо *Антон Иванович ушел на заседание*, его секретарь говорит посетителю: «Антон

Иванович ушли на заседание», а вместо *Он хорошо отдохнул* вам предлагают: «Они хорошо отдохнули».

Зато в других условиях то же самое местоимение третьего лица (*он, она, оно, они*) может стать показателем невежливого отношения людей друг к другу. По нормам языка и человеческого общения местоимение третьего лица в разговоре должно указывать на лицо или лиц, не присутствующих при разговоре. О главном технологе завода можно сказать *Он внес это предложение*, если сам главный технолог отсутствует. Если же он здесь, участвует в разговоре, хотя бы и молчаливо, и слышит разговор, его нужно называть по имени и отчеству, по фамилии со словом *товарищ*, наконец, по должности: *Вот наш главный технолог предлагает...* Что же произойдет, если на присутствующего при разговоре главного технолога мы укажем местоимением *он?* Просто мы будем невежливы по отношению к этому человеку, и только.

Личные местоимения *ты* и *вы* также связаны с выражением человеческих отношений. Вспомним одно из самых изумительных стихотворений А. С. Пушкина «Ты и вы»:

Пустое **вы** сердечным **ты**
Она обмолвясь заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: «Как **вы** милы!»
И мыслю: «Как **тебя** люблю!»

«Ты» сближает людей, «Вы» их отдаляет друг от друга, держит на почтительном расстоянии. В то же время «ты» может стать выразителем бестактности и грубости, а «Вы» — внимания и вежливости. Немотивированный обстоятельствами и условиями переход от обращения на *Вы* к обращению на *ты*, как и наоборот, нежелателен: *ты* после *Вы* может быть воспринято как нетактичность, а *Вы* после *ты* — как выражение холодности и отчужденности.

Тонкими смысловыми различиями разделены значения неопределенных местоимений, образованных при помощи суффиксальных частиц *-то, -либо, -нибудь, кое-*. Есть различие значений, выражаемых как будто почти

тождественными по смыслу местоимениями *кто-то* и *кое-кто, что-либо* и *кое-что, что-либо* и *что-нибудь, какой-то* и *какой-нибудь, какой-либо* и *кое-какой* и т. д. Это различие значений, если его не принять во внимание, не «почувствовать» в процессе речи, может вызвать и вызывает ошибки, неправильности: *На уборку картофеля кто-либо уже уехал* (вместо правильного *кто-то уже уехал*); *Тебя спрашивает какой-либо человек* (вместо правильного: *какой-то человек*): *Какие-то книги я для тебя нашел* (вместо правильного: *кое-какие книги*) и т. д.

Попытаемся обдумать и словесно описать различие значений интересующих нас местоимений. *Кто-то* — это тот, кто неизвестен автору речи. *Кто-нибудь* — это любой, безразлично кто для автора речи. *Кто-либо* — это синоним местоимения *кто-нибудь*, но имеет более книжный оттенок. *Кое-кто* — это тот, кто известен автору речи, но не назван и потому неизвестен слушателям или читателям. *Какой-то* — неизвестно автору, какой. *Какой-нибудь* — любой, безразлично какой. *Какой-либо* — синоним местоимения какой-нибудь, но с книжным оттенком. *Кое-какой* — известный автору речи, но не известный слушателям или читателям.

Для общего смысла высказывания бывает совсем не безразлично, какое именно местоимение будет введено в речь — из ряда похожих и вместе с тем различных. Едва ли можно говорить так: *Дайте мне чего-то поесть; Я получил по почте какие-нибудь книги; Кто-либо за океаном мечтает о новой войне; Я получил на экзамене какую-нибудь оценку; Кое-какие здания вы видите на этой улице.* Местоименная форма *чего-то* указывает на неизвестный предмет, по общему смыслу первого высказывания нужно было дать местоимение *чего-нибудь*, говорящее о безразличии автора к тому выбору, который будет сделан собеседником.

Местоименная форма *какие-нибудь* указывает на безразличие автора (ему все равно, какие), между тем общий смысл высказывания требует использования местоимения *какие-то*, т. е. неизвестно какие. Поэтому нужно было сказать: *Дайте мне чего-нибудь поесть* и *Я получил по почте какие-то книги.* А вместо *Кто-либо за океаном* нужно *Кое-кто за океаном...*

Местоимения третьего лица, а также слово *который* могут быть неверно поставлены в речи по отношению к

предшествующим именам существительным. Эти местоимения обычно применяются в таких высказываниях, где уже были использованы имена существительные; местоимение же нужно для того, чтобы указать на существительное и его значение. Вот один из кусочков известного рассказа А. П. Чехова: *Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина... бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю.* В первом предложении имя существительное *собака.* Во втором, в самом начале, местоимение *за ней* (читатель сразу догадывается: *за собакой*). Во втором же предложении существительное *человек.* В третьем — местоимение *он* (читатель понимает: *он — это человек*). И т. д.

Может случиться так, что указательное местоимение или местоимение *который* по смыслу будут тяготеть не к ближайшему имени существительному. Возникнет нарушение нормы, которая требует ближайшего соседства местоимения и имени существительного. Это нарушение нормы скажется в затрудненности понимания смысла, а иногда и в обессмысливании текста. Так, в сочинении абитуриента написано: «В романе изображена женщина, увлеченная работой, она нужна моим товарищам». Кто нужен, что нужно? Женщина или работа? Еще один пример из того же источника: «Главный герой повести уезжает в далекий город, который остается там работать». Автор этого высказывания, привязывая придаточное предложение к главному, думал о герое повести, а местоимением *который* отнес весь смысл придаточного предложения не к герою повести, а к городу. Возникло резкое несоответствие между содержанием и грамматической формой. Но тут мы вторгаемся в нормы синтаксиса.

Еще одно замечание о местоимениях. В их кругу есть и слово *сколько.* Это слово интересно своим употреблением в вопросах о времени. Язык позволяет эти вопросы построить по-разному: *Который час? В котором часу? До которого часа? До какого времени? Как поздно? Как рано? Во сколько времени? Сколько времени?* Однако встречающаяся в разговоре вопросительная форма *Со скольки́?* или *До скольки́?* никакого литературного оправдания не имеет. Ее защитники ссылаются обычно

на «экономию сил». Аргумент сомнительный и беспомощный.

§ 9. О глаголах. Одной из самых сильных грамматических категорий современного русского глагола единодушно признается всеми специалистами категория вида. Несовершенный и совершенный виды отличаются друг от друга и формально, и семантически. Формальные различия связаны с использованием суффиксов и приставок — прежде всего, а также ударений и чередования звуков в корне. Семантические различия состоят в том, что глаголы несовершенного вида, обозначая тот или иной процесс, несут информацию о том, что границы, пределы этого процесса «не видны» сознанию; глаголы совершенного вида, обозначая процесс (действие или состояние), несут информацию о границах, пределах этого процесса — либо завершающем (*прочитать, наготовить*), либо начальном (*забегать, запеть*), либо одновременно о том и о другом (*стукнуть, кольнуть*).

Нашему языку присущ и своеобразный способ формального различения видов: несовершенный вид может иметь в корне звук [а], совершенный вид в том же корне звук [о]. Возьмем глагол *утроить*. Чтобы образовать парный глагол несовершенного вида, нужно заменить корневой согласный звук, а также и суффикс; получим: *утраивать*. Подобным же образом, при участии мены гласных в корне, образуются глагольные пары: *отбросить — отбрасывать, выломить — выламывать, выловить — вылавливать, выкормить — выкармливать, выпросить — выпрашивать, облагородить — облагораживать, разровнять — разравнивать, раскроить — раскраивать, одолжить — одалживать*. Ради точности надо обратить внимание на то, что чередование *о — а* — буквенное; звуковое же чередование несколько иное: [ъ] — [а] или [а] безударное — [а] ударное, или, наконец, [а] — [о].

По сведениям авторов Академической грамматики-54, в нескольких глаголах не возникает ожидаемого чередования [о] — [а]: *обеспокоить — обеспокоивать, обусловить — обусловливать, озаботить — озабочивать, опозорить — опозоривать, опошлить — опошливать, подытожить — подытоживать, приохотить — приохочивать, разрознить — разрознивать, сморщить — сморщивать, узаконить — узаконивать, уполномочить — уполномочивать, упрочить — упрочивать, ускорить — ускоривать;* к ним нужно причислить *обезболить — обезболивать, отсро-*

чить — отсрочивать, опорочить — опорочивать, приурочить — приурочивать.

Получается, что в аналогичных грамматических условиях действуют две нормы. Одна, более влиятельная, требует чередования корневых гласных звуков, замены звука [о] звуком [а] или замены редуцированного звуком [а]. Вторая, менее влиятельная, требует сохранять при образовании парных по виду глаголов корневой гласный звук. В результате — не только различие в образовании и звучании парных по виду глаголов, но и появление в языке уже не раз встречавшегося нам колебания норм. В литературном русском языке теперь допустимо и *оспоривать* и *оспаривать, присвоивать* и *присваивать, удостоивать* и *удостаивать, успокоивать* и *успокаивать, усвоивать* и *усваивать, обусловливать* и *обуславливать* (в разговорной речи).

По отношению к таким колеблющимся формам можно рекомендовать, в случаях сомнений, выбор корневого звука [а]: чередование [о] — [а], по-видимому, поддерживается современной речью, и нет никаких фактов, которые говорили бы о том, что формы с корневым звуком [а] уступят своим конкурентам,— во всех случаях колебания нормы. А это означает, что если мы в нерешительности и не знаем, как же образовать парный глагол несовершенного вида к глаголам *заработать, оспорить, присвоить, успокоить, удостоить* и подобным, нужно выбрать вариант с корневым звуком [а]: *зарабатывать, оспаривать, присваивать, успокаивать, удостаивать.* Но: *отсрóчивать, просрóчивать!*

§ 10. Есть слабые участки и в системе норм, регулирующих образование причастий.

Действительные причастия, как мы помним, образуются с участием суффиксов *-ущ-* (*-ющ-*) и *-ащ-* (*-ящ-*) в настоящем времени и суффиксов *-вш-* и *-ш-* в прошедшем. Но эти формы книжные, в разговорной речи малоактивные. Вероятно, именно поэтому в речи людей, не очень искушенных в тонкостях родного языка, возникает довольно распространенная ошибка: отбрасывается в таком причастии возвратный аффикс *-ся*, получаются «выдающие товарищи» вместо *выдающиеся*, «встречающие на пути трудности» вместо *встречающиеся* и т. д.

Чтобы понять суть только что показанной ошибки, надо обратить внимание на разницу значений невозвратного причастия и парного ему возвратного: чем от-

личается по значению *кусающий* от *кусающегося, лечащий* от *лечащегося, убирающий* от *убирающегося, причесывающий* от *причесывающегося?* Очевидно, первый (т. е. *кусающий, лечащий, убирающий, причесывающий*) осуществляет действие, направленное на кого-то или что-то: *кусающий людей, лечащий детей, убирающий комнату, причесывающий волосы*; второй же (т. е. *кусающийся, лечащийся, убирающийся, причесывающийся*) не осуществляет действия, направленного на кого-то или что-то, и потому причастие не соединяется с дополнением в винительном падеже (как это было в первом случае): *ребенок, лечащийся в больнице; хозяйка, убирающаяся по утрам; девушка, причесывающаяся перед зеркалом.* Даже такие причастия, как *кусающийся*, обозначают не того, кто кусает кого-то, а того, кто может, способен укусить. Возвратные причастия в отличие от невозвратных сосредоточивают действие в самом деятеле. Вот почему есть очень большая разница между *выдающими товарищами* (они что-то выдают кому-то) и *выдающимися товарищами* (они выдаются, выделяются среди других какими-то своими свойствами, особенностями).

Таким образом, распространенная в разговорной речи ошибка (употребление невозвратной формы причастия вместо возвратной) возникает потому, что мы плохо усваиваем разницу в значениях между *учащий* и *учащийся, признающий* и *признающийся, выдающий* и *выдающийся.* Норма языка вполне строгая и точная, усвоение же этой нормы слабое и расшатанное — из-за малой активности причастий в речи и плохого усвоения сведений, которые дает школьный учебник русского языка.

§ 11. О нормах синтаксиса и их нарушении. Вспомним еще раз запись чиновника Ярмонкина в станционной жалобной книге: «Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа». Конечно, Чехов совершенно не случайно приписал это нелепое высказывание недалекому по уровню развития провинциальному чиновнику. Именно недостаточность общей и языковой культуры, неумение обдумывать и оценивать сказанное — вот одна из главных причин искажения одной из синтаксических языковых норм.

А эта норма требует, чтобы действие, обозначенное главным в высказывании глаголом (обычно глаголом-

сказуемым), и действие, обозначенное деепричастием, зависящим от этого главного глагола,— чтобы оба эти действия приписывались одному и тому же лицу или предмету. В высказывании Ярмонкина главный глагол *слетела* обозначает «действие» шляпы, деепричастие *подъезжая* обозначает действие самого Ярмонкина, но его скудная, нетренированная мысль и речь не замечают искажения языковой нормы.

Ярмонкины ушли в прошлое вместе с чиновничеством царской России, их, чиновников, нравами, бытом, привычками и уровнем развития. Но по образцу высказывания Ярмонкина мы продолжаем создавать все новые высказывания, не утруждая себя изучением языка и обдумыванием того, что у нас получается в речи. Один из радиожурналистов областного вещания говорит (и пишет!): «Окончив учебный год, им выпала большая честь осваивать новое производство». Другой автор в местной газете пишет: «Увеличивая каждый раз точность отделки, поверхность детали становилась ровнее». Из устного выступления на собрании: «Ликвидируя простои станков, план выполнялся ровно, без штурмовщины». Из устного отзыва о кинокартине: «Просмотрев фильм, меня, как живые, окружили его герои». Таких речевых фактов множество. А разве нельзя их число поуменьшить? Требуется лишь большее внимание к этой норме в школе, более тщательное редактирование газетных текстов и текстов, идущих на радио, более требовательное авторское отношение к тому, что говоришь, и к тому, как говоришь.

§ 12. Нормы согласования и управления нас часто подводят, а вернее — мы их часто искажаем, несмотря на их кажущуюся доступность. Разве кого-нибудь из говорящих по-русски затруднит задача согласовать глагол *зеленеть* или прилагательное *зеленый* с именем существительным *клен*? Эта задача осуществляется в речи почти автоматически: *клен зеленеет, клен зеленый.*

Но вполне грамотного человека может поставить в тупик необходимость согласовать глагол *выступить* со словосочетанием *часть учеников.*

Нужно ли сказать (разумеется, и написать) *Ряд товарищей выступил на собрании* или же — *Ряд товарищей выступили на собрании*? Как правильно — *Часть учеников не справилась с заданием* или *Часть учеников не справились с заданием?*

В нашем повседневном речевом общении мы встречаем и тот и другой варианты. Но один из них правилен, другой — ошибочен, а если сказать мягче — нежелателен. Говорить мягче приходится потому, что пресса, радио, деловая документация допускают согласование во множественном числе в случаях типа *ряд товарищей выступили, часть колхозников выехали, множество пионеров отдохнули, большинство рабочих выполнили.*

Однако наука о языке может и не делать эту уступку речевой практике. Общая закономерность такова: согласование — это морфологическое уподобление формы зависимого слова форме слова господствующего, особо подчеркнем — морфологического, а не смыслового, логического. Вот почему правильно *Молодежь поёт* и неправильно *Молодежь поют* (хотя молодежь — это много молодых людей), правильно *Американский народ тоже хочет мира* и неправильно *Американский народ тоже хотят мира* (такое согласование хочется дать, потому что народ — это много, очень много людей).

В случаях согласования со словосочетаниями *ряд товарищей, часть учащихся, множество людей, масса народу, стая птиц, большинство рабочих, колонна автомашин, поток демонстрантов* и под.— надо предпочесть согласование формальное, т. е. уподобление зависимого слова господствующему имени существительному в словосочетании: *Ряд товарищей выступил на собрании* (потому что господствующее слово — *ряд*), *Множество людей ушло с митинга* (потому что господствующее слово — *множество*), *Стая птиц пролетела на юг* (потому что господствующее слово — *стая*), *Большинство рабочих согласилось* (потому что господствующее слово — *большинство*), *Колонна автомашин вышла из города* (потому что господствующее слово — *колонна*).

Эта общая закономерность распространяет свое действие и на такие предложения, в которых подлежащее выражено сочетанием количественного существительного (*тройка, десяток, дюжина, сотня, тысяча*) с существительным предметного значения: *Тройка лошадей стояла у ворот, Десяток яиц лежит в корзине, Дюжина пуговиц только что куплена, Сотня солдат вошла в поселок, Тысяча книг расставлена на полках* и т. д. Если же господствующее словосочетание построено из слов *много, мало, сколько, несколько, немного* и родительного падежа имени существительного, то согласование

дается в единственном числе, а в прошедшем времени — и в среднем роде: *Много студентов оканчивает (окончило) наш университет, Несколько детей выходит (вышло) на улицу, Немного бумаги лежит на столе.*

Несколько иначе поступает норма со словосочетаниями, в которые входят слова *около, менее, более, свыше* и родительный падеж имени числительного (а при числительном еще родительный падеж существительного во множественном числе): *более пяти человек, свыше двадцати автомашин, менее ста учащихся, около одиннадцати деревьев* и т. д. Как нужно согласовать глагол-сказуемое с такими словосочетаниями в роли подлежащего? Норма колеблется: *Более пяти человек придет* (и — *придут*) *на работу, Менее ста учащихся занимается* (и — *занимаются*) *в кружках, Свыше двадцати автомашин стоит (стоят) в ожидании погрузки, Около одиннадцати деревьев растет (растут) на поляне* и т. д. В прошедшем времени соответственно — *пришло* и *пришли, занималось* и *занимались, стояло* и *стояли, росло* и *росли.*

В этом случае колебание нормы закономерно — оно поддерживается структурными особенностями словосочетаний в роли подлежащего.

В этих словосочетаниях есть грамматический признак, допускающий единственное число, и грамматический признак, допускающий множественное число. В роли первого оказывается отсутствие в словосочетании именительного падежа (с косвенными падежами глагол согласоваться не может), а в роли второго множественное число существительного и количественное числительное. Вот и получается: один признак разрешает автору речи применить глагол в единственном числе, второй признак разрешает применить тот же глагол во множественном числе.

От описанных случаев будем отличать совершенно иные. Так, в позиции подлежащего может стоять словосочетание, состоящее из именительного падежа и творительного с предлогом; причем оба существительных обозначают лиц, действующих совместно: *Иван с Сергеем, мама с Таней, Полкан с Барбосом* и т. д. Эти сочетания существительных синонимичны сочинительным сочетаниям *Иван и Сергей, мама и Таня, Полкан и Барбос.* Но глагол-сказуемое при нескольких однородных подлежащих применяется во множественном

числе. Во множественном числе используется и глагол-сказуемое при подлежащем, выраженном словосочетаниями *Отец с сыном, мама с Таней* и под. Поэтому правильно и единственно возможно только: *Отец с сыном вышли на прогулку; Полкан с Барбосом, на солнце лежа, грелись* и т. д. Правда, если словосочетание «именительный плюс творительный с предлогом *с*» не обозначает двух лиц, действующих совместно, и действующим оказывается только одно лицо, а второе пассивный сопроводитель первого,— в этом случае глагол-сказуемое ставится в форме единственного числа: *Таня с куклой гуляет в саду, Мама с ребенком катит детскую коляску*, а также: *Кошка с мышью играет на поляне* и т. д.

Если в словосочетании «именительный плюс творительный с предлогом *с*» семантика такова, что позволяет автору речи и тому, кто ее воспринимает, осознавать активно действующим только одно лицо (обозначенное именительным падежом), а второе осознается как пассивный сопроводитель первого, то, даже при полном возрастном и ином равенстве двух лиц, глагол-сказуемое будет согласовано в единственном числе; в этом случае имя в творительном падеже получает логическое ударение: *Мама с бабушкой вышла сегодня на прогулку; Инженер с мастером осматривает новую технологическую линию* и т. д.

Заслуживает внимания норма согласования глагола или прилагательного в позиции сказуемого с именем собственным или личным местоимением в позиции подлежащего. Норма литературного языка (в равной мере и норма общения) не позволяет при имени собственном применять форму имени прилагательного или глагола во множественном числе. Нельзя, недопустимо говорить и писать: «Иван Иванович приехали», «Павел Петрович уже идут», «Марья Степановна умны и приветливы» и под. Можно и нужно только так: *Иван Иванович приехал, Павел Петрович уже идет, Марья Степановна умна и приветлива.* Эта норма внутренне связана с той, о которой мы вспоминали при обзоре норм морфологических и которая запрещает одно лицо обозначать местоимением *они.* Что же касается местоимения вежливости *Вы*, то согласование с ним глаголов и кратких прилагательных обычно: *Вы устали, Вы утомлены, Вы добры и отзывчивы.* Но если сказуемое при

подлежащем — личном местоимении *Вы* выражено именем существительным, полным прилагательным, полным причастием, порядковым числительным, согласование дается в единственном числе: *Вы очень добрый порядочный человек, отчего же Вы не хотите понять меня*, а отсюда — *Вы очень добрый и порядочный, отчего же Вы не хотите понять меня? Вы уже давно признанный писатель, а поступаете, как ребенок.* Видимо, и слово *один*, если оно оказывается в позиции сказуемого, не нужно давать в форме множественного числа: *Вы опять один?* (Соотв.— *одна?*). Но: *Вы тогда были одни?*

§ 13. При словах общего рода — таких, как *неряха, плакса, умница, егоза,*— согласованные с ними слова получают родовой показатель в зависимости от семантики, от реального значения имени существительного. Иными словами: если имя существительное обозначает лиц мужского пола, согласуемое с этим именем слово получает мужской род; если же имя существительное обозначает лиц женского пола, согласуемое с этим именем слово получает женский род: *наш маленький плакса* (о мальчике) и *наша маленькая плакса* (о девочке); *Вот и приехал твой умница!* (о мальчике, мужчине); *Вот и приехала твоя умница!* (о девочке, женщине).

В речи бывает, что имя существительное мужского рода используется для обозначения женских профессий, о чем обычно нас информирует собственное имя: *новый директор Нина Степановна Куприянова*; *известный ботаник Софья Перова, наш общий знакомый инженер Черепанова* и т. д. Как видно из примеров, согласование в таких словосочетаниях формальное и реальное значение имени существительного при согласовании не учитывается.

Согласованием могут быть связаны не только имена прилагательные с именами существительными или глаголы с личными местоимениями. В современном русском литературном языке могут согласоваться имя существительное с другим именем существительным. Это, в частности, происходит со словами *товарищ, профессор* и подобными, добавляемыми в общении к имени собственному. Так вот, если имя собственное может стоять в нашей речи в любом из шести падежей, то и слова *товарищ, профессор* меняют свою падежную фор-

му, приспосабливая ее к падежной форме основного имени существительного (обычно к форме имени собственного, но бывает — и нарицательного). Поэтому: *товарищ Иванов, Иванова, товарища Иванова, Ивановой, товарищу Иванову, Ивановой, товарища Иванова, Иванову, товарищем Ивановым, Ивановой, о товарище Иванове, Ивановой.* Как видим, язык наш предписывает согласовывать слово *товарищ* в падеже не только с именами мужчин, но и с именами (фамилиями) женщин. Между тем разговорная речь буквально пестрит ошибками, вызываемыми неосведомленностью говорящих о том, как надо сказать: *Слово предоставляется товарищу Емельяновой* или *Слово предоставляется товарищ Емельяновой.* И нередко выбирается второй, неверный вариант. И мелькают в нашей речи (в особенности на собраниях и заседаниях): «Мы знакомы с товарищ Ермолаевой давно и знаем, что товарищ Ермолаевой присуще высокое чувство ответственности за порученное дело»; «О товарище Елене Павловне, вашей учительнице, можно сказать много хорошего; товарищ Елену Павловну мы знаем все давно и хорошо».

Так называемые причастные обороты (причастие вместе с зависящими от него словами) занимают известное место в речи письменной и малоактивны в речи устно-разговорной. И именно потому, что они малоактивны, у нас не вырабатывается прочных навыков их применения. Отсюда нарушения нормы. Этих нарушений можно избежать, если знать описание нормы и строго контролировать построение речи. Но ни того, ни другого нередко у автора речи не оказывается. В результате требуемое нормой согласование причастия с именем существительным, при котором это причастие стоит в качестве определения, нарушается, и слушатель с недоумением узнает, что «Братья пошли к друзьям, пригласившие зайти к ним» (нужно: *Пошли к друзьям, пригласившим зайти к ним*); «Нас восхищает подвиг героя, уничтоживший в одиночку почти взвод врага» (надо: *Подвиг героя, уничтожившего*), «Пионеры послали письмо М. А. Шолохову, живущий в станице Вешенской» (надо: *Шолохову, живущему*). Эти и подобные отступления от требований нормы совершенно недопустимы в литературной речи.

§ 14. Попытаемся взглянуть на слабые участки норм управления. Управлением, как мы помним, можно на-

звать такую разновидность подчинительной связи слов, при которой зависимое слово выбирает тот или иной падеж по «требованию» грамматически ведущего слова или в соответствии с общим смыслом высказывания. Возможности управления ограничены и свойствами господствующего слова, и возможностями слова зависимого. Нельзя, например, при глаголе возвратном поставить подчиненный этому глаголу винительный падеж имени существительного: возвратный глагол не может, не способен к такой связи. Вместе с тем трудно представить имя существительное с абстрактным значением (*отчетность*, *доказательство*, *вывод*, *теорема*, *отвлечение*) в дательном или предложном падеже со значением места: мы не говорим «шли по теореме» или «находились в выводе». В процессе применения имена существительные меняют свои падежные формы (без предлогов или с их участием) не по нашему произволу, а по разрешению языковой структуры и требованию нормы.

И вот оказывается, что нормы управления не все одинаково прочны — некоторые подвергаются искажениям довольно легко и часто. Вот несколько примеров:

а) «Об этом указала газета «Правда» еще в 1970 году». Но ведь нельзя говорить — «указала об этом», нужно и можно — *указала* ***на*** *это*;

б) «Читатель просит объяснить о роли литературы». Норма не разрешает так говорить: объяснить можно что-то, а не о чем-то;

в) «Награждение большого числа ударников было свидетельством о том, что качество работы на заводе улучшилось». Сочетание «свидетельство о том» нормой литературного языка исключается, можно и нужно — *свидетельство* ***того***, ***что...***

г) «Большое внимание он уделил на тесную связь между качеством работы и дисциплинированностью». Нельзя говорить — «внимание уделил на что-то», нужно — *внимание уделил* ***кому-то*** или ***чему-то***;

д) «Лектор подробно остановился о разных сторонах проблемы». Остановиться можно на чем-то, а не о чем-то. К тому же, не лучше ли вместо «лектор остановился на» сказать *лектор говорил о*?;

е) «Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный подход к предмету обедняет результаты исследования». Нельзя «подчеркивалось о том», можно и нужно — *подчеркивалось* ***то***;

ж) «Нерадивое отношение к сырью повлекло к огромным затратам незапланированных средств». Норма не разрешает — «повлекло к затратам», норма требует — *повлекло затраты*;

з) «Докладчик неоднократно отмечал о том, что успеваемость стала лучше». Нельзя — «отмечал о том», можно — *отмечал то.*

Если внимательно обдумать причины и условия, поддерживающие показанные только что распространенные речевые ошибки, можно увидеть, что каждая из ошибок как-то подсказана свойствами самих средств языка и их незнанием. Так, в случаях «объяснить о роли», «остановился о сторонах», «подчеркивалось о том», «отмечал о том» ошибка возникает потому, что автор речи заменяет глаголами *объяснить*, *остановиться*, *отмечать* нужный и ясный глагол *говорить*, но этот глагол как бы остается в сознании автора речи и именно с ним, с его семантикой связывается зависимое слово; но произносится совсем другой глагол, а он требует и другого падежа. *Говорить о роли* (это в сознании!) превращается в «объяснить о роли»; *говорил о сторонах* трансформируется из-за нерадивости автора в «остановился о сторонах»; *говорилось о том* становится сочетанием «подчеркивалось о том»; *говорил о том*, превращается в «отмечал о том». Зачем же все это? Не есть ли это одно из проявлений того коверканья русского языка, объявить войну которому призывал Ленин?!

Дает о себе знать и так называемая ложная аналогия. Например, слово *указание* допускает применение с предложным падежом имени существительного: *дано указание о чем-то.* По аналогии говорящий строит подчинительную связь — «указывали о чем-то». «Указания директора о подготовке транспорта» переделывается в «Директор указал о подготовке транспорта». Неверное соединение слов «отметил (отмечает) о том» поддерживается ложной аналогией с сочетанием слов *отметка о том.* И т. д.

Любопытна речевая глухота людей, которые, не смущаясь, говорят «указывал о том, отмечал о достижениях, останавливался о недостатках, объяснял о полетах» и т. д. Пока слова сохраняют в речи свое предметное, вещное, привычное значение, они нам более доступны, мы знаем, как их использовать, как связы-

вать друг с другом. Вот почему в нашей речи *регулировщики указывают путь*, *редакторы отмечают ошибки*, *поезда останавливаются на станциях*, *учителя объясняют задачи*. Но как только вещная конкретность слова исчезает и человек начинает применять это слово в неопределенно-отвлеченном смысле, заменяя какие-то другие, вполне конкретные, но почему-то не произнесенные и не написанные слова (в нашем случае слово *говорить*) — как только это случается, человек начинает разрушать норму и вместо сочетания *отмечал достижения* произносит сочетание слов «отмечал о достижениях».

К сожалению, искажение авторами устной и письменной речи норм управления — не редкость. Вот еще несколько примеров.

«В повести описывается о жизни деревни» — не задумываясь, сообщает начинающий учитель-словесник. Знакомая картина! Тот же самый закон ложной аналогии, то же невнимание к жизни, смысловому наполнению, грамматическим свойствам слова. В языке есть глагол *рассказывать* и глагол *описывать*. Первый допускает после себя винительный и предложный падежи (*рассказывать сказки* и *рассказывать о жизни*); второй же — только винительный (*описывать жизнь деревни*). В соответствии с этими возможностями глаголов и их возвратные корреляты (*рассказывается*, *описывается*) ведут себя в речи по-разному: можно *рассказывается о чем-то* и *рассказывается что-то* (*сказка рассказывается*), но нельзя «описывается о чем-то», можно только *описывается что-то* (*В книге описываются события 1812 года*).

Глагол *подчеркивать* требует винительного и творительного падежей (*Подчеркивать карандашом отдельные слова в конспекте*). Никто, кажется, не говорит «подчеркивать на карандашах». Но почему же появляется в речи малограмотное сочетание слов «Докладчик подчеркивал эту мысль на таких фактах»? Почему говорят — «Участники обсуждения подчеркивали свои предложения на примерах»?

Глагол *относиться* требует дательного падежа с предлогом *к* (*Отец хорошо относится к детям*). Наше речевое поведение рождает тем не менее высказывание «Дирекция хорошо относилась на запросы рабочих». Уделять внимание можно кому-либо или чему-либо.

Однако в речи мы слышим: «В нашей организации слабое внимание уделяется на самодеятельность профактива».

Вместо правильного сочетания слов *приехал из Москвы* в речи можно встретить «приехал с Москвы», вместо *по истечении десяти дней* — «по истечению десяти дней», вместо *благодаря труду, согласно расписанию* — «благодаря труда», «согласно расписания», вместо *этап на пути развития* — «этап по пути развития», вместо *относиться к домашним* — «относиться с домашними»...

§ 15. Обывательское суждение «ведь и так понятно» нужно решительно отклонить, потому что речь идет о единстве языка, о его действенности как социального и национального орудия.

Грамматические нормы не безразличны к осуществлению языком коммуникативных задач. Эти нормы могут помогать взаимопониманию, если они соблюдаются, могут и мешать взаимопониманию, если они нарушаются, искажаются или применяются нецелесообразно. Как бы вы, читатель, восприняли такое высказывание: «В языкознании не возникало необходимости организации дела изучения скопления падежей»? Вероятно, вы не поверили бы, что это все всерьез, сочли бы высказывание шуткой автора. Уж очень это высказывание тяжеловесно, трудно для понимания, уж очень не «по-русски» оно построено!

А между тем эта полушутка очень похожа на полную правду. В деловой и газетно-публицистической речи встречаются цепи одинаковых падежей, состоящие из четырех-пяти, а то и большего числа звеньев. Такие падежные цепи превращаются в оковы, сжимающие мысль читателя или слушателя (можно думать, и самого автора).

Нормы грамматики при этом не нарушаются: *Не возникает* (чего?) *необходимости* (чего?) *организации* (чего?) *дела* (чего?) *изучения* (чего?) *вопросов* (чего?) *перемещения* (чего?) *грузов*. Семь родительных падежей к ряду! И все связи между словами грамматически правильны. Но ведь грамматика нужна нам не для того, чтобы разрушать общепонятность и доступность выражаемой мысли. И если «скопление» падежей начинает мешать общению, если сами падежи, нанизываясь друг на друга по нормам грамматики, начинают

мешать друг другу, можно говорить о нарушении не только рекомендаций целесообразности, но и требований нормы — такой нормы, которая регулирует организацию развернутых словосочетаний.

Осуществим один несложный эксперимент:

1. Увеличение производства. 2. Увеличение производства товаров. 3. Увеличение производства товаров ширпотреба (есть такое словечко у наших хозяйственников и работников торговли!). 4. Меры увеличения производства товаров ширпотреба. 5. Подготовка мер увеличения производства товаров ширпотреба. 6. Ход подготовки мер увеличения производства товаров ширпотреба. 7. Ускорение хода подготовки мер увеличения производства товаров ширпотреба. 8. Дело ускорения хода подготовки мер увеличения производства товаров ширпотреба. 9. Обсуждение дела ускорения хода подготовки мер увеличения товаров ширпотреба.

Вот уж, действительно, чем дальше в лес, тем больше дров! Попытаемся задуматься, о чем говорит наш эксперимент как некоторая модель речевого поведения отдельных людей.

Во-первых, он показывает, наглядно убеждает, как по мере увеличения числа родительных падежей падают определенность и точность восприятия.

Во-вторых, наш эксперимент показывает, как легко, в сущности, нанизывать один падеж на другой и как бывает порой нелегко остановиться и найти синонимическую замену агрессивной падежной цепочке.

В-третьих, эксперимент позволяет заметить особо опасную роль в обессмысливании высказываний, которую играют некоторые слова, среди них — *ход* и *дело*. Разве недостаточно само по себе слово *подготовка*? Нет, оказывается, кое-кто думает, что недостаточно. И появляется — «ход подготовки». Вместо заседания появляется «ход заседания», вместо *прения* — «ход прений», вместо *заготовки* — «ход заготовок», вместо *обучение* — «ход обучения» и т. д. И пошла писать губерния! А ведь каждое из слов, с которыми наша речевая небрежность связывает словечко *ход*, само по себе достаточно для выражения смысла: *движение*, *развитие*, *течение*, *ход!* Заседание обязательно имеет «ход», прения обязательно «идут», заготовки — это процесс, обучение — тоже. Так зачем же нужно словечко *ход*? А низачем! Оно пустое и заражает своей пустотой соседние слова.

Вот и словечко *дело*. Само по себе, на своем месте, оно не хуже и не лучше других слов. *Дело не налажи-*

валось, *У тебя много дела* — все на месте. Но разве «дело подготовки кадров» лучше, чем *подготовка кадров*? А «дело развития художественной литературы» разве лучше *развития художественной литературы*? Кроме разжижения смысла, это слово (как и слово *ход*) помогает развитию цепной реакции родительных падежей. Так не лучше ли его применять поосмотрительнее?

§ 16. Мы помним, что одна и та же падежная форма может иметь несколько падежных значений; например, родительный падеж может иметь значение части целого, принадлежности, объекта действия, субъекта действия, определительное и др. Конструкция предложения должна обеспечивать однозначность понимания той или иной падежной формы. Это не всегда получается у говорящих и пишущих: *Чтение Виля Липатова продолжалось за полночь* (Виль Липатов читал или его произведения читал кто-то?), *Встреча друга всех нас обрадовала* (Друг встречал или друга встречали?), *Инспектор Девяткин послан на завод директором* (Инспектора послал директор или инспектора назначили директором?), *Мы передадим письмо редакции* (Письмо направлено в редакцию или вышло из редакции?).

После окончания школы каждый ее выпускник должен знать, что словечко *это* может применяться в роли связки, присоединяющей именное сказуемое к подлежащему: *Юность — это самая хорошая пора в жизни человека.*

Но вот что предлагает нам разговорная речь людей: «Правильное ведение журнала — это обеспечивает успех дела»,— говорит новичок-учитель; «Хорошее знание машины — это сказывается на работе»,— говорит бригадир механизаторов; «Уборка, проведенная вовре́мя,— это обеспечивает сохранение урожая». Во всех трех высказываниях нарушена норма и допущена одна и та же ошибка: к подлежащему с помощью связки *это* присоединяется глагольное сказуемое; но связка *это* не может присоединять к подлежащему глагольное сказуемое, выраженное спрягаемой формой глагола. Что мы потеряем, если уберем связку? *Хорошее знание машины сказывается на работе*; *Уборка, проведенная вовремя, обеспечивает сохранение урожая*; *Правильное ведение журнала обеспечивает успех дела.* Что-нибудь потерялось? Ничего подобного! Автор речи не потерял, а приоб-

рел — бо́льшую точность и краткость, энергичность выражения смысла высказываний.

Бывает, что со словечком *это* приключаются и более любопытные истории: оно почему-то начинает присоединять не сказуемое только (к подлежащему), но целое придаточное предложение. К тому же словечко *это* вступает в незаконный союз со словами *который*, *когда*, *где*. «Справедливые войны — это которые ведутся за освобождение родины», «Институт — это где учатся студенты». Нормы синтаксиса не разрешают впереди союзных слов *который, когда, где* ставить слово-связку *это*. Если это происходит (как в наших примерах), предложение утрачивает правильность соединения главной и придаточной части. Наши примеры должны быть перестроены, чтобы восстановить норму. Это можно сделать по-разному: а) *Справедливыми называются такие войны, которые ведутся за освобождение родины*; *Институт — это учебное заведение, где учатся студенты*; б) *Справедливые войны ведутся за освобождение Родины*; *В институте учатся студенты*. Конечно, есть некоторое смысловое различие между вариантами а) и б), но и то, и другое лучше исправляемых высказываний.

Во многих местностях Севера и северо-востока европейской части СССР жители (под влиянием особенностей местных говоров) допускают досадную ошибку — употребляют связку *быть* в форме будущего времени (т. е. *будет*) в высказываниях о настоящем. Получается (с точки зрения правильного построения предложения) довольно нелепо: «Париж — это будет столица Франции», «Пушкин будет великий русский поэт», «Химия это будет наука о строении вещества». Ни в одном из этих высказываний связка *будет* не нужна, потому что ни одно из них не имеет смысловой обращенности в будущее.

И опять сугубо практический вопрос: разве нельзя избавить речь от таких «будет», которые искажают смысл высказываний.

Принято думать, что в современном русском литературном языке свободный порядок слов и слова можно размещать друг подле друга как захочется. Это и верно, и неверно. Верно потому, что русский язык действительно позволяет автору речи в широких пределах менять словорасположение в структуре высказывания. И неверно — потому, что эти пределы все же есть и они

ограничены, очерчены. Например, нельзя переставить слово из одной синтаксической группы в другую — скажем, из группы подлежащего в группу сказуемого или наоборот. Так, в предложении *Небольшая, приземистая и сильная автомашина уверенно преодолевала подъемы и спуски* нельзя «вынуть» слово из одной синтаксической группы и переставить в середину другой. Нельзя, например, вынуть из группы сказуемого слово *уверенно* или слово *подъемы* и переместить в один из промежутков между словами в группе подлежащего: «Небольшая, приземистая уверенно и сильная автомашина преодолевала подъемы и спуски» или «Небольшая, приземистая и сильная, подъемы автомашина уверенно преодолевала и спуски». Понимание оказывается затрудненным или разрушенным.

В структуре высказывания применяется прямой и обратный порядок слов. Порядок слов далеко не безразличен для выражения и понимания вложенной в высказывание информации.

Если порядок слов и их размещение в предложении не соответствуют норме и целесообразности, высказывание становится двусмысленным или непонятным: «Учителя раздражало и тревожило отношение к урокам Лени Рыбакова» (нужно было поменять местами слова *урок* и *Леня Рыбаков*); «Галина отдыхала очень в хорошем доме отдыха» (нужно — *в очень хорошем*); «В университете Ломоносов боролся против чужеземцев, за развитие русской науки, ее разных направлений, которые всячески ему мешали» (нужно: *Ломоносов боролся за развитие русской науки, ее разных направлений — против чужеземцев, которые всячески ему мешали*).

Очевидно, что чем больше в высказывании (предложении) полнознаменательных слов, тем сложнее становится задача правильного и целесообразного их размещения, соблюдения наилучшего словопорядка.

Правильное и целесообразное размещение слов в высказывании — одно из условий незатрудненного взаимопонимания людей.

ГЛАВА 5

ТОЧНОСТЬ РЕЧИ

§ 1. Точность издавна осознается как одно из главных достоинств речи. Уже в античных руководствах по красноречию первым и основным требованием, предъявляемым к речи, было требование ясности. Содержание, которое вкладывалось древними теоретиками в это понятие, во многом сходно с современным понятием точности. Аристотель считал, что если речь неясна, она не достигает цели. «Достоинство слога — быть ясным и не низким» [*29*, 175]. С античности начинается осознание связи между способностью хорошо говорить, писать и умением правильно мыслить: ясным и точным может быть лишь изложение ясной (для автора) мысли. «Кто ясно мыслит, ясно излагает»,— гласит известный афоризм. Цицерон считал, что слова «...представляют как бы точные наименования понятий, почти одновременно с самими понятиями возникшие...», в словах «должен производиться определенный отбор» [*29*, 209].

Эту же связь языка и мышления как базу для создания точной речи видели позже и представители русской литературы. В. Г. Белинский писал: «Слово отражает мысль: непонятна мысль — непонятно и слово» [*76*, 143]. «...Что почувствует и поймет человек, то он выразит; слов недостает у людей только тогда, когда они выражают то, чего сами не понимают хорошенько. Человек ясно выражается, когда им владеет мысль, но еще яснее, когда он владеет мыслью» [*76*, 143]. О том же пишет Н. Г. Чернышевский: «Что неясно представляешь, то неясно и выскажешь; неточность и запутанность выражений свидетельствуют только о запутанности мыслей...» [*78*, 343]. По глубокому убеждению А. С. Пушкина, и язык науки, и язык художественной литературы должны быть прежде всего точными. «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она

требует мыслей и мыслей, без них блестящие выражения ни к чему не служат» [76, 123]. Своей художественной практикой, своей редакторской работой, своими высказываниями о языке А. С. Пушкин способствовал становлению точной художественной речи, точной образности. Активным и воинственным борцом за точность словесного выражения был Л. Н. Толстой: «Если бы я был царь, то издал бы закон, что писатель, который употребил слово, значение которого он не может объяснить, лишается права писать и получает сто ударов розог» [76, 288].

Советская литература восприняла лучшие традиции классической литературы в борьбе за чистоту, богатство и точность русского языка. Основоположник советской литературы, великий писатель и общественный деятель А. М. Горький придавал огромное значение речевой культуре: «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно победоносней» [76, 325].

Общественная значимость речевой культуры, точного словесного общения была глубоко осознана такими писателями, как А. Н. Толстой, А. Т. Твардовский, К. Г. Паустовский, К. И. Чуковский и др. В своих художественных произведениях, в статьях и письмах, в научно-популярных работах о языке и речевой культуре они стали активными защитниками и пропагандистами точного слова.

Точность как качество речи всегда связывалась с умением ясно мыслить, со знанием предмета речи (предметно-вещной действительности), со знанием значений слов.

§ 2. Но лингвистика должна определить языковые условия создания точности и основные причины ее нарушения, выработать и оформить соответствующее научное понятие и нетерминологическое выражение «точность речи» сделать лингвистическим термином. Пока, к сожалению, приходится признать, что, несмотря на постоянные упоминания о точности как важнейшем качестве хорошей речи, понятие это даже в работах лингвистических употребляется, как правило, нетерминологично.

В существующих практических руководствах по стилистике и культуре речи, а также в теоретических рабо-

тах оно, как правило, не определяется. Обычно даются некоторые рекомендации по использованию лексических средств языка, приводятся типичные ошибки, нарушения норм словоупотребления и говорится, что это приводит к нарушению точности речи. Именно так излагается материал в пособии А. Н. Гвоздева «Очерки по стилистике русского языка», в работе Е. А. Бахмутовой «Культура речи», в одноименной работе Д. Э. Розенталя, в его «Практической стилистике русского языка».

Что же такое точность как коммуникативное качество хорошей речи?

Точность можно определить на основе соотношения «речь — действительность» и «речь — мышление». Как уже говорилось в этом пособии, точность речи — это прежде всего строгое соответствие слов обозначаемым предметам (явлениям) действительности. Допустимо и иное понимание точности как соответствия между общепринятым значением слова и его применением в речи. Но дело в том, что такое соответствие устанавливается и проверяется на основании соотношения «слово в речи — предмет» и вне этого соотношения не осознается.

Эти определения отчетливо показывают, что точность как качество речи связывается прежде всего с лексическим уровнем в системе языка. Чтобы речь была точной, слова должны употребляться в полном соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены в системе языка.

Значит, есть возможность понимать точность как соблюдение в речи норм словоупотребления, если признавать такие нормы; и в этом случае точность речи пришлось бы осознавать как вариант ее правильности.

Вопрос существования лексических норм остается в науке открытым. Но если и признать их существование, следует помнить, что действие этих норм весьма ограничено. Лексической нормой, видимо, можно считать необходимость употребления в литературном языке слов, обладающих статусом литературности. Употребление в литературном языке без специального коммуникативного задания слов диалектных или просторечных, жаргонных или узкопрофессиональных будет нарушением лексической нормы. Но подобное нарушение лексических норм приведет не к неточности, а лишь к стилистической неоднородности текста. Значит, точность

как качество речи с лексическими нормами в собственном смысле слова практически не связана. Точность не сводится к лексико-семантической правильности.

§ 3. Правильность и точность — два разных качества речевых структур, и возникают они на основе разных связей речи с другими системами.

Правильность как качество речи понимается на основе связи «речь — язык». Она опирается исключительно на лингвистические факторы. Правильной является речь, структура которой соответствует нормам литературного языка.

Точность как качество речи опирается на иные отношения. Эта категория основана на связях речь — действительность, слово — предмет. В устном и письменном общении говорящий стремится достичь соответствия между словами и обозначаемой действительностью, как можно точнее словесно обозначить воспринимаемую ситуацию, явление. Через связь «речь — действительность» осуществляется познание действительности. Восприятие объекта познания происходит путем анализа, абстрагирования, обобщения. Результаты познания закрепляются в речевых формах (возможна и внутренняя речь). Вне общения не может быть и коммуникации, а значит, нет и конкретной проблемы культуры речи на этапе докоммуникативного познания.

Уже на этом этапе возможны будущие ошибки, нарушающие точность речи. Если познание объекта, ситуации (с помощью языка, в речевых формах) не даст адекватной картины действительности, то последующее сообщение о них (если оно состоится) не сможет быть точным.

Но вот ранее познанное субъектом перерабатывается в информацию для других. Происходит коммуникативное преобразование имеющихся знаний и сведений, осуществляется переход от знания для себя к оформлению его в качестве сообщения для собеседника(ов). Такое оформление происходит с помощью языка. При этом осуществляется выбор вариантов из числа тех, которыми располагает языковая система и которые усвоены автором речи (например, выбор синонима из синонимического ряда, выбор одной из синтаксических конструкций, выбор нужного варианта словорасположения и т. д.). Выбор определяется многими факторами: и характером передаваемой информации (а значит, и объектом речи),

и целью сообщения, и особенностями коммуникативной ситуации, и ориентацией на собеседника(ов) и др. Выбор вариантов может осуществляться сознательно (в письменных видах речи, особенно в речи художественной) или интуитивно, спонтанно, под непосредственным влиянием содержания информации и общей оценки условий общения. Это этап собственно коммуникации речи — говорящий субъект в речевых формах создает словесный аналог объекта речи. Здесь тоже возможны потери, приводящие к нарушению точности речи: говорящий не находит подходящего варианта среди тех, которые предоставляются системой языка. Точность как качество речи опирается на связи речь — сознание, речь — действительность и речь — язык. Нужно уметь соотнести имеющееся знание предмета речи со знанием языковой системы и ее возможностей в конкретном акте коммуникации. Речь должна точно и полно передавать выражаемое, «запрограммированное» содержание, должна соответствовать системе понятий, которые сформировались в сознании говорящего как его знание объекта речи. Между «знанием для себя» и «сообщением для других» тоже возможен коммуникативный разрыв, когда найденные слова, формы выражения, общее содержание речи кажутся говорящему не адекватными его пониманию описываемого объекта. Особенно часто такой разрыв ощущают художники слова. Известное восклицание А. Фета «О, если бы без слов сказаться мыслью было можно!» и тютчевское «Мысль изреченная есть ложь» отражают как раз такое горькое для художника чувство несоответствия выраженного тому, что хотелось выразить. Эти сетования поэтов объясняются предельно высокой требовательностью к точности выражения, к словесной структуре произведений вообще. Но такое (или подобное) чувство недовольства сказанным знает, в принципе, каждый говорящий. Как часто нужные слова и чеканные формы выражения мы находим после того, как речь наша уже прозвучала! Чтобы подобное недовольство сказанным, написанным имело меньше оснований и приходило реже, надо воспитывать в себе высокую требовательность, активное внимание к процессу речи. И нужно быть уверенным, что любая мысль может быть выражена точно и ясно для другого. Хорошо сказал об этом Н. А. Некрасов в письме Л. Н. Толстому: «Мне жаль моей мысли, так бедно я ее поймал словом.

Изорвать хочется — чувствую тоскливость, которую Вы, верно, знаете — хочется сказать, а не сказывается. Что Вы в этом случае делаете? Бросаете работу или нудите и пытаете себя? Бывало, я был к себе неумолим и просиживал ночи за пятью строками. Из того времени я вынес убеждение, что нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив...» [*76*, 248].

§ 4. Из сказанного ясно, что есть все основания различать два вида точности: точность предметную и точность понятийную.

Точность предметная задается экстралингвистической связью речь — действительность и состоит в соответствии содержания речи тому кругу предметов, явлений действительности, которые речью отображаются. В речи должны верно обозначаться явления жизни, предметы и события действительности, о которых сообщается. А для этого человек обязан хорошо знать то, о чем он говорит. Предмет речи должен быть познан глубоко — в его сущностных свойствах и в его разнообразных проявлениях.

Всестороннее знание предмета речи — это важнейшее условие создания предметно точной речи. Речевые неточности, вызванные незнанием или полузнанием предмета речи (или просто небрежностью, невнимательностью), особенно неприятны и непростительны, а между тем они не так уж редки даже в произведениях художественной литературы.

Один из персонажей романа Юлиана Семенова «Горение», «после того как (у него.— *Г. Г.*) во время митинга украли револьвер, носил теперь два... набил карманы пулями».

«Неужели человек, готовый к вооруженной защите, будет носить пули отдельно, гильзы отдельно, порох отдельно... По-видимому, все-таки карманы у него были набиты не пулями, а патронами»,— справедливо недоумевает читатель М. Кириллин («ЛГ», 1977, № 24).

На страницах «Литературной газеты» регулярно появляются материалы о замеченных неточностях, ошибках в произведениях художественной литературы (рубрики «Почта крохобора», «Заметки крохобора», «Увы, написано пером»).

9 Заказ 693

Под девизом «Точность — вежливость писателя» была недавно проведена (на материале редакционной почты) заочная читательская конференция («ЛГ», 1977, № 8). Читатели справедливо считают, что нельзя проходить мимо очевидных ошибок и неясностей, объясняемых небрежностью автора и нетребовательностью редактора. «Даже такой мастер, как Василий Белов, обыкновенно выверяющий каждую деталь, каждый штрих в своих произведениях, может сказать в рассказе «Чок-получок» («Дружба народов», 1976, № 10), например: «В барабане браунинга семь патронов»,— словно бы и не зная о том, что в браунинге никакого барабана нет. Столь же... неточен и молодой прозаик В. Кондрашов, описывающий в повести «Рыжий — не рыжий» («Юность», 1976, № 1), как «вагонные слесари... постукивают молотком по чугунным колесам. А ведь колеса вагонов, к счастью для пассажиров, изготовляют из стали»,— пишет читатель из Москвы Т. Южный («ЛГ», 1977, № 5).

Итак, «точность — вежливость писателя». Это, несомненно, верно. Ведь одна неточная деталь может испортить художественное произведение, разрушить или значительно уменьшить эстетическое впечатление от него. Неточность, замеченная читателем, подрывает доверие к писателю, при этом теряется ощущение достоверности описанного, разрушается тот аналог действительности (вторая реальность), которая создается в художественном произведении. Но ведь отсутствие предметной точности, как результат незнания или полузнания объекта речи, мешает общению не только в художественной литературе. Разве не обязан быть предельно точным учитель, объясняющий урок, журналист, печатающий статью или очерк, ученый в своих работах? А взрослые люди, отвечающие на бесчисленные детские «почему»,— разве не должны они быть точными и, расширяя представления ребенка о мире, не давать ему ошибочных, неверных сведений о действительности? А для этого нужны знания. Значит, одна из первых заповедей человека, стремящегося быть точным в своей речи (а к этому должен стремиться в идеале каждый говорящий),— «Хорошо знай то, о чем говоришь!»

Но слово отражает не только предмет, оно отражает (выражает) и мысль, работу нашего сознания. Одной предметной точности недостаточно, чтобы речь во всех ее проявлениях была точной. Существует еще и точность

понятийная, как соответствие содержания речи той системе понятий, которая в ней обозначена. Именно об этом говорил Л. Н. Толстой: «Слово — выражение мысли... и поэтому слово должно соответствовать тому, что оно выражает». «Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия» [*76*, 285].

Именно к понятийной точности стремился Н. А. Некрасов, когда жаловался Толстому: «Мне жаль моей мысли, так бедно я ее поймал словом...» Именно о трудностях достижения понятийной точности свидетельствуют горькие сетования Фета и Тютчева, приведенные выше. Эти трудности рождают у поэтов сомнение в гармонии мысли и речи, в возможности найти адекватное речевое воплощение для каждой мысли. Но это сомнение — своеобразное поэтическое преувеличение. Характер взаимоотношения языка и мышления, их диалектическое единство, взаимодействие не оставляют места для подобных сомнений. Любая мысль, ясная для субъекта речи, может быть выражена точно и ясно для воспринимающего. Но достигается это соответствие содержания речи и выражаемой мысли нелегко. Не случайно же уверенность, что «нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого», Н. А. Некрасов вынес из того времени, когда он «был неумолим к себе и просиживал ночи за пятью строками». Только труд, постоянная умственная работа, оттачивающая мысль и ее речевое воплощение, постоянное внимание к смысловой стороне речи дадут хорошие результаты. Умение точно и ясно выразить любую мысль дается только тому, кто в тонкостях знает возможности лексической системы своего языка, кто постоянно развивает и совершенствует это знание.

Определим теперь точность как особое качество речи.

Точность — это такое коммуникативное качество речи, которое возникает как соответствие смысловой стороны речи (плана содержания) предметно-вещной действительности и/или системе выражаемых понятий и проявляется в использовании слов в полном соответствии с их языковыми значениями.

§ 5. Сформулируем основные условия, способствующие созданию точной речи. Эти условия могут быть

экстралингвистическими и структурными, т. е. собственно лингвистическими.

Знание предмета речи — это условие экстралингвистическое, если иметь в виду уровень непосредственной коммуникации — собственно речи. Ведь знание предмета речи мы получаем до (и нередко задолго до) момента речи. Но это же условие оборачивается и лингвистической стороной, если помнить о единстве языка и сознания, о том, что само познание осуществляется в языковых формах. Языковая система — мощный инструмент познания. С развитием речи, с более глубоким и детальным усвоением системы языка у человека совершенствуется и познавательная способность. Активизация, совершенствование познавательной способности в конечном счете поможет избежать в речи фактических неточностей, вызванных поверхностным, неглубоким познанием действительности. Так что даже это, в целом экстралингвистическое, условие оборачивается важным аспектом речевой культуры. Но это общий, глобальный аспект речевой культуры, связанный не только с точностью, но и со всеми другими качествами хорошей речи.

Второе условие — собственно лингвистическое. Знание языка, его системы, возможностей, которые он предоставляет для выражения актов сознания. Причем для создания точности важно знание лексической системы языка. Это конкретно-лингвистический аспект точности речи.

Третье условие опирается на первые два — это умение соотнести знание предмета со знанием языковой системы и ее возможностей в конкретном акте коммуникации. В речи должно каждый раз устанавливаться точное соответствие между предметом действительности (или понятием) и словом.

Понятно, что умение это достигается нелегко (а иногда и совсем не достигается), что развивать это умение можно на протяжении всей сознательной жизни человека. Но понимание этого условия необходимо каждому, кто задумается над тем, как он говорит.

Каковы же те конкретные лингвистические средства, которые способствуют созданию точной речи?

Во-первых, это верное словоупотребление. Точность речи связана с лексическим уровнем в системе языка. Верное словоупотребление — понятие достаточно широкое, оно может быть детализировано.

Знание синонимических возможностей языка позволяет верно выбрать нужное слово из синонимического ряда и тем самым достичь точности выражения, строгого соответствия речи передаваемому содержанию. Л. Н. Толстой говорил о мастерстве писателя как о способности «разместить» единственно возможные слова. Это, разумеется, идеальный случай. Это кредо художника слова, да еще необычайно требовательного к языку, к словесной ткани произведения. Но и в речи нехудожественной, в бытовом, деловом, производственном общении не следует забывать о том, что нельзя брать первое попавшееся слово, лишь приблизительно обозначающее предмет разговора.

В русском языке богатейшая синонимия. Но как часто в речи вместо точных, нужных для данного случая слов используются готовые, заштамповавшиеся выражения, случайные слова. Нередко смешение синонимов приводит не только к неточности, но и к речевым курьезам.

Сознательный выбор речевых вариантов, в том числе и слов-синонимов, с целью найти наиболее точный, особенно важен для художника слова. Подобный процесс осуществляется в любом речевом оформлении мысли, но ясно, что в искусстве слова он действует с удесятеренной силой, побуждая художника мысленно оперировать большими массивами речевого материала, которыми располагает (если, конечно, располагает) его память. Настоящий художник слова почти всегда убежденно и мотивированно может объяснить употребление каждого значимого в данном контексте слова. Н. А. Некрасов в стихотворении «Несжатая полоса» употребил слово «станица» в значении «стая перелетных птиц». Объясняя своему оппоненту, не знавшему этого значения слова «станица», выбор именно этого слова, поэт писал: «...употребил слово «станица» потому, что с детства слышал его в народе, между прочим, в этом смысле: птицы летают *станицами*; воробьев *станичка* перелетела и т. п. <...> Что слово употребляется и в других смыслах, из этого не следует, чтобы в данном случае оно было употреблено неточно. Слова: группа, партия, даже стая, которыми можно было бы заменить его в «Несжатой полосе», кроме своей прозаичности, были бы менее точны, лишив выражение того оттенка, который характеризует птицу перелетную (о которой идет речь в сти-

хотворении), располагающуюся время от времени станом на удобных местах для отдыха и корма» [76, 254].

Черновики А. С. Пушкина дают образцы работы над словом, обнаруживая, в частности, и перебор синонимических вариантов в поисках наиболее точного и выразительного. В двустишии из «Евгения Онегина»:

Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий пестрый рой...—

не сразу был найден эпитет «колкий». В черновиках его предшествуют два других — «неутомимый Шаховской» и «острый Шаховской». Определение «неутомимый» было забраковано, видимо, потому, что оно отмечало лишь плодовитость этого драматурга, а эта его черта уже была выражена во втором стихе: «комедий пестрый рой». Получалось, что слово «неутомимый» избыточно, оно ничего не добавляет к характеристике. А в стихе не должно быть лишних, случайных слов. Появляется эпитет «острый». Он уже характеризует Шаховского как драматурга сатирической направленности. Но эта характеристика показалась Пушкину неточной. Шаховской не был по-настоящему острым в своих комедиях. И вот слово найдено — «колкий». Этот эпитет необычайно точен — он говорит о сатирической направленности комедий Шаховского и вместе с тем о недостаточной глубине этой сатиры — комедии его лишь «колки», но не «остры».

О работе над словом, и в частности о поисках точного синонима, читаем в работе В. Маяковского «Как делать стихи?».

Точный выбор синонима из синонимического ряда — условие, существенное не только для художественной речи. Неудачно взятый синоним может испортить любую речь.

Вот пример неудачного синонима в отрывке из научной статьи:

«В течение последних нескольких лет в различных выдающихся монографиях неоднократно описывались общие экспериментальные методы определения скорости реакции в гомогенных системах».

Слово «выдающийся» употреблено здесь неудачно. Оно дает слишком высокую оценку явлению, которая, видимо, не соответствует действительности и расходится со значением рядом стоящего прилагательного «различный».

«За последние несколько лет был проделан ряд исследований физико-химических характеристик производных изоксазолий» (следовало написать — *проведен*).

«В конце хочется пожелать всем успешной сдачи экзаменов в эту сессию». Тоже неточно — следует написать *в заключение*.

Верное словоупотребление предполагает, во-вторых, умение автора избежать речевой неточности, которая может возникнуть в результате того, что говорящий употребил слово (или слова), лишь приблизительно, нестрого, неточно обозначающее предмет мысли. Происходит это чаще всего из-за небрежности, невнимательности к форме выражения. Ошибки подобного рода особенно опасны тем, что их не всегда легко заметить. Подобное неоптимальное словоупотребление как будто может и не исказить выражаемой мысли, не привести к комическому эффекту, но обязательно сделает мысль нечеткой, нестрогой, неточной. Вот почему с точки зрения подлинной речевой культуры борьба с такими неточностями особенно актуальна.

Приведем примеры неточного словоупотребления.

«Вот почему вопросу успеваемости на первом курсе должно быть уделено основное внимание». Здесь точнее было бы — *особое внимание*.

«Каждый, ставший политехником, должен почувствовать ответственность за славное прошлое института». Славным прошлым института следует гордиться, а чувство ответственности должно быть по отношению к настоящему, чтобы оно соответствовало славным традициям прошлого.

В-третьих, верное словоупотребление предполагает знание и четкое разграничение полисемии. Значения многозначного слова реализуются в разных контекстах, в разной сочетаемости слова с другими словами. «Слово не имеет одного определенного значения. Оно — хамелеон, в котором каждый раз возникают не только разные оттенки, но иногда и разные краски» [*95*, 77].

В ряду словоупотреблений многозначного слова существует то инвариантное значение, которое и связывает в нечто целое эти значения, оставляя их в рамках одного слова. Но это инвариантное значение может придавать конкретному значению признаки, идущие от других значений слова. И они могут вступить в конфликт с основным значением. Слово *земля* в значении «поверхность» и «почва» очень далеко от значения «земля» — планета. И все-таки почву и поверхность, например, на Марсе вряд ли стоит называть «землей». Этому мешает

присутствие в системе значений слова *земля* названия нашей планеты, которое как бы просвечивает и в других значениях слова.

Ю. Тынянов оценивает как ошибочное, «производящее комическое впечатление» такое употребление слова *земля* в повести А. Толстого «Аэлита»: «Но когда Лось и Гусев двинулись к нему (марсианину.— *Ю. Т.*), он живо вскочил в седло... и сейчас же опять сел на землю» [*95*, 202].

Невнимание к полисемии слова может привести к прямому комизму: «Моя семья никакого отношения к искусству не имела. Я родился в нормальной семье» (из радиопередачи «Взрослым о детях»).

Слово *нормальный* употреблено здесь вместо слова *обыкновенный*, *рядовой*, *обычный*. Неточно выбранное слово дало комический эффект потому, что само оно многозначно, и если в одном из значений оно сближается со словами *обычный*, *обыкновенный*, то в другом — уводит в совершенно иную смысловую плоскость: 1) соответствующий норме, обычный; 2) психически здоровый. Говорящий дал контекст, допускающий оба эти значения, что и привело к комизму.

Верное словоупотребление предполагает, в-четвертых, четкое разграничение омонимов. Незнание омонимов приводит к нарушению точности словоупотребления, к двусмысленности выражения, к каламбурам. Особенно часты ошибки такого рода в устной и письменной речи учащихся (и это понятно: ведь речевые навыки школьников находятся в процессе становления). Говорящий или пишущий, употребляя какое-то слово, не замечает, что у него есть омоним.

Уменьшить вероятность подобных ошибок поможет активизация внимания к речи, тренировка речевых навыков. Следует постоянно обращать внимание на то, ка́к мы говорим, выводя процесс речи из привычного бездумного автоматизма. Человек, приучившийся с детства следить за своей речью, вряд ли допустит ошибки.

Верное словоупотребление, в-пятых, требует разграничения в словоупотреблении однокоренных слов, близких по значению и по сфере употребления, но разных по словообразовательной структуре (паронимов). Похожи такие слова и по звучанию, что увеличивает опасность их неразличения в речи. Это слова типа *войти* и *взойти*, *нетерпимый* и *нестерпимый*, *основать* и *обосновать* и др.

«В нашей школе нет непоправимых двоечников» (из устного выступления); «Сборник широко представил страницы тем поэтам, чьи голоса только начинают звучать в общем поэтическом хоре» (глагол «представил» употреблен здесь вместо глагола *предоставил*).

Ошибки, вызванные смешением однокоренных паронимов, весьма часты и встречаются в речи людей, в целом хорошо владеющих литературным языком. Поможет избежать таких ошибок словарь-справочник «Трудные случаи употребления однокоренных слов» (М., 1968).

Верное словоупотребление требует, в-шестых, хорошего знания значений слов узкой сферы употребления (иноязычных, профессиональных, архаичных и т. п.).

Развитие общей культуры, повышение уровня знания, обращение в затруднительных случаях к словарю иностранных слов, общее внимание к своей речи помогут устранить из нее ошибки.

Таковы основные лингвистические средства и условия, способствующие созданию точной речи.

Требования к точности речи весьма заметно различаются в разных функциональных стилях и формах языка.

Требования к точности речи возрастают тогда, когда нет непосредственного контакта с адресатом речи, а также при непосредственном контакте, но с широкой аудиторией. Дело в том, что при непосредственном общении с конкретным собеседником всегда возможна коррекция, позволяющая снять возникшую неточность. Коррекция со стороны самого говорящего, заметившего неточность в момент речи, или со стороны слушающего в форме вопроса и т. д. Повышенные требования общество предъявляет к речи официальной, т. е. к речи деловой, научной, публицистической. Точность как обязательное качество называется при перечне свойств и характерных особенностей научной речи. И действительно, точным и ясным должно быть изложение системы логических рассуждений, передающих мысль ученого, точным должно быть описание эксперимента и его результатов, точно должны формулироваться научные выводы. Только при этом условии научное общение будет незатрудненным и результативным. Но всегда ли соблюдаются эти условия? К сожалению, не всегда. Как часто можно встретиться с научной речью небрежной, неточной, неясной, а потому и труднодоступной, непонятной.

Советский физик Б. М. Понтекорво вспоминает о зна-

менитом Ферми, учеником которого он был: «Однажды после семинара, на котором выступали теоретики, ученики Оппенгеймера, Ферми сказал Сегре, что был совершенно подавлен своей неспособностью понять, о чем идет речь, и только последняя фраза — «Вот в этом и состоит фермиевская теория бета-распада» — несколько утешила его». Как же излагалась научная теория, если понять ее оказался не в состоянии даже ее автор!

Точность как качество научной речи тесно связана с точностью терминоупотребления. Ускоренное развитие науки, повышение ее социальной роли и, как следствие, колоссальный рост научной информации остро поставили перед современной наукой проблемы терминологии. Наука и производство постоянно увеличивают общий объем терминологии, вводя в научный обиход (и, как правило, бесконтрольно, неуправляемо) новые и новые термины и номенклатурные знаки. Неуправляемая стихия терминоупотребления и терминотворчество существенно затрудняют научное общение. Как распространены сейчас жалобы на неудовлетворенность научной терминологией, на ее крайнюю неупорядоченность и непоследовательность! Пристальное внимание современной лингвистики к проблемам терминологии — это естественное стремление науки подчинить и сделать управляемой стихию терминоупотребления. Ведь лингвистика — наука, призванная и способная это сделать. Но все ли хорошо в терминологическом хозяйстве самой лингвистики? К сожалению, нет. И в самой лингвистике вопрос терминологии — больной вопрос. Лингвисты ощущают острую необходимость построения хороших определений терминов, создания стройных терминосистем. Такие термины, как «знак», «информация», «текст», «стиль», «речь», не имеют общепринятого понимания, используются в разных значениях, и это, конечно, чрезвычайно затрудняет научное общение.

Многозначность терминов, а также их понятийная неопределенность может быть следствием теоретической непроясненности проблемы, может объясняться сосуществованием разных точек зрения на один объект, что нередко в современной науке. Конечно, это затрудняет научное общение (в идеале термин должен быть однозначным и иметь четко определенное содержание), но это объективные издержки и потери научного поиска. Устранить подобную многозначность или неопределен-

ность термина может лишь сама наука, углубляя и совершенствуя познание объекта. И с точки зрения речевой культуры здесь может быть лишь одна рекомендация: если термин многозначен, употребляя его, следует четко определить, в каком из значений он используется. Но в вопросах терминоупотребления есть и более конкретный аспект речевой культуры. Ведь не секрет, что в научных работах можно встретиться и с прямым нарушением точности терминоупотребления, когда в одном тексте один и тот же термин используется в разных значениях, когда применяется термин, содержательный план которого в работе точно не определяется, когда «изобретается» новый термин для понятия, уже существующего в науке и закрепленного в термине. Все это, конечно, очень мешает созданию по-настоящему точной научной речи.

Перегруженность текста терминами затрудняет восприятие. Хорошая научная речь опирается на богатейшие возможности общелитературной речи. Хорошая «научная проза» в принципе невозможна без знания норм и потенций общелитературного языка. И не нужно бояться, что использование в научном описании общенародных слов и выражений уменьшит точность научной речи. О том, что эта опасность мнимая, свидетельствуют несравненные образцы научной речи, оставленные такими русскими учеными, как Сеченов, Павлов, Ферсман, Тарле, Поливанов и др. В. И. Ленин в своих научных и научно-публицистических произведениях великолепно сочетал возможности общенародной речи и особенности собственно научного стиля изложения. Р. А. Будагов в книге «Человек и его язык» приводит высказывание физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Луи де Бройля, что «стилем математических формул» можно закрепить уже приобретенные знания, но развить дальше эти знания невозможно без помощи всех средств литературного языка. Как это ни странно на первый взгляд, «обычный литературный язык более точен в своей кажущейся неточности, чем строгий язык формул» [*35*, 43].

Особый смысл приобретает понятие «точность» применительно к художественной речи, где критерий точности осложняют многие факторы, которые вытекают из природы словесного искусства. Вопрос о точности слова как его адекватности предмету (предметная точ-

ность) здесь уже далеко не исчерпывает существа дела. Ведь над предметно-смысловыми связями здесь так ощутима толща экспрессивно-изобразительных и оценочных наслоений, что само понятие точности слова (на уровне его связи с объектом) в контексте определенных стилей (романтических, к примеру), становится весьма относительным. Не говоря уже о том, что есть иносказательная манера выражения, целенаправленно затуманивающая именно предметную отнесенность слова.

Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,—

эти стихи из пушкинских «Цыган» Белинский назвал «ультраромантическими», «потому что все неточное, неопределенное, сбивчивое, неясное, бедное положительным смыслом при богатстве кажущегося смысла,— все такое должно называться романтическим... Что такое *беглец родной берлоги*? Не значит ли это, что медведь бежал без позволения и без паспорта из своей берлоги? Хорошо бегство для того, кто взят насильно, при помощи дубины и рогатины. Этот медведь — *похищенец*, если можно так выразиться, но отнюдь не беглец. Что такое *косматый гость шатра*? Что медведь добровольно поселился в шатре Алеко? Хорош гость, которого ласковый хозяин держит у себя на цепи, а при случае угощает дубиною! Этот медведь скорее пленник, чем гость» [*76*, 177—178].

Подобная «предметная неточность» была верно понята Белинским как отчетливая тенденция романтического стиля, а не «ошибка» поэта. Корни этой тенденции — в самой специфике словесного творчества как способа образно-эстетического отображения действительности, как формы эстетического общения с помощью слова. Отражение действительности, как бы оно ни было специфичным в рамках разных художественных стилей и направлений, неизбежно сохраняет предметную отнесенность слова. Но многообразные условия художественного общения осложняют эту предметную отнесенность множеством других факторов, регулирующих выбор форм и способов выражения художественной мысли.

Воспользуемся примером, необыкновенно красноречиво выявляющим степень отступления от предметной точности во имя точности художественной. Речь идет о стихотворении Лермонтова «Нищий», о третьей его

строке, которая в первоначальном варианте звучала так: «Слепец иссохший, чуть живой». На уровне предметных связей это было максимально точно: строка идеально фиксировала реальную ситуацию, жизненный случай, лежащий в основе лермонтовского сюжета. Случай этот отражен в воспоминаниях Сушковой. Ведь на паперти Троицко-Сергиева монастыря Лермонтов встретил не просто нищего, а именно «слепца». Почему же поэт отказался от слова, которое точно фиксировало реальный объект? Видимо, потому, что оно слишком жестко привязывало мысль к случайностям частной жизненной ситуации. Слово *бедняк*, заменившее слово *слепец* в этой строке, как бы поступается эмпирически-ситуативной точностью ради точности иного, высшего порядка. Ведь нищий Лермонтова символичен и символизирует он не духовную слепоту (семантика чернового слова неизбежно внесла бы этот неверный оттенок смысла), а жажду одинокого духа, тоску его по родной душе. «Бедняк» Лермонтова — символ страждущей души, которой отказано в понимании и общении. И в этом контексте слово *бедняк* художественно точнее, чем слово *слепец*.

Когда мы поймем, чем продиктован выбор точного слова, тогда станут ясны и границы точности в художественной речи и подвижность этих границ. Точность художественной речи возникает как следствие трех, по крайней мере, основных устремлений писателя: 1) к адекватности слова предмету, 2) к соответствию слова идейно-эстетической оценке предметов, 3) к реализации в слове конкретной стилевой установки художника. Это взаимосвязанные, хотя и подвижные, допускающие в разных писательских стилях разную акцентовку, устремления.

Взаимосвязаны они уже потому, что художественное слово по природе своей индивидуально. Оно фиксирует не всю полноту предмета, не весь объем его связей, а лишь те его грани, в которых ярче и рельефнее проступает сущность образа. «Без сжатости нет художественности <...> На пяти или десяти страницах описать лицо так, чтобы можно было знать все его приметы,— это сумеет сделать самый бездарный прозаик. Нет, вы художник только тогда, когда вам нужно всего пять строк, чтобы возбудить в воображении читателя такое же полное представление о предмете <...> Сущность поэзии в том, чтобы концентрировать содержание...»,—

писал Чернышевский [*78*, 339]. Эта концентрация содержания происходит в конкретно-чувственной форме, в художественном образе, где в форме единичного заключено общее.

Отсюда важное условие художественной точности — точность и значимость художественной детали, позволяющей, при соучастии воспринимающего сознания и воображения, создать художественно верный аналог действительности.

«Для того, чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком, несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме»,— говорил А. П. Чехов [*81*, 353]. Он же советовал в письме к брату: «В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатилась шаром черная тень собаки или волка» [*77*, 657—658].

Выбор точных деталей есть следствие художнической наблюдательности, зоркости. За этой зоркостью, кроме способности образного восприятия действительности, стоит знание. Об этом писал К. Паустовский: «В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Многим поэтам давно бы надо это понять. Насколько более действенной и величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию! Одно дело — ночь над лесами с безликим и потому невыразительным небом, и совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в черной воде осенних озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный и печальный Орион» [*71*, 82—83].

Связь речь — предмет действует и применительно к художественной речи. Точное художественное слово возникает на основе глубокого, всестороннего познания объекта речи, познания и логического, понятийного, и художественного, образного. Вот почему точное художественное слово нередко поражает нас как своеобразное открытие предмета. Хотя точность художественная весьма специфична, она сохраняет связь с точностью как общим свойством хорошей речи: остается предметная

отнесенность художественного слова (как бы она ни осложнялась), остается и отнесенность слова к работе сознания художника.

Говоря о специфике точности художественного слова, мы имели в виду хорошую, образцовую речь. А ведь не секрет, что в произведениях художественной литературы может нарушаться и самая обычная точность. Применительно к художественной литературе проблема точности имеет два аспекта — аспект общей речевой культуры (в художественной речи, как и в любой другой, не должна нарушаться предметная и понятийная точность) и аспект художественности, когда имеется в виду точность образная.

ГЛАВА 6

ЛОГИЧНОСТЬ РЕЧИ

§ 1. Логичность как качество речи тесно связана с точностью, но вместе с тем достаточно четко отличается от нее. Логичность речи основана прежде всего на связи речь — мышление. Семантические связи между элементами логичной речи не противоречат законам логики. Ясность элементов речевой структуры способствует незатрудненному ее пониманию. Точность (и предметная, и понятийная) является как бы предварительным условием логичности. Неточная речь не может быть логичной. Точность достигается соответствием структуры речи той предметно-вещной действительности и той совокупности понятий, которые выражены речью. И это соответствие устанавливается на уровне слова (слово — предмет; слово — понятие). Важнейшее лингвистическое условие достижения точности речи — строгое соответствие употребления слов их значениям. Если этого нет, речь не будет точной, не будет она и логичной.

Логичность может быть нарушена и при строгом употреблении слов. Логичность как качество речи выводит нас за пределы слова и вводит в пределы высказывания как единицы речи, в область синтаксиса. При оценке логичности особенно важно слышать и видеть (на письме) то целое, которое возникает при соединении слов. Причем это целое оценивается и в пределах одного высказывания, и в пределах текста. Для достижения логичности следует добиться смысловой непротиворечивости частей в одном высказывании и такой же непротиворечивости высказываний в целом тексте. И если точность связана с лексическим уровнем, то логичность связана с синтаксической организацией как высказывания, так и текста.

Есть основания, как и при характеристике точности, различать логичность предметную и логичность понятийную. Предметная логичность состоит в соответствии смысловых связей и отношений единиц языка в речи связям и отношениям предметов и явлений в реальной действительности. Логичность понятийная есть отражение структуры логичной мысли и логичного ее развития в семантических связях элементов языка в речи. Конечно, эти два вида логичности тесно взаимосвязаны и в конкретном акте речи выступают в единстве.

И это вполне естественно. Ведь связь элементов в мышлении определяется прежде всего связями и отношениями между предметами и явлениями в реальной действительности. Но взаимодействие логичности предметной и логичности понятийной не снимает вопроса об их различии. О двух разных видах логичности говорит возможность их расхождения в процессе коммуникации, о чем можно судить по таким, например, фактам. Известно, что существует два основных способа познания — индукция и дедукция. Индукция состоит в движении от частного к общему, «от живого созерцания к абстрактному мышлению». Дедукция идет от абстрактного к конкретному. Индукция и дедукция существуют и как методы логической организации излагаемого материала для сообщения результатов познания. Причем познанное индуктивно может быть изложено с помощью дедукции и наоборот. При этом остается неясным, меняется ли предметная логичность, а вот логичность понятийная существенно меняется. Ведь при индукции и дедукции — противоположный ход движения мысли.

Существуют и другие проявления расхождения предметной и понятийной логичности. Мысль наша может иметь своими объектами не только реальные предметы, явления действительности и их свойства, но и сами понятия. Речевая реализация такой мысли не прямо соотнесена с «логикой» предметного мира, и можно говорить лишь о логичности понятийной.

Существуют формы речи, где предметная логичность почти устранена (вернее, существенно трансформирована) сознательно — сказки, произведения художественной фантастики и другие формы художественного словесного творчества. Но логика понятийная как отражение структуры мысли и ее развития в семантических связях элементов речи должна присутствовать и здесь.

Разрыв предметной и понятийной логичности можно наблюдать тогда, когда связи и отношения объективной действительности, сущность явлений и событий сознательно искажаются или непрерывно осознаются.

Сознательное искажение действительности имеет, например, место в буржуазной идеологии и пропаганде, которая стремится, с одной стороны, затушевать глубокие социальные противоречия в обществе капитала, представить буржуазное общество образцом государственного устройства, а с другой — принизить, свести на нет достижения социалистической системы, раздуть, преувеличить наши трудности. И вот с соблюдением внешней, формальной логичности «стряпаются» пропагандистские материалы. В них, на первый взгляд, все логично. Опытные буржуазные пропагандисты в тонкостях знают законы формальной логики. Знают они и те софистические приемы, те словесные ухищрения и увертки, которые способны неверные, заведомо ложные положения задрапировать под истинные. Они знают, что лишь этот флер логичности и объективности может убедить читателей, может (хотя бы на время) заставить поверить в истинность, по сути, ложных высказываний. Однако логика понятийная, без опоры понятий на прочный базис «сущностных» связей и отношений действительности (без опоры на предметную логичность), дает лишь жалкое подобие логичной речи. Логичность понятийная без опоры на логичность предметную, в принципе, не существует, это лишь имитация (иногда очень хорошо выполненная) логичности.

В условиях современной идеологической борьбы советским социологам, публицистам, журналистам нередко приходится путем логических доказательств опровергать разнообразные софистические ухищрения буржуазных идеологов, раскрывать истинные устремления авторов различных фальшивок. «Правда», «Известия», «Литературная газета», журнал «Коммунист» и другие органы советской печати дают решительный и умелый отпор идеологическим противникам.

Буржуазная печать ведет шумную пропагандистскую кампанию о правах человека, якобы ущемляемых в СССР. Советская печать в полемике с буржуазными идеологами последовательно доказывает истинность социалистической демократии и одновременно раскрывает

смысл пропагандистской шумихи, имеющей целью отвлечь внимание общественности капиталистических стран от их собственных острейших социальных проблем (см., например, открытое письмо депутата Верховного Совета СССР Вадима Кожевникова к английским парламентариям [«ЛГ», 1978, № 33] и публикацию международного отдела «ЛГ» «А они все про Ерему» [«ЛГ», 1978, № 35].

Разрыв предметной и понятийной логичности имеет место и тогда, когда «сущностные» связи и отношения действительности искажаются непреднамеренно в процессе познания из-за просчетов и логических ошибок, допущенных в мышлении. И здесь речевое сообщение о явлении при всей внешней логичности сцеплений элементов речи без опоры на логичность предметную (утраченную за счет ошибок в познании) не будет по-настоящему логичным.

Итак, логичность предметная и логичность понятийная существуют в тесном взаимодействии, но в разных типах и формах речи может актуализироваться одна из них.

§ 2. Условия логичности, как и условия точности, могут быть экстралингвистические (внеструктурные) и структурные (собственно лингвистические).

Первое условие — экстралингвистическое: овладение логикой рассуждения — «нормами или принципами правильного рассуждения в поисках новой истины» [*56*, 251]. Человек, поставивший целью научиться говорить и писать логично, должен прежде всего научиться логично мыслить. Любой акт мышления должен соответствовать законам логики. Необходимо воспитывать в себе строгую дисциплину мысли, не допускать в самом мышлении логических ошибок и просчетов. Логичным может оказаться лишь сообщение о явлении, в процессе познания которого автор речи строго соблюдал логику рассуждения.

Второе условие — структурное, или собственно лингвистическое: знание языковых средств, способствующих организации смысловой связанности и непротиворечивости элементов речевой структуры.

Это второе условие действует на уровне коммуникации речи и может быть обозначено как овладение логикой изложения (сообщения). Логика изложения отличается от логики познания отчетливой ориентацией на

собеседника, на ситуацию речи. Соблюдение или нарушение логики изложения сказывается на понимании речи слушателем или читателем. С точки зрения культуры речи овладение логикой изложения является не менее актуальной задачей (и в принципе, более доступной), чем овладение логикой познания. Внешняя выраженность логики изложения в конкретных речевых цепочках, реальность речевой ситуации и привлечение понимания как критерия оценки делает логику изложения доступной для анализа, дает возможность определить типичные ошибки логики изложения, а следовательно, и тренировать навыки логического оформления выражаемого содержания.

Логика рассуждения осуществляется и в процессах внутренней речи, хотя ее результаты обнаруживаются (могут обнаруживаться) позднее при коммуникации, во внешней речи. Поэтому сам процесс мышления с точки зрения оценки его логической правильности и непротиворечивости трудно контролируем. К тому же это не лингвистическая задача, точнее, не собственно лингвистическая, а еще и логическая, и психологическая. А вот логика изложения может и должна быть предметом лингвистического анализа. Но, разграничивая логику рассуждения и логику изложения, нельзя забывать, что разграничение это не абсолютно, что существует и глубокая внутренняя связь познания и коммуникации. Во всяком случае, ошибки в логике изложения могут быть заложены уже в процессе познания, если оно протекало с отступлениями от законов логики. А законы эти одинаковы и для рассуждения, и для сообщения.

§ 3. Конкретные лингвистические условия логичности речи, в первую очередь, синтаксические (или синтагматические). Причем одни из них действуют на пространстве одного высказывания, другие — в пределах более сложного объединения высказываний (сложное целое), третьи могут быть обнаружены лишь в целом тексте.

Условия логичности на уровне высказывания:

а) Сочетание одного слова с другим должно быть непротиворечивым. Алогизмы в пределах высказывания могут возникать за счет объединения несоотносимых понятий. Далеко не все слова могут логически сочетаться между собой. Нарушение логических связей меж-

ду словами и частями высказывания может привести к непреднамеренному комизму. Например:

«Хочу выразить искреннюю благодарность врачу санаторно-лесной школы. Человек этот с всегда улыбающимся лицом и вместе с тем с большим опытом» (Из газет).

Соединены в однородный ряд явно несоотносимые понятия — располагающая внешность и профессиональный опыт.

Коллектив предприятия борется не только за то, чтобы больше выпускать продукции для народного хозяйства страны, но и высокого качества» (Из газет).

«Говоря о практике проведения Ленинских уроков на первом курсе, нужно отметить, что и в методике проведения, и в вопросах для обсуждения, и в практических заданиях необходим особый подход, учитывающий процесс адаптации недавнего школьника в вузе» (Из газет).

В последних двух примерах тоже допущены ошибки в логической сочетаемости частей высказывания. Ошибки эти менее заметны, они не дают такого комического эффекта, как в первом предложении. Но это делает их еще более опасными с точки зрения речевой культуры. Подобные скрытые алогизмы весьма распространены. Чтобы восстановить логическую сочетаемость элементов первого высказывания, надо восполнить некоторые недостающие звенья речевых цепей.

«Коллектив предприятия борется не только за то, чтобы выпускать больше продукции для народного хозяйства страны, но и за то, чтобы выпускать продукцию высокого качества».

Только при таком синтаксическом оформлении высказывания становится ясно, что здесь выражены (с помощью союза «не только, но и») градационные отношения между понятиями «объем продукции» и «качество продукции».

Во втором предложении тоже логически неправильно образован однородный ряд, так как первое понятие этого ряда (методика проведения), как более широкое, включает в себя два других понятия, как более узких, частных. Ведь и вопросы для обсуждения, и практические задания относятся к методике проведения занятий.

«На встрече были представлены избирателям кандидаты в депутаты городского Совета по избирательному округу № 47 сверловщица механического цеха № 8 завода коробок скоростей А. А. Пименова, а также районного — секретарь Автозаводского райкома КПСС В. Ф. Щелокова и распределитель работ механоэнергетического отдела металлургического производства Л. Н. Волина» (Из газет).

В этом предложении неправильно организован ряд однородных членов. Однородными здесь являются согласованные определения «городского» и «районного». Определения эти оказались так далеко отстоящими друг от друга, что их однородность не поддерживается структурой предложения. К тому же с точки зрения смысловых связей однородными должны быть здесь не определения, а подлежащие.

Ср. *На встрече были представлены избирателям кандидат в депутаты городского Совета по избирательному округу № 47 сверловщица механического цеха № 8 завода коробок скоростей А. А. Пименова, а также кандидаты в депутаты районного Совета — секретарь Автозаводского райкома КПСС В. Ф. Щелокова и распределитель работ механоэнергетического отдела металлургического производства Л. Н. Волина.*

б) Важным условием создания логичной речи является правильный порядок слов.

Порядок слов в русском языке «работает» в синтаксической структуре предложения и в его актуальном членении (членение смысловой стороны высказывания). В синтаксической структуре порядок слов определяет взаиморасположение компонентов словосочетания и общую организацию группы подлежащего и группы сказуемого.

Взаимное же расположение групп подлежащего и сказуемого определяется актуальным членением. На уровне актуального членения предложение членится на два компонента: тему — исходный пункт высказывания и рему — его коммуникативный центр, сообщающий обычно новое, неизвестное собеседнику. Расположение слов в высказывании зависит от того, в какой компонент актуального членения — тему или рему — они входят. Правильное логическое построение стилистически нейтрального высказывания в русском языке требует, чтобы тема предшествовала реме. Актуально важная информация тяготеет к концу высказывания. Нарушение этого правила приводит к нарушению логической последовательности изложения, к неясности смысловых акцентов в нем.

«Комиссия предложила перенять ценный опыт работы отделения другим профсоюзным организациям объединения».

В этом предложении неудачный порядок слов приводит к затемнению коммуникативной установки высказывания. Здесь не отделена четко тема от ремы. Наибо-

лее актуальная информация не вынесена в конец предложения.

Ср. *Ценный опыт работы отделения комиссия предложила перенять другим профсоюзным организациям объединения.*

Вот еще пример неудачного словорасположения в предложении.

«Напоминаю родителям, что без путевок дети на все базы отдыха не принимаются» (Из газет).

Неудачный порядок слов и здесь приводит к неотчетливости смысловых отношений в высказывании, к двусмысленности его содержания. (Можно понять, что на некоторых базах детей без путевок принимают.) Здесь следует вынести в начало предложения обстоятельство места и устранить слово *все*, тогда будет ясна его смысловая отнесенность ко всей оставшейся части высказывания.

Ср. *На базы отдыха дети без путевок не принимаются.*

«...Почти каждый пятый студент у нас учится на «хорошо» и «отлично». Казалось бы, кому, как не этим студентам, оказать помощь тем, кто только пришел на студенческую скамью, **поделиться личным опытом?**» (Из газет).

И здесь неверное расположение слов приводит к логической нечеткости выраженной мысли. Выделенное сочетание слов стоит явно не на месте, нарушая и затемняя семантические связи частей этого высказывания.

Ср. *Казалось бы, кому, как не этим студентам, поделиться личным опытом, оказать помощь тем, кто только пришел на студенческую скамью?*

в) Средством выражения и поддержания логичности в пределах высказывания могут стать и некоторые особенности его лексического наполнения.

Важным средством выражения логических связей и отношений между частями высказывания являются служебные слова — предлоги, союзы, частицы. Специально для выражения логических отношений между частями высказывания, а также между самостоятельными высказываниями служат вводные слова и словосочетания (*следовательно*, *итак*, *значит*, *во-первых*, *во-вторых*, *главное*, *иначе говоря* и др.). Служебные слова и слова вводные служат средством выражения логичности и на уровне отдельного высказывания, и на уровне связного текста.

Нарушают требования строгой логичности изложения так называемые плеоназмы, т. е. включение в речевую ткань высказывания лишних, избыточных по смыслу слов: *Перенестись* *теперь* *прошу* *сейчас* *за мною в спальню* (М. Лермонтов); *Все это и придает огромное значение подготовке к сессии, к экзаменам* (Из газет).

Плеонастическими являются сочетания типа «несколько грубоват», «более подробнее», «самая великолепнейшая» и др.

§ 4. Условия логичности на уровне связного текста:

а) Логичность как качество речи зависит от того, насколько ясно и правильно выражена языковыми средствами связь отдельных высказываний в тексте. Логика речи должна последовательно отражать логику мысли.

Ошибки, приводящие к нарушению речевой логичности за счет неправильного соединения рядом стоящих предложений (или за счет невыраженности этого соединения),— весьма распространенный случай речевых логических ошибок.

«На биофаке 8 кружков, которые работают при кафедрах. Многие из них существуют уже более 20 лет» (Из газет).

Что существует более 20 лет? Кружки или кафедры? Здесь неправильно выражена смысловая связь этих двух высказываний.

Есть разные средства выражения связи самостоятельных предложений в речи. Среди них — лексические: лексический повтор, употребление синонима, использование анафорического местоимения. В анализируемом предложении как раз и использовано анафорическое местоимение как способ смысловой отсылки второго высказывания к первому. Анафорическое местоимение выступает заместителем имени существительного. Но в первом предложении два существительных множественного числа, и к каждому из них может быть отнесено местоимение «из них». Чтобы избежать возникшей двусмысленности, следовало применить здесь другой способ связи самостоятельных предложений — лексический повтор:

Ср. *На биофаке 8 кружков, которые работают при кафедрах. Многие из этих кружков существуют более 20 лет.*

Есть и другой вариант редакции этого куска текста: нужно перестроить первое предложение так, чтобы ана-

форическое местоимение второго предложения могло быть соотнесено только с одним существительным:

На биофаке при кафедрах работают 8 кружков. Многие из них существуют более 20 лет.

С точки зрения стилистической подобная редакция предпочтительнее: компактнее стало первое предложение, и нет повторения на небольшом речевом пространстве одного и того же слова.

«Стало традицией дважды в год проводить встречи сотрудников кафедры со студентами, на которых рассказывается о научных исследованиях, проводимых на кафедре» (Из газет).

Здесь неудачно соединены предложения в составе сложного. Союзное слово *который* слишком далеко стоит от своего ведущего слова.

Важным средством выражения связи между самостоятельными предложениями являются союзы, союзные слова, вводные слова и словосочетания, которые конкретизируют характер смысловых отношений между рядом стоящими предложениями.

«Отмечалось, что в целом эстафетный пробег прошел на высоком организационном уровне. Из-за нечеткой работы стартовой судейской бригады в забеге команд второй группы допущена ошибка, что сказалось на результате» (Из газет).

В таком виде эти два рядом стоящих высказывания не дают логично связанного текста из-за промахов и синтаксических, и лексических. Отчетливая нелогичность такого соединения частично устраняется, если в начале второго предложения поставить противительный союз *но* или *однако*.

Невнимание к союзам как средству связи самостоятельных предложений в тексте, употребление союзных средств, не соответствующих характеру смысловых отношений между предложениями, приводит к нарушению логичности текста, затрудняет следование за ходом авторской мысли.

«Факультет разбивает свою концертную программу на две части: в первой исполнялись классические произведения, во второй — современные песни, выступление «Ренессанса». Может, такое построение программы и оправдано: есть возможность показать, что на факультете знают и классику, и современное искусство, но *тем не менее* в первой части было несколько лишних номеров, программа несколько растянута. Особенно много было танцев. *Однако* выступление ансамбля «Эврика» показывает, что на истфиле серь-

езно занимаются хореографией, и в этом направлении сделано немало интересных находок» (Из газет).

Этот отрывок текста с точки зрения логичности организован плохо. За ходом мысли автора следить трудно. Мешает этому, например, неправильное употребление некоторых союзов, которые не способствуют здесь раскрытию и конкретизации смысловых отношений между самостоятельными предложениями и частями сложного; семантика союза вступает в конфликт со смысловыми отношениями, которые дает контекст.

Союз *но тем не менее* выражает уступительное противопоставление и должен был присоединить предложение, сообщающее о явлении, которое существует вопреки явлению, выраженному первым предложением. Но этого значения в тексте нет. Ведь наличие лишних номеров в программе, ее растянутость никак не связана с ее делением на две части. Логически не мотивировано и употребление союза *однако*. Переходы, взаимосвязь мыслей выражены очень небрежно, что и приводит к логической нестрогости и непоследовательности текста.

б) Обозначение переходов от одной мысли к другой — тоже важное условие создания логичной речи. И условие это довольно часто нарушается. Пишущий или говорящий пропускает некоторые звенья в развитии мысли, вернее, не материализует их в речевой форме.

Необозначенность переходов от одного сообщения к другому может привести к прямому комизму:

«Вниманию автолюбителей. Саткинский комбинат бытового обслуживания принимает заказы на изготовление металлических гаражей и замков к ним. В настоящее время имеются в наличии металлические памятники по цене от 9 рублей до 14 рублей за штуку» (Из газет).

в) Важным средством логической организации связного текста является его членение на абзацы.

Абзац — это отрезок письменного текста от одной красной строки до другой. В плане содержательном абзац служит выражением законченности части целого, отдельного звена в общей динамике мысли и переход к следующей части, к следующему звену мысли. Правильно организованные абзацы очень помогают следить за логикой авторской мысли. Неумение членить текст на абзацы приводит к снижению логичности речи, заметно затрудняет ее восприятие.

«Я думаю, никто не сомневался, что историко-филологический факультет займет первое место. Это уже стало традицией. Что ж, на то они и гуманитарии. Истфил всегда разбивает свою концертную программу на две части: в первой исполнялись классические произведения, во второй — современные песни, выступление «Ренессанса»... (Из газет).

Несомненно, что в этом отрезке текста должно быть два абзаца, ибо здесь две достаточно независимых друг от друга части смыслового содержания. В первой говорится о традиции факультета занимать первое место в смотре художественной самодеятельности, а во второй говорится о построении программы и ее характере.

г) Существен для оформления текста с точки зрения его логичности и выбор синтаксических структур, адекватных характеру выражаемого содержания. Нарушать логичность могут как неоправданное дробление мысли (через выражение ее преимущественно простыми предложениями), так и ее излишняя усложненность (немотивированное стягивание в одно сложное предложение группы законченных предложений).

«Положительным можно считать и то, что в основу композиции были положены материалы о становлении и развитии университета, но мне композиция в целом показалась незаконченной и слабой, несмотря на то, что жюри признало ее лучшей» (Из газет).

Этот отрезок текста следовало расчленить на два сложноподчиненных предложения. Дело в том, что первая часть этого предложения в смысловом отношении несамостоятельна, она продолжает (вернее, завершает) оценку положительных сторон художественной композиции. Отсюда отсылка к предыдущему тексту («Положительным может считаться и то...»). Завершенность этой части смысла и надо было обозначить точкой. Второе предложение (после точки) будет выражать оценку композиции концерта автором и жюри. Выделение в тексте двух сложных предложений повысило бы его логичность.

д) Логичность на уровне целого текста (а не его частей) зависит от его композиции, от метода организации излагаемого содержания.

«Уже в древности возникло представление о композиции как логике развития темы ораторской речи. Существовали разнообразные схемы композиционного построения речи: двух-, трех-, четырех-, пяти- и даже семичленные. Выдержало испытание временем трех-

частное построение, лучше всего создающее ощущение цельности изложения и, очевидно, более всего сообразное природе вещей. Речь не является, конечно, механическим сцеплением этих частей, она представляет собой единое, живое целое, стержнем которого является основная идея и замысел оратора» [83, 68].

Е. А. Ножин говорит здесь о композиции ораторского выступления, но требование логической ясности композиции применимо, разумеется, практически к любому тексту. Конечно, законы композиции текста во многом определяются конкретным жанром речевого произведения. Но трехчастное построение (вступление, основная часть, заключение) — почти универсальный закон построения нехудожественного текста. (Композиция художественных произведений подчиняется более сложным законам и должна рассматриваться особо.) Доклад, лекция, научная статья, школьное сочинение, объяснительная записка, отчет, газетная статья, очерк — все эти виды речевых произведений тяготеют к трехчастному построению как наиболее удачному способу организации передаваемого содержания. Трехчастная композиция наиболее соответствует логике выражения мысли.

Вступление, или вводная часть, необходимы, чтобы подготовить читателя или слушателя к восприятию основного содержания, ввести его в тему сообщения. Наличие вводной части, не содержащей основной информации, оправдано и психологически — читающему или слушающему нужно время, чтобы мобилизовать, активизировать внимание, подготовиться к восприятию наиболее важной информации. Структура вводной части, ее объем и удельный вес в целом тексте варьируются весьма существенно в разных типах речи, в разных речевых жанрах.

Основная часть содержит изложение основного содержания данного текста. Эта часть наиболее значительна по объему и наиболее значима, ответственна в процессе коммуникации. Строгая логическая организация этой части, последовательность в развитии мысли и ее изложении, доказательность положений, связанность всех высказываний в единое смысловое целое — все эти требования логического оформления текста здесь максимально значимы.

Заключение закрывает композиционную рамку тек-

ста: «*Конец речи должен закруглить* ее, то есть связать с началом <...>*Конец — разрешение всей речи*<...> конец должен быть таким, чтобы слушатели почувствовали <...> *что дальше говорить нечего*»,— писал А. Ф. Кони [*65*, 69].

Подобная характеристика функциональной роли заключения в целом тексте может быть отнесена не только к лекции (именно о структуре лекции говорил А. Ф. Кони), но и к другим речевым жанрам. Заключение подводит итоги сказанному, намечает дальнейшие перспективы развития темы и др.

Цельность и стройность логической организации текста, четко выраженные переходы от одной части к другой — все это поможет создать речевое произведение органично цельное, внутренне стройное и завершенное. Именно о такой цельности замечательно сказал Платон: «Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо,— у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг другу и соответствовать целому» [*83*, 68].

Логичность как общее коммуникативное качество свойственно любому типу речи, ибо она опирается на связь язык — мышление, а законы мышления одинаковы для всех людей и для всех коммуникативных ситуаций. Но проявляется это речевое качество весьма специфично — в зависимости от конкретных условий коммуникации. Своеобразно преломляется логичность как речевое качество в тех структурно-функциональных вариантах языка, которые называются его функциональными стилями. Требования, предъявляемые речи со стороны ее логичности, особенно высоки в научном стиле. Научное изложение наиболее жестко подчинено законам логики.

Научный стиль языка существует как его структурно-функциональный вариант, обслуживающий сферу научного общения. «Наука есть один из наиболее эффективных способов д о б ы в а н и я нового знания о мире, одна из наиболее совершенных форм н а к о п л е н и я и с и с т е м а т и з а ц и и знаний, опыта, одна из наиболее экономичных систем обмена знаниями в обществе, их п е р е д а ч и и в о с п р и я т и я» [*36*, 5].

Научная деятельность включает в себя: 1) сам процесс научного познания, процесс поиска научной истины, нового знания и 2) сообщение результатов научного

познания, оформление их как речевого сообщения для других.

Разнообразные формы научной речи именно и существуют как сообщение о результатах научного поиска, как речевое оформление нового научного знания. Передача новой научной информации должна осуществляться таким образом, чтобы она была понята, воспринята другими людьми (и конечно, со значительно меньшими затратами труда, чем для самого исследователя) и признана верной, истинной. Поэтому научное описание обычно имитирует процесс познания. Читатель должен как бы пройти заново те этапы, которые прошла мысль ученого, идя последовательно от известного к неизвестному, от посылки — к выводу, от вывода как новой посылки — к новому выводу. Именно тогда результат, к которому приходит автор, будет для читателя понятным и убедительным. Ясно, что при этих условиях описание должно быть предельно логичным. Научное описание ведется в строгом соответствии с законами логики, как речевая реализация логического мышления, ибо законы логики универсальны, объективны, являются результатом обобщения, отражения в нашем сознании наиболее общих свойств, законов реальной действительности.

Итак, логичность — одно из самых существенных качеств научной речи. Научный текст строится по принципу открытой логичности [*36*], причем принцип этот проявляется и в организации плана содержания, и в оформлении плана выражения.

С точки зрения организации плана содержания это проявляется, например, в том, что научная речь «п р и н ц и п и а л ь н о   б е с п о д т е к с т н а» [*36*, 25]. Содержание научного произведения раскрывается одноплановую, линейно. Всякая скрытая логика, иносказательность, намек здесь запрещены. Весь объем содержания выражается непосредственно в прямых значениях языковых единиц. Для сравнения: содержательный план художественного произведения может представлять собой довольно сложную систему «уровней». Во многих видах художественной речи за прямым, непосредственным содержанием усматривается второй содержательный план — наиболее существенный с точки зрения раскрытия художественной идеи. В научном описании это принципиально исключается. Правда, в отдельных науч-

ных произведениях можно встретиться и с нарушением этого принципа, когда, например, в полемической запальчивости автор не может скрыть неприязненного отношения к оппоненту, позволяет себе иронические выпады, намеки. Иногда можно встретиться с фактами скрытой полемики, которая может быть понята только «посвященными», но это все в научном стиле не общее правило, а отступление от него — это не часто применяемые приемы в научной полемике.

Открытая логичность в организации плана содержания в научном стиле требует, чтобы содержание научного произведения воспринималось однозначно всеми, чтобы была исключена возможность разночтения, непонимания. В этой связи чрезвычайно важно однозначное функционирование научных понятий, постоянство их содержательного плана. Правильное, непротиворечивое функционирование научных понятий, обозначаемых научными терминами, четкое и логически правильное определение вновь вводимых понятий — непременные условия хорошей научной речи. «Определяйте значения слов — и вы избавите мир от половины его заблуждений» — это высказывание Декарта приобретает особую значимость, когда мы говорим о научной речи. А между тем ошибки в использовании научных понятий (и соответствующих им терминов), ошибки при определении новых понятий — явление, весьма распространенное в научной литературе. Нечего и говорить, насколько это затрудняет процесс научного общения, снижает эффективность научных произведений. Вот почему так актуальны в современной науке проблемы терминологии. Ощущается настоятельная необходимость построения хороших определений терминов, описания стройных терминосистем. Немало в лингвистике многозначных терминов, неясных, неопределенных в своей понятийной сущности (а значит, в принципе, и нетерминов). Можно в качестве примера сослаться на такие термины, как «знак», «текст», «стиль», «речь». Они не имеют общепринятого понимания, используются в разных значениях, и это, конечно, чрезвычайно затрудняет научное общение.

§ 6. Принцип открытой логичности в организации плана содержания проявляется и в особенностях актуального членения. Для научной речи характерна отчетливая выраженность обоих компонентов актуального

членения (ср., например, разговорную речь, для которой типично ощущение темы в ответных репликах диалога). Ориентация на логическую последовательность и полноту в научном тексте почти исключает речевой эллипсис, и случаи неоформленности темы здесь почти отсутствуют.

Так как научное описание имитирует процесс познания, передает последовательный ход логических рассуждений автора, то здесь чрезвычайно важна организация актуальной связи высказываний. Отчетливая актуальная расчлененность отдельных высказываний на тему и рему сочетается в научном описании с отчетливой выраженностью актуальной связи соседних высказываний. Автор научного произведения должен вести мысль читателя последовательно и постепенно через этапы познания, должен подавать новую информацию как доказательство, опирающуюся на фундамент известного, как логически вытекающую из данных опыта или из рассуждения, из системы доказательств, сопоставлений и т. п. Эта опора на фундамент известного, эта поступательность движения мысли от данного к новому и возникает за счет содержательной (актуальной) связи соседних высказываний. Вот почему эта связь, существенно важная для многих видов речи, для речи научной существенна в наибольшей степени. Ведь если нарушится эта содержательная связь высказываний, читатель легко может упустить логическое звено в цепи рассуждений и сообщаемая научная информация может быть не понята или воспринята неадекватно. По наблюдениям А. В. Клениной, «актуальная связь в научном тексте возникает в результате воспроизведения компонентов актуализированного содержания первого предложения в последующем (-щих)» [*53*, 11]. Во-первых, содержательная связь высказываний может осуществляться таким образом, что известное из предыдущего контекста содержание воспроизводится в последующих предложениях в их тематических частях. Это значит, что развитие, динамика текста идет «путем интенсивного накопления в нем абсолютно новой информации за счет рематических частей сочетающихся предложений» [*53*].

Но содержательная соотнесенность высказываний может осуществляться и при активном участии рем последующих высказываний. Это значит, что известная,

данная информация воспроизводится еще раз как коммуникативно актуальная. «Появление известных смыслов не только в темах, но и в ремах предложений обусловлено спецификой научной коммуникации, в процессе которой, наряду с сообщением абсолютно новых сведений, осуществляется толкование, пояснение, иллюстрация предыдущего содержания. С помощью видов связи этой группы производится не активное накопление новой информации в тексте, а варьирование, углубление, обогащение предыдущего содержания. Развитие текста таким путем оптимально отвечает направленности научного стиля — «доказывать истину» (Ш. Балли).

Эти виды актуальной связи высказываний действуют в научном тексте одновременно, организуя его содержание как логически стройное и последовательное и вместе с тем как доступное, доказательное, убедительное. Но в разных жанрах научной речи может быть более активен один из них. Например, в учебных и в научно-популярных произведениях автор чаще должен прибегать ко второму виду актуальной связи, а в собственно научных произведениях (особенно в малых жанрах и при тезировании) актуализируется первый способ, когда почти каждое предложение сообщает новую информацию.

Смысловая координация актуально сочетающихся высказываний выражается при помощи лексического повтора, местоименной или местоименно-субстантивной замены, синонимической замены и пр.

Принцип открытой логичности проявляется в особенностях синтаксиса научной речи. Последовательная логичность изложения предполагает легкодоступность восприятия адресатом тех связей между понятиями, которые создают логическую целостность высказываний и текста в целом. Этим, по-видимому, объясняется отмечаемое многими исследователями преобладание подчинительных конструкций в научном описании.

Открытая логичность как принцип организации научного текста предполагает тесную взаимосвязь элементов речи на всех ступенях синтаксической структуры (словосочетание, предложение, сложное целое) и четкую выраженность этой связи. Отсюда — активное использование в научном тексте всякого рода показателей связи — союзов, союзных слов, предлогов, частиц,

соотносительных слов. Очень активны в научной речи модальные слова, специально предназначенные для выражения логических отношений между частями высказывания и между самостоятельными высказываниями (*следовательно, итак, значит, во-первых, главное* и пр.), а также вводные и вставные конструкции (словосочетания и предложения), призванные уточнять содержание высказывания, ограничивать его объем, вводить необходимые пояснения, указывать источник информации и др.

Логичность как существенное качество научной речи проявляется и в особенностях композиции научного произведения, где трехчастное построение (введение, основная часть, заключение) — почти универсальный закон. (Ср., например, композицию художественных произведений, которая подчиняется гораздо более сложным законам, возникает как результат взаимодействия множества параметров, среди которых и жанр, и форма художественной речи — прозаическая или стихотворная, и логика развития художественной идеи, и многое другое.)

Основные жанры научной речи — статья, доклад, лекция, монография — отчетливо тяготеют к трехчастному построению как наиболее удачному способу логической организации передаваемой научной информации. Трехчастная композиция наиболее соответствует логике выражения мысли.

Таким образом, и план содержания, и план выражения в научном произведении организуются в строгом соответствии с принципом открытой логичности.

§ 7. Логичность в художественной речи носит весьма специфический характер. Конечно, основные законы логики как законы правильного мышления должны соблюдаться и здесь. И применительно к речи художественной сохраняются условия логичности, о которых говорилось выше. Последовательность, непротиворечивость изложения, отчетливое выражение связи между высказываниями должны, как правило, выдерживаться и в тексте художественном. Но критерии логичности художественной речи весьма существенно осложняются требованиями выражения художественной мысли. Логичность художественной речи существует как внутреннее единство, а точнее, взаимодействие двух запечатленных в ней устремлений автора — к отражению дей-

ствительности и к выражению художественной идеи в условиях конкретного литературного жанра. И в этом взаимодействии предметная или понятийная логичность речи может быть поколеблена во имя логики и сцепления художественных образов.

Всякое произведение искусства — условно, т. е. не может рассматриваться как полный аналог тем явлениям действительности, о которых в нем говорится, даже при большой к ним близости. Если научный текст принципиально бесподтекстен, то содержательный план художественного произведения может представлять собой довольно сложную систему содержательных уровней. Во многих видах художественной речи за прямым, непосредственным содержанием усматривается второй содержательный план, наиболее существенный с точки зрения раскрытия художественной идеи. Символ, аллегория, иносказание — простейшие случаи этой двуплановости художественного содержания. Лермонтовский «Парус» это, конечно, не только картина одинокого паруса в море, и «Песня о Буревестнике» Горького — не словесный портрет птицы. Являясь конкретными, предметно отнесенными, образы эти имеют и иной смысл. Но этот второй, символический смысл выражен в прямом предметном значении, которое и сохраняет предметную отнесенность художественного образа. Более сложным выражением смысловой двуплановости произведения является художественный подтекст, когда прямой содержательный план имеет значение и сам по себе, и как способ выражения затекстового содержания.

При смысловой многоплановости критерии предметной логичности существенно меняются. Здесь важен, например, точный выбор объекта, который будет воплощением художественной идеи. Он должен иметь в своей индивидуальности черты, которые позволили бы ему символизировать определенное содержание.

В художественном произведении может своеобразно проявляться и понятийная логичность. Существенным условием соблюдения в речи понятийной логичности является требование логической сочетаемости слов. Выше приводились примеры речевых алогизмов, возникших из-за нарушения этого условия. Но вот этот внешний алогизм как соединение несоотносимых, противоречащих друг другу понятий в художественной речи используется

как стилистический прием. Существует особая стилистическая фигура речи — оксюморон — «сочетание контрастных по значению слов, создающих новое понятие или представление, например, «сухое вино», «честный вор» [*52*, 181]. На оксюмороне построены названия некоторых художественных произведений — «Мертвые души», «Живой труп», «Оптимистическая трагедия» и др.; примеры оксюморона можно найти в поэтических и прозаических текстах:

О как мучительно тобою счастлив я! (А. Пушкин); *Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг* (М. Лермонтов); *Смотри, ей весело грустить Такой нарядно обнаженной* (А. Ахматова).

В романе А. Крона «Бессонница» есть выразительный пример оксюморона: *Известно, что сказал бы по этому поводу мой притаившийся где-то выкормыш, мой заклятый дружок, мой закадычный враг, к которому у меня уже нет личного ожесточения, а есть только стойкое неприятие* [«Новый мир», 1977, № 4, с. 60].

Пример этот интересен тем, что два оксюморных выражения построены за счет расщепления фразеологических сочетаний и взаимной замены компонентов. Это делает оксюморон еще более выразительным, экспрессивным.

Соединение в однородный ряд неоднородных понятий, строго запрещенное в нехудожественной речи, тоже используется мастерами художественного слова как средство художественной выразительности. Такие «однородные неоднородности» можно встретить, например, у К. Паустовского: *По вечерам бульвары розовеют от пыли и заката*; *В ту же минуту ветер обрушил на меня мутный водопад соли, водорослей и тьмы*; *Через час огонь маяка сверкал, синий и равнодушный, у борта шхуны* («Романтики»).

Явная нелогичность сочетающихся слов в художественной речи может использоваться как средство создания комического эффекта. Подобные алогизмы как средство сатирического изображения часто использовал Н. В. Гоголь: *Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну и поговаривали даже, что был представлен к звезде, впрочем, был большой*

добряк и даже сам вышивал по тюлю («Мертвые души»).

Используется такой прием и современными сатириками.

Итак, алогизм в художественной речи может быть использован как «стилистический прием, близкий к оксюморону; умышленное нарушение в литературном произведении логических связей с целью подчеркнуть внутреннюю противоречивость данного положения (драматического или комического)» [*52*, 21].

На алогизме могут быть построены почти целиком стихи юмористического или шуточного характера: афоризмы и басни Козьмы Пруткова, пародии.

В прозаических произведениях, передавая в диалогах особенности речи героев или воспроизводя их размышления через внутреннюю речь, писатель может сделать речь нелогичной, если это соответствует характеристике персонажа, отражает особенности его индивидуального сознания. Логичность художественной речи опирается на логичность общеречевую. Именно сдвиг, нарушение последней может стать художественным приемом. Алогизм как стилистический прием, как средство выразительности возможен именно потому, что он опирается на общеречевую логичность.

Таким образом, логичность художественной речи весьма специфична, но при этом она опирается на логичность как общее качество хорошей речи, ибо законы логики, т. е. законы правильного мышления, едины. Разумеется, в художественной речи (в ее нелучших образцах) могут нарушаться и обычные требования логичности, и тогда может возникнуть алогизм не как стилистический прием, а как нарушение предметной или понятийной логики. Значит, в речи художественной логичность как ее свойство имеет два аспекта — аспект общей речевой культуры и аспект культуры речи художественной.

ГЛАВА 7

ЧИСТОТА РЕЧИ

§ 1. Коммуникативное качество речи — ее чистота — получает истолкование и может быть описано на базе соотношения речи с литературным языком и нравственной стороной нашего сознания. Чистой мы называем такую речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов (прежде всего слов и словосочетаний) и нет элементов языка, отвергаемых нормами нравственности; правда, вторая часть нашего определения могла бы и не формулироваться, потому что в литературный язык общество обычно не допускает слов, если на выражаемые ими понятия наложено социальное veto.

Чистота речи давно беспокоит больших писателей, ученых-филологов, педагогов, пропагандистов социалистической культуры.

Советское общество заинтересовано в осуществлении широкой системы образовательных и воспитательных мер, целью которых является развитие общей и речевой культуры человека, в частности искоренение из речи людей языковых средств, которые разрушают ее чистоту.

Какие же это средства? Это так называемые диалектизмы, т. е. слова и другие знаки языка, свойственные не общему языку народа (в наши дни — языку литературному), а местным говорам, или диалектам. Это, далее, так называемые варваризмы, т. е. включаемые в речь безо всякой надобности иноязычные слова и словосочетания. Это так называемые жаргонизмы, т. е. слова и словесные обороты, возникающие и применяемые в жаргонах — узкогрупповых «ответвлениях» от языка народа, обслуживающих замкнутые в пределах группы потребности общения. К числу средств, чуждых лите-

ратурному языку и требованиям нравственности, принадлежат так называемые вульгаризмы, т. е. слова и выражения, грубо, вульгарно обозначающие какой-то круг предметов и явлений жизни и унижающие достоинство и честь человека. К числу этих средств относятся бранные слова и обороты речи, прямо и недвусмысленно оскорбляющие людей. Наконец, перечисляя средства языка, засоряющие речь, нужно назвать и слова-паразиты, каждое из которых само по себе не вызывает никакого осуждения, однако навязчивое, частое повторение таких слов в речи делает их чуждыми задачам общения.

Особого обдумывания, в связи с вопросом о чистоте речи, требует применение в ней так называемых канцеляризмов, т. е. слов и оборотов, типичных для делового стиля, но лишних, ненужных в других языковых стилях, в особенности в стиле художественном и разговорно-бытовом.

§ 2. Защитники диалектного своеволия в литературной речи находятся и в наши дни. Им кажется, что местные, областные слова, введенные в литературную речь, делают ее «народной». Такие защитники «народности», к сожалению, не понимают того, что великолепно выразил А. М. Горький в известных словах: «Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надо обрабатывать его» [*76*, 330].

Народный язык нельзя противопоставлять литературному, особенно в наше время. В условиях социализма, в условиях бурного роста культуры всех слоев советского общества и стирания граней между умственным и физическим трудом литературный язык безраздельно становится единственной, высшей формой языка народа. Ослаблено и былое, достаточно резкое противоположение языка «книжного» и языка «разговорного». Литературный язык имеет ныне две формы — книжно-письменную и разговорно-устную. И речевое творчество народа все шире протекает в пределах самого литературного языка, не нарушая его норм, а поддерживая и с течением времени видоизменяя их.

Одна из самых сильных тенденций развития лите-

ратурных языков нового времени — это тенденция к строгому единству, а значит, к укреплению норм. Действием этой тенденции и стоящих за ней потребностей общества объясняется борьба передовых литераторов и общественных деятелей за чистоту языка, за устранение из речи областных словечек и оборотов. Здесь уместно вспомнить предложенные ранее читателю раздумья о языковой норме и о том, что она, видимо, не столь решительно командует в области лексики и лексической семантики, как в области произношения, ударения, словообразования, морфологии и синтаксиса. Однако «запрет» на диалектизмы можно и нужно рассматривать как результат действия (пусть и ограниченного в сфере лексики) языковой нормы.

Конечно, вопрос о диалектизмах и возможности их применения в литературной речи непрост. И дело не только в том, что художнику слова областные элементы языка могут понадобиться для создания определенного речевого колорита, связанного с местом жительства людей и определенным временем передаваемых событий. Тургенев, изображая среднерусскую деревню, прибегал к орловско-курским словечкам. Л. Толстой, рисуя жизнь донских казаков, применял свойственную им лексику, хотя и очень осмотрительно. Шолохов не смог бы создать реалистические образы деда Щукаря или Григория Мелехова, не прибегая к речи донских казаков.

Во-первых, местные слова допустимы, если того требует художественная целесообразность, прежде всего в речи персонажей, а не в речи авторской. (Вспомним более жесткую позицию Чехова, по мнению которого даже лакеи должны говорить в произведениях литературы без «пущай» и «теперича»). Во-вторых, вне пределов художественного стиля диалектизмы оказываются нежелательными, кроме случаев, когда именно они становятся предметом наблюдения и описания в научной статье или корреспонденции журналиста.

«Непростота» вопроса о применении диалектизмов в литературной речи объясняется еще и тем, что за счет диалектизмов удовлетворяются некоторые потребности языка в новых словах. Идет непрерывный, хотя и неширокий и несильный, процесс пополнения словарного состава литературного языка словами из местных диалектов. А это означает, что применительно к таким

словам перестают действовать жесткие ограничения нормы; если же слово еще не утвердилось в литературном языке и не утратило печати своего диалекта, оно неизбежно будет вызывать различные мнения о допустимости его применения в литературной речи.

§ 3. Об отношении к употреблению в литературной русской речи иноязычных слов говорилось не раз — и очень авторитетными представителями науки, литературы и общественной жизни. Так, В. Г. Белинский писал: «Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания, противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, т. е. неумеренный пуризм, производит те же следствия, потому что крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и верный: это — его же собственный дух, гений. Вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают» [*76*, 172].

Интересен взгляд на иностранное слово в русской речи молодого Л. Толстого: «Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдет, а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело» [*76*, 289].

По-видимому, вот это «ежели хочешь блеснуть» и побуждает многих пишущих и говорящих, особенно на темы газетно-публицистические и научные, вставлять в речь без всякой необходимости иноязычную лексику, несмотря на то, что она мешает общению, в особенности если применяется в неотчетливом значении.

Вот авторитетное мнение А. М. Горького: «Было бы, пожалуй, гораздо полезней, если б все мы писали проще, экономнее, так «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно», а не так, например:

«...мы должны отвергнуть тенденцию к аполитации дискуссии».

Ведь можно сказать менее премудро: мы отвергаем намерение устранить политику из наших споров. Нет ничего такого, что нельзя было бы уложить в простые и ясные слова. В. И. Ленин неопровержимо доказывал это» [*76*, 355].

В. И. Ленин придавал большое значение доступности, действенности речи и осуждал неумеренное стремление пестрить русскую речь иноязычными словами. В статье «Об очистке русского языка» Ленин писал: «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык.

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?» [9, 49].

Можно усмотреть нечто общее в отношении к иноязычным словам представителей русской классической литературы и критики — и в отношении к тем же словам В. И. Ленина. Но Ленин строже, отчетливее, категоричнее формулирует социальную задачу — объявить войну употреблению иностранных слов без надобности, объявить войну коверканью русского языка.

30 января 1974 г. «Литературная газета» опубликовала статью члена-корреспондента АН СССР Н. Федоренко «Не перевести ли на русский?». В статье речь идет о проникновении в русскую научную прозу наших дней не вызываемых никакой необходимостью инозем-

ных слов-терминов. Правда, Н. Федоренко взял лишь одну область научного знания — литературоведение; но и в других областях науки положение едва ли лучше.

Н. Федоренко пишет: «В ряде статей широко используются такие слова, как «тренд», «секуляризация», «дискретность», «детант», «интерперсонализация», «доминанта», «конформизм», «нонконформизм», «антиконформизм», «масс медиа», «истеблишмент», «хеппенинг», «бестселлер» и т. д. Их применение стало чуть ли не самым хорошим тоном. Наряду с отдельными иноязычными терминами используются различные словосочетания. Приведу несколько иллюстраций: «методологическая концепция эстетического прогресса», «реальные потенции аналитического метода», «с позиций формально-компаративистской методологии», «типологический анализ эстетической структуры», «исторические параметры», «атомизирующие и механизирующие тенденции в процессе научно-технической революции»...

Тут количество явно на грани перехода в качество, имя которому — потеря чувства меры. Не может не возникнуть вопрос: неужто русский язык действительно оскудел, обеднел литературоведческими терминами, а потому заставляет вновь и вновь обращаться к спасительным иноязычным заимствованиям?

Указывая на «потенциальную тенденцию к социальному отказу», автор одной «ученой» статьи говорит об «антиинституционной и антитрадиционной позиции интеллектуалов». Им поднимается также проблема «вторичной традиции интеллектуалов: сентизм, популизм, национализм и прочее, которые зародились в среде «неинституционализированных интеллектуалов», и поясняется, что «современный интеллектуал институционализируется ускоренными темпами».

А затем целый каскад: «аморфность категории «интеллектуал» в современной буржуазной социологии... признак элигизма... атрибут любой концепции «интеллектуала» может по конъюнктурным соображениям раствориться в массе интерпретирующих»... Или: «колоритнейшая парадигма предвизантийского западно-восточного синтеза»...

Разве не напрашивается здесь перевод на русский язык? Только прискорбной невнимательностью к родной речи объясняется порой недостаточная разборчивость в подборе и взвешивании каждого слова или тер-

мина иноязычного происхождения, готовность обрести в иностранной терминологии панацею и «философский камень».

Можно не согласиться с Н. Федоренко в оценке отдельных терминов, но нельзя не видеть его большой правоты в оценке явления в целом.

Для осуществления поставленной Лениным задачи многое сделано, но многое требует дальнейшего усиления ответственности за состояние нашей речи, за меру ее воздействия на читателя и слушателя — это тем более справедливо, что любители «блеснуть» иноземным словечком, вставить его в речь, когда в этом нет никакой необходимости, не перевелись еще в нашем обществе.

§ 4. Еще один источник, из которого проникают в литературную речь словесные сорняки, это жаргоны — своего рода социальные мини-варианты языка, имеющие замкнутую сферу применения и специфический набор не выходящих, как правило, за ее пределы слов и выражений. Жаргоны нужны в качестве средства общения внутри небольшой социальной группы, и вместе с тем они служат этой группе в качестве средства обособления внутри большого социального коллектива — общества. Давно известно «воровское арго» — жаргон преступников. В старой России был свой жаргон в духовных семинарах — бурсах; был в России свой жаргон у разъездных мелких торговцев — офеней. Есть свой жаргон у учащихся старших классов и студентов и т. д.

§ 5. Еще большую нравственную настороженность и неприятие в среде людей с достаточно развитой культурой самосознания вызывает бранная лексика и фразеология. Такая культура предполагает взаимное уважение людей, понимание того, что в этом нуждаешься не только ты сам, но и все, кто тебя окружает, кто с тобой работает и живет. В условиях строительства коммунистического общества проблема нравственного облика людей приобретает все большее значение. XXV съезд КПСС заявил об этом вполне ясно. В Отчетном докладе съезду, сделанном Л. И. Брежневым, сказано: «Мы добились немалого в улучшении материального благосостояния советского народа. Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. Необходимо, однако, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и куль-

турного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мещанской, мелкобуржуазной психологии. Этого нельзя упускать из виду.

Чем выше поднимается наше общество в своем развитии, тем более нетерпимыми становятся еще встречающиеся отклонения от социалистических норм нравственности. Стяжательство, частно-собственнические тенденции, хулиганство, бюрократизм и равнодушие к человеку противоречат самой сути нашего строя. В борьбе с подобными явлениями необходимо в полной мере использовать и мнение трудового коллектива, и критическое слово печати, и методы убеждения, и силу закона — все средства, находящиеся в нашем распоряжении» [*22*, 78].

В докладе Л. И. Брежнева «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» сказано: «За годы Советской власти неизмеримо обогатилась духовная жизнь народа, выросли его культурный уровень и политическая сознательность. Весь ход нашей истории после Октября показал, какие высокие морально-политические качества воспитаны в советских людях, какие бессмертные подвиги способен совершать советский человек, свободный, сознательный труженик, патриот и интернационалист. В этом одно из самых бесценных завоеваний социализма.

Однако все это не означает, что политико-воспитательные и идеологические задачи, стоящие перед нашим социалистическим обществом, уже решены. Не секрет, что у нас до сих пор еще нередко дают себя чувствовать такие унаследованные от прошлого, чуждые социализму по своей сути социальные болячки, как недобросовестное отношение к труду, расхлябанность, недисциплинированность, стяжательство, различные нарушения норм социалистического общежития. Партия считает своим долгом обращать внимание всего нашего общества на эти явления, мобилизовывать народ на решительную борьбу с ними, на их преодоление, ибо без этого нам коммунизма не построить» [*21*, 56].

Воспитание высокой нравственности — одна из главных задач строительства коммунизма. Так говорит обществу, советскому народу Коммунистическая партия.

Это, в частности, означает, что брань, сквернословие несовместимы с нашими убеждениями и с нашими обязанностями по отношению к обществу и друг другу.

В словесной брани всегда присутствует отзвук если не хулиганства, то во всяком случае равнодушия к другому. А между тем брань, сквернословие — явление не столь редкое. Достаточно пройти вечером по улицам и площадям любого города, достаточно побывать в общежитиях и на заводах, чтобы услышать, как некоторые люди, и молодые и пожилые, кто бездумно, а кто и с умыслом пересыпают свою речь нецензурными, унижающими честь и достоинство человека словами. В новой Конституции СССР говорится: «Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество» (Ст. 57).

«Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.

Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР» (Ст. 59).

Ни у кого не должно быть сомнения в том, что сквернословие — это тяжелый проступок, граничащий с преступлением. В свое время, еще в 1952 г., писатель Ф. Гладков со страниц «Литературной газеты» бросил призыв объявить войну «позорному пережитку» — сквернословию. Ф. Гладков писал: «В нашем быту есть еще заразительные пережитки, которые держатся упорно, как трудно излечимый порок <...> К таким пережиткам... я отношу сквернословие и всякую похабщину, вошедшую в язык некоторых людей... Это блудословие придает речи таких людей особый пакостный стиль, который бытовал когда-то в ночлежках, в кабаках, притонах, и на постоялых дворах. На фоне огромного роста духовной культуры народа этот позорный пережиток особенно заметен <...> Я убежден, что наша здоровая, передовая советская молодежь, для которой дорого достоинство нашего советского человека, со всей решительностью поднимается на борьбу с отвратительным пережитком — со сквернословием и на предприятиях, и в общественных местах, и в частных разговорах. Нельзя оставлять без внушения и взыскания хулиганские слова, нельзя относиться снисходительно к этой словесной мер-

зости, оправдывая людей тем, что они употребляют ругательства не злонамеренно...» [«ЛГ», 1952, 22 мая].

К глубокому сожалению, и поныне сквернословы чувствуют себя вольготно, потому что почти нигде не дают им непримиримого отпора, нигде не получают они ни жесткого внушения, ни требовательного взыскания. К тому же у сквернословов немало защитников, а сами себя они не прочь объявить заблудшими овечками, которые не знают, что творят. Нередко ссылаются на привычку, ею объясняют всякую похабщину, которая срывается с их языка. Но ведь дурная привычка никогда не была оправданием дурного поведения. Если твоя привычка — дурная, если она унижает и оскорбляет человека,— отвыкни! Замени одну привычку другой, научись хотя бы словом, а еще лучше — и делом уважать человека и общество.

Даже в тех случаях, когда ругательства изрыгаются только по привычке,— кому от этого легче? Бранные слова и высказывания — всегда оказываются проявлением неуважения к человеку, товарищу по труду, к женщине и всегда остаются одним из признаков обывательского хамства.

§ 6. По-особому нужно осмысливать, говоря о чистоте речи, применение так называемых канцеляризмов.

Что такое канцеляризм? Это слово, словосочетание, целое высказывание, употребляемое в деловых («канцелярских») документах как устойчивый шаблон, как трафарет, требующий не особых усилий мысли, а лишь речевого автоматизма.

«Канцеляризмы» не только неопасны, но и необходимы (если их не чересчур много) в деловых бумагах, потому что деловая, управленческая работа имеет дело с повторяющимися ситуациями, требует соблюдения устойчивой «формы». Однако когда словесные шаблоны выходят за пределы делового стиля и попадают в стиль художественный, или разговорный, или публицистический, они могут стать сорняками в речи, если к их применению ослаблено внимание того, кто говорит или пищет. Такие же сорняки не редкость в наших выступлениях на собраниях и заседаниях, в наших газетах, особенно районных, да и областных. Вот два-три примера.

Из устного выступления на собрании:

«Товарищи! На данном собрании мне хочется осветить вопрос о главных задачах нашей работы на сегодняшний день. Я останав-

ливаюсь на этом вопросе потому, что считаю необходимым подчеркнуть проблему подготовки кадров. И прежде всего я хочу поставить вопрос о том, что выступившие до меня товарищи не уделили должного внимания вопросу о качественных показателях нашей работы в области подготовки кадров. Они не остановились на вопросе о мероприятиях по организации помощи отстающим, о наведении должного порядка в деле налаживания обучения необученных кадров. А это на данный момент одна из наших неотложных задач. Поэтому мне и хочется заострить этот вопрос и остановиться на нем поподробнее».

Такая (или подобная) речь пестрит канцеляризмами, деловыми шаблонами; тут и «данное собрание» вместо «это собрание», тут и «осветить вопрос» вместо простого и понятного «сказать», тут «на сегодняшний день» (совершенно лишние слова!); «остановлюсь на этом вопросе» вместо «скажу», «подчеркнуть проблему подготовки кадров» — неясно, что это означает; «хочу поставить вопрос» — опять же «хочу сказать»; вместо длинного сочетания слов «не уделило должного внимания вопросу о качественных показателях нашей работы в области подготовки кадров» следовало сказать что-то вроде «не говорили о качестве подготовки кадров»; следующее предложение занимает в выступлении 21 слово, а нужны были всего 10—11: «они не сказали о помощи отстающим, о недостатках в обучении рабочих»; последние два предложения из-за их «пустоты», по-видимому, вообще не нужны.

Что же получается? Вместо неясного, засоренного канцелярскими штампами, громоздкого по объему (102 слова) отрывка из выступления слушатели могли услышать:

Товарищи, мне хочется сказать о подготовке кадров; выступившие до меня об этом не говорили, они ничего не сказали о помощи отстающим, о недостатках в обучении рабочих.

27 слов вместо ста с лишним! И более ясная мысль, более точное ее выражение!

Дорогой читатель, давайте посчитаем однажды (хотя бы не вслух, а про себя), сколько времени и сил уходит у людей на преодоление канцелярского штампа и связанного с ним пустословия. И не случайно, конечно, столь решительно и резко высказали в свое время осуждение канцеляризмов и Салтыков-Щедрин, и Горький, и А. Толстой, и К. Чуковский, и К. Паустовский.

Вот сравнительно недавно высказанные мысли

К. И. Чуковского (смотрите его интересную и поучительную книгу «Живой как жизнь»):

«...канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне — мы видели — пишутся даже любовные письма. И это печальнее в тысячу раз — он усиленно прививается детям чуть ли не с младенческих лет.

В газете «Известия» приводилось письмо, которое одна восьмилетняя школьница написала родному отцу: «Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля».

Отец был огорчен и раздосадован:

— Как будто телеграмму от месткома получил, честное слово.

И обрушил свой гнев на учительницу:

— Учите, учите, а потом и вырастет этакий бюрократ: слова человеческого не вымолвит!..»

Письмо, действительно, бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации.

Горе бедного отца мне понятно, я ему глубоко сочувствую, тем более что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся недетские фразы:

«Желаем вам новых достижений в труде», «желаем вам творческих удач и успехов...»

«Новые достижения», «творческие успехи» — горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно-неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы «канцеляризировать» речь детей.

И продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе» [*98*, 130—131].

«Канцелярский жаргон» мешает думать и понимать высказанное, лишает речь ее естественной живости и выразительности, обезличивает ее (а вместе с нею — и мысль, и чувства говорящих и пишущих). Разве нужно думать, чтобы употреблять совершенно пустые соединения слова «вопрос» со словами, подсказанными канцелярским жаргоном: поставить вопрос, осветить вопрос, обсудить вопрос, увязать вопрос, продумать вопрос, продвинуть вопрос, подчеркнуть вопрос, поднять вопрос (да еще на должный уровень и на должную высоту!)? А ведь слово *вопрос* само по себе хорошее и нужное слово.

Возьмем пример из газеты.

«Форм трудового соперничества на заводе... применяется много. Это и работа наставников под девизом «Ни одного отстающего

рядом», и борьба за почетное звание коллектива коммунистического труда, и профессиональное соперничество за титул лучшей бригады завода. Суть же соревнования не в количестве поддержанных починов, а в умении слить эти родники в единый поток. К чести заводчан такой поток у них, несомненно, получился. И председатель комитета профсоюза В. И. Иванушков не без гордости сообщает, что сегодня в различных формах соревнования на заводе участвуют 98 процентов рабочих, инженеров и служащих.

Ну, а конкретно? Какой вклад в выполнение планов настоящих, а в еще большей степени планов грядущих внес отдел механизации и автоматизации производства? Отдел давал слово досрочно разработать проект плана повышения технического уровня производства и внедрения новой техники на будущий год. Пункт этот выполнен досрочно. Быстрее намеченного модернизирован конвейер для сборки магнитофонов... на три месяца раньше изготовлен пресс. Выполнены и другие важные пункты».

Думаю, что читатели согласятся, если им скажут, что предложенный их вниманию отрывок газетного текста не так уж и плох. Речь достаточно грамотна, и никаких резко очерченных ляпсусов незаметно.

Однако общее впечатление — серости и шаблона; да, так пишут, но едва ли такая манера построения речи хороша для газеты, хотя она, вполне возможно, подошла бы для делового документа.

И все дело в том, что в наблюдаемом нами отрывке текста почти нет словосочетаний, построенных, найденных автором речи; они, как правило, стандартны, шаблонны, известны читателю: «формы трудового соперничества» (кстати, почему газеты стали хорошее слово *соревнование* заменять не вполне надежным — *соперничество*?), «работа наставников», «под девизом», «борьба за почетное звание коллектива коммунистического труда», «титул лучшей бригады завода», «слить родники в единый поток», «к чести заводчан», «различные формы соревнования», «вклад в выполнение планов», «досрочно разработать проект плана повышения технического уровня производства и внедрения новой техники», «пункт выполнен быстрее намеченного».

Как видим, почти весь отрывок газетного текста пронизан словесными стереотипами, за которыми стоят и стереотипы мышления. И те, и другие могут быть соединены во вполне приемлемые для общества тексты, выражающие верный взгляд на жизнь людей; такие тексты будут приняты и редакторами газет, и руководителями ведомств и общественных организаций, потому что по своему логическому содержанию эти тексты отвеча-

ют «духу времени» и не искажают заметно общественных интересов.

Однако воспринимаются такие тексты без интереса: они создают впечатление, что все сказанное или написанное уже известно, т. е. они убивают живой интерес читателя или слушателя. И в этом их вредоносное влияние. Для того чтобы такого влияния не было, для того чтобы его преодолеть, нужна борьба со словесным стереотипом, а она должна поддерживаться не только изучением языка, его выразительных, живых возможностей, но и активной работой мысли и чувств авторов речи: очень часто словесные стереотипы остаются непреодоленными из-за свойственной немалому числу людей лености мысли и душевного равнодушия: не все ли равно, как сказать, лишь бы было, как полагается...

И если словесные стереотипы допустимы (и в известном смысле неизбежны) в деловой речи — они нежелательны в речи публицистической, в разговоре журналиста с читателем; конечно, полностью избежать их невозможно, но поубавить их число на газетных полосах, в радиовещании и телевидении и тем самым усилить действенность агитации и пропаганды можно и нужно.

Есть ли какие-то способы, применив которые можно было бы уменьшить агрессивное вторжение канцеляризмов в сферу публицистики, науки, художественной литературы и повседневного разговорного общения людей? Мы уверенно отвечаем на этот вопрос «Да, есть», и ответ наш обоснован речевой практикой хороших писателей и журналистов, юристов и педагогов, ученых и политиков. Если им удается преодолеть агрессию канцелярского речевого стереотипа, значит, сделать это можно. Но как?

Для этого прежде всего нужно развивать чувство живого, незаштампованного слова: оно, это чувство, будет постоянно тревожить душу, бить в набат всякий раз, когда будет срабатывать привычка к канцелярским словесным стереотипам; помогут развивать это чувство книги и статьи, написанные живо и интересно,— в их числе русские народные сказки, произведения писателей-классиков и лучших поэтов, публицистика Белинского и Писарева, великолепные речи и статьи Ленина, живое слово Калинина, научно-популярные сочинения В. Обручева, К. Тимирязева, А. Ферсмана и др.

§ 7. К числу средств языка, засоряющих речь отдельных людей, нужно отнести и так называемые «навязчивые слова», или «слова-паразиты».

Если такие слова брать в толковом словаре, то нельзя заметить их паразитических свойств: слова как слова (*понимать*, *знать*, *значить*, *так сказать*, *примерно*, *соответственно* и др.). Но в речи отдельных людей, не научившихся внимательно следить за тем, как она построена, эти слова неожиданно приобретают свойство особой живучести и «незаменимости», начинают мелькать слишком часто, к месту и не к месту.

«Иду, понимаешь, вчера вечером по улице, понимаешь; встречаю, понимаешь, своего приятеля, понимаешь, с которым не виделся, понимаешь, лет десять, понимаешь...» — так примерно изъясняются некоторые бездумные граждане.

Иной собеседник через каждые три-четыре слова вставляет свои любимые «понимаешь» или «так сказать».

Однако задача борьбы с паразитами в речи несколько сложнее, чем это только что показано. Приведенные примеры понятны, потому что они общеизвестны и хорошо опознаваемы. Сложность и опасность в другом — в пустословии. Пустые слова — это тоже паразиты. За словом должна стоять мысль, за словом чувство, воля человека; за словом — вещь, предмет, действие. А если ничего этого нет? Слово — опустошено, но оно сказано, оно написано, занимает время и внимание слушателя или читателя, несет видимость информации, прикрывая этой видимостью ее полное отсутствие. Было бы полезно объявить войну пустословию!

В. И. Ленин был беспощаден к пустословию, красивенькому фразерству буржуазных либералов, он говорил (в «Замечаниях на второй проект программы Плеханова»), что «излишние слова только ослабляют совершенно достаточное и рельефное выражение мысли...» [*19*, 231].

В 50-е годы на страницах «Правды» В. Овечкин публиковал серию очерков «Районные будни». В одном из них изображается собрание районного актива; на собрании выступает местный оратор-водолей:

«Коробкин выкрикивал каждую фразу, как лозунги на площади перед многотысячной толпой. От его голоса вздрагивали и позвякивали стекляшки на люстре под потолком:

— Товарищи! Корма — это основа животноводства! Но некоторые товарищи упорно не желают этого понять, преступно недооценивают заготовку кормов для животноводства!..

— Вол — это, товарищи, рабочее тягло! Рабоче тягло нужно беречь!

— Свинья дает нам, товарищи, мясо, кожу, сало, щетину! А как мы относимся к свиньям? По-свински, товарищи!..

Животноводство, товарищи, нуждается в теплых, благоустроенных помещениях. Корова, товарищи, в тепле и чистоте дает больше молока, чем на холоде, в грязи! А некоторые председатели колхозов, товарищи, недооценивают строительство коровников!..

Переходя к массово-политической работе с колхозниками, я должен здесь со всей прямотой сказать, что мы плохо работаем с колхозниками!..

— Стенная газета, товарищи,— это печать! А печать — это острейшее оружие нашей партии! Но во всех ли колхозах у нас выпускаются стенные газеты? Нет, товарищи, не во всех колхозах у нас выпускаются стенные газеты!...»

Пустословие Коробкина столь очевидно и надоедливо, что секретарь райкома Мартынов, председательствовавший на собрании, «морщился как от сильной головной боли», а председатель одного из колхозов Демьян Васильевич Опенкин, не стерпев, в своем выступлении сказал:

«Пусть знающий человек расскажет нам, чего мы сами не успели прочитать или, может, в чем не сумели глубоко разобраться. Он нам расскажет — мы потом людям передадим. Но когда вот тут товарищ Коробкин доказывает нам, что свинья — животное полезное!.. Этого же невозможно терпеть! А что греха таить, и на областных заседаниях немало приходится слушать таких речей. Выйдет человек на трибуну и тарахтит, тарахтит, как по коробке. После станешь вспоминать: о чем же он говорил? Да ни о чем! Вот все такое же: «мобилизовать усилия!», «поднять на высоту!», «углубить»! Иного и председатель не остановит. Кричат уже все: «Довольно!», «Регламент»,— он тарахтит. Будто ему сдельно за каждое слово платят. А мы сидим в зале и думаем: а кто же наше время оплатит? Пятьсот человек сидят здесь — сколько ты нашего времени загубил? Пересчитать бы его на человеко-часы! Шоферов за холостые пробеги милиция штрафует. Там — тонно-километры. Тут человеко-часы. Тоже ценность немалая! И некому штрафовать этих расхитителей времени!...»

В. Овечкин писал свои очерки более двадцати лет назад. Все мы за это время повзрослели, стали образованнее и опытнее. Многие проблемы деревни и сельского хозяйства решены и успешно решаются. Выше поднялась культура народа. Требовательнее начинаем мы относиться к поведению человека в коллективе, в частности и к его речевому поведению.

Но коробкины существуют. Может быть, изменился их внешний облик? Может быть, говорят они не о волах и не о свиньях, а, например, о комбайнах, сахарной

свекле, клубной сети, производстве тканей или научно-технической революции? Не изменилась суть коробкиных: им не хочется переучиваться, им лень думать, им важно приспособиться к требованиям времени, ухватить две-три верные и нужные фразы и замаскировать ими свое пустомыслие и пустословие. И нет-нет да и выйдет очередной Коробкин на очередную трибуну — и скажет свою речь. Или возьмет да и сядет на место районного журналиста — и закатит пустопорожнюю статейку: пусть люди читают. Правда, у людей все реже появляется охота читать статьи, написанные пустословами...

А ведь от пустословия можно вылечиться (можно и вылечить!) — трудом, умом, требовательностью. Если говоришь или пишешь — думай, ищи свои слова, свой поворот мысли. Мы как-то склонны забывать о том, что думание, решение различных умственных задач — это труд, и нередко очень нелегкий. Корень учения горек — плод его сладок. Этот корень — работа ума. Она-то и дает зрелые плоды, среди которых — и умная, сжатая речь.

Вспомним справедливые слова, сказанные Л. И. Брежневым в ноябре 1978 г. на Пленуме ЦК КПСС: «Нередко газетным материалам, передачам по телевидению и радио не хватает убедительности и серьезных обобщений, они перегружены общими фразами, ничего не дающими ни уму, ни сердцу».

А. Твардовский в день пятидесятилетия «Правды» на ее страницах напечатал стихотворение «Слово о словах». В нем строго и точно выражено поэтическое понимание вреда словесного пустозвонства и пользы скупого, но весомого, продуманного и прочувствованного, слова.

Когда серьезные причины
Для речи вызрели в груди,
Обычной жалобы зачина —
Мол, нету слов — не заводи.

Все есть слова — для каждой сути,
Все, что ведут на бой и труд,
Но, повторяемые всуе,
Теряют вес, как мухи мрут.

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь — до дна,
Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

. . . .
И я, чей хлеб насущный — слово,
Основа всех моих основ,
Я за такой устав суровый,
Чтоб ограничить трату слов;

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал;
Чтоб не транжирить как попало
Из капиталов капитал;

Чтоб не мешать зерна с половой,
Самим себе в глаза пыля;
Чтоб шло в расчет любое слово
По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял,—
Нет, слово — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

Относиться к слову как к делу, мы, видимо, еще не научились; но мы уже начинаем понимать эту необходимость.

Мнение А. Твардовского мы уже знаем. А вот (для сопоставления) мнение К. Паустовского:

«Есть писатели, которые «работают» всего двумя-тремя тысячами слов и таким образом сводят наш неисчерпаемо богатый язык до уровня языка самого примитивного.

Богатство языка писателя — следствие его любви к своей стране и к своему народу. Скудость языка — первый признак равнодушия писателя и к народу, и к стране, сколько бы этот писатель ни бил себя в грудь и ни произносил громких слов.

В этом случае старинное выражение «Язык мой — враг мой» — получает новое и острое содержание. Не только «Стиль — это человек», но и «Язык — это человек». Язык выдает с головой.

Поэтому мы с законной тревогой замечаем просачивание в нашу литературу языка, характерного для обывателя и бюрократа, — языка плоского и стандартного. У этого языка есть несколько оттенков, но все они одинаково мертвые. Прежде всего — напыщенность и любовь к дурной иностранщине. Писатель вместо простых и хороших русских слов пользуется словарем протоколов. Например, вместо *подарил* он пишет *преподнес*, вместо *пошел — направился*, вместо *сказал — заявил*,

вместо *живет — проживает*... Таких примеров можно привести множество» [*71*, 16].

Одной из причин тех речевых недомоганий, о которых говорят и большой поэт, и большой прозаик, становится неравномерное воздействие, оказываемое на наши речевые навыки деловым и публицистическим стилями языка, с одной стороны, и художественным и разговорным стилями — с другой. Газеты, радио, телевидение пользуются, как правило, первыми двумя стилями — порознь или вперемешку. Поток повседневной информации воспринимается нами облеченным в формы именно этих стилей. Но они-то и развивают и поддерживают словесные стереотипы. Поэтому нужны дополнительные усилия общества — прежде всего школы, средней и высшей, художественной литературы, радио и телевидения,— имеющие целью противодействие стереотипам мышления и речи. Нужны и личные усилия людей, опирающиеся на хорошее, внимательное чтение образцовой художественной литературы, на критическое отношение к собственной речи — будет ли это выступление на собрании, письмо другу или пропагандистская беседа. Больше естественности, меньше шаблона! Чистая речь нужна нам так же, как и чистый воздух,— нужна для того, чтобы легче жилось и дышалось. Объяснить это людям — задача науки и школы, задача радио, телевидения и печати.

ГЛАВА 8

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ

§ 1. Каждый из нас имеет так называемый речевой опыт, т. е. опыт восприятия чьей-то речи и построения и восприятия своей. Этот опыт может быть более глубоким и более поверхностным. Более глубокий связан не только с тем, что человек услышал или прочитал какие-то высказывания, воспринял воздействие каких-то звуков, слов, интонаций, синтаксических структур, но и с тем, что услышанное, прочитанное, воспринятое он как-то оценил, сумел подключить к восприятию речи еще и анализ ее структуры, ее достоинств и недостатков. Более поверхностный речевой опыт ограничивается восприятием, причем очень часто бывает, что наше сознание не в состоянии осмыслить именно речь, не в состоянии отвлечься от совокупных воздействий текста, и в таком случае воспитание речевой культуры оказывается затрудненным. Вот почему, между прочим, необходимо широкое филологическое просвещение всех, а не только лиц, получающих специальную филологическую и лингвистическую подготовку в университетах и педагогических институтах. Для того чтобы целенаправленно действовать с целью улучшить свою речь и речь других, надо ее осознать как самостоятельное явление действительности, хотя и неразрывно связанное, сращенное с работой сознания, с той конкретной информацией, для выражения (и формирования) которой оно предназначено и используется.

Как бы там ни было, речевой опыт подсказывает нам, что по степени воздействия на наше сознание речь очень неодинакова. На одну и ту же тему могут быть прочитаны и читаются несколько лекций, могут быть проведены и проводятся несколько пропагандистских бесед или уроков, могут быть написаны и пишутся

несколько деловых документов. И мы знаем, что одна лекция будет слушаться со вниманием и даже с интересом, а другая на ту же тему будет вызывать скуку, а то и раздражение. Одна пропагандистская беседа захватит слушателей, другая на ту же тему — оставит их безразличными. Это говорит нам речевой опыт. Конечно, если сказанное им подвергнуть анализу, то окажется, что степень воздействия на наше сознание различных текстов зависит от многих причин и условий (логика, доказательность, новизна темы и информации, психологическая установка автора на воздействие или ее отсутствие и т. д.); и в ряду этих многих причин и условий — свойства и особенности структуры речи, причем их роль может быть очень заметной, а то и решающей.

Обратимся еще раз к нашему речевому опыту, спросим его, одинаково ли мы внимательны, когда читаем Пушкина и Толстого, Шолохова и Паустовского — или одного из многих прозаиков из числа тех, кого забывают еще при жизни? Одинаково ли мы внимательны, когда читаем научные сочинения Павлова и Тимирязева или рядовые по языку и стилю научные произведения? Одинаково ли нам интересно слушать устные рассказы-лекции на темы литературы Ираклия Андроникова или лекции на те же темы, прочитанные, так сказать, рядовым преподавателем (я никак этими словами не хочу обидеть рядового преподавателя)? Одинаково ли интересно нам читать статью в газете и публицистические очерки и раздумья Н. Грибачева или В. Пескова?

Наш речевой опыт не оставляет возможности сомневаться в том, что структура речи, ее свойства и особенности могут будить мысли и чувства людей, могут поддерживать обостренное внимание и вызывать интерес к сказанному или написанному. Вот эти особенности речевой структуры и дают основание называть ее выразительной.

Введем определение: выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя; соответственно речь, обладающая этими особенностями, и будет называться выразительной.

Одним из самых удивительных по совершенству речевого воплощения стихотворений было и остается пушкинское «Я вас любил»:

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Речевая художественная форма этого стихотворения внешне очень проста. И лексика, и интонации, и синтаксис — доступны настолько, что задаешь себе вопрос: а почему ты так не смог сказать? Но в этой кажущейся простоте и доступности и заключена разгадка художественного воздействия гениального произведения великого поэта русского народа. Эта простота и доступность нужны были поэту: они выразили всю глубину искренности чувства к другому и ради другого, а не ради себя.

Выразительность речи пушкинского стихотворения — скромная, как бы затаенная, не бросающаяся в глаза; но именно такая выразительность уместна в этом случае, потому что вполне отвечает выражаемому художественному смыслу и сливается с ним в воздействии на читателя.

Иной тип речевой выразительности дают нам известные строки В. Маяковского:

Делами,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме,—
я славлю
взвитое красной ракетою
Октябрьское,
руганое
и пропетое,
пробитое пулями знамя!

Выразительность средств языка в этой речи — открытая, ораторская, обращенная не к интимным движениям человеческой души, а к социальным чувствам, выражающая социальную позицию самого поэта. Здесь совершенно иной набор языковых средств и иная их организация.

§ 2. Здесь как раз уместно поставить вопрос: есть ли надобность и основания различать разные типы речевой выразительности? Да, есть, потому что есть выра-

зительность крика и выразительность молчания, выразительность речевого сигнала испуга или опасности и возгласа восхищения или восторга. Одно в одних, другое в других условиях общения. Но для того, чтобы знать, когда какая выразительность уместна, надо знать, какими ее типами современная речь располагает. Выразительность восхищения неуместна у постели больного, выразительность умиления — на теоретическом симпозиуме, выразительность досады и раздражения — в общении учителя с учениками.

Типология выразительности пока, к сожалению, отсутствует. Пока можно высказать лишь некоторые соображения, достаточно осторожные, о ее основаниях.

Одно из оснований — ситуация общения. Выразительность речи педагога, очевидно, не совпадает с выразительностью речи политического оратора или дипломата, выразительность речи адвоката на суде не совпадает с выразительностью речи докладчика на теоретической конференции по дифференциальным уравнениям. Но при этом в любых условиях общения нужна выразительность!

Второе основание, более четкое,— структурные области языка: может быть выразительность произносительная, выразительность акцентологическая, выразительность лексическая и словообразовательная, выразительность морфологическая и синтаксическая, выразительность интонационная и, наконец, стилевая (или — стилистическая). Сказанное означает только то, что качество выразительности может сообщаться речи средствами языка, входящими в разные области языковой структуры. Но об этом подробнее — несколько позже. К тому же не забудем, что своими выразительными возможностями обладает сама структурная организация речи, включая в это понятие и структуру абзаца, и структуру главы или раздела устного выступления, и структуру целого текста.

По-видимому, справедливо следующее общее соображение: выразительно в речи все то, что выделяется семантически или формально на общем привычном речевом фоне той или иной типовой ситуации общения. Привычное не задевает за живое именно потому, что мы к чему-то привыкли. Но как только на этом привычном фоне хотя бы чуть-чуть посветит нам что-то новое, необычное, неожиданное, наше сознание насторажи-

вается, внимание растет и может даже появиться интерес к тому, что только вчера казалось избитым и неинтересным.

Это общее соображение, по-видимому, справедливо и тогда, когда перед нами целый текст, и тогда, когда перед нами одна страница какого-то весьма посредственного текста, но на этой странице перед нами раз или два мелькнули выразительное слово или интонация.

§ 3. Применительно к отдельному человеку можно думать об основных условиях, от которых зависит выразительность его речи. Каковы они? Не претендуя на полноту ответа, остановим наше внимание на следующих.

Первое условие — самостоятельность мышления, деятельности сознания автора речи. Если думаешь только по шпаргалке, а чувствуешь по шаблону и стандарту, не удивляйся тому, что шпаргалочное мышление и шаблонное чувство не позволяют пробиться на свет божий робким росткам выразительности. Преподаватели вузов знают, как унылы и невыразительны бывают порой студенческие ответы, — как правило, потому, что студент не освоил учебный материал, не переработал вычитанные идеи, не сделал их своими; мышление такого студента — мышление на базе работы памяти, а не как результат глубокого осознанного освоения тех или иных идей и решений. К сожалению, несамостоятельность мышления свойственна и людям, которым это категорически запрещено их деятельностью — пропагандистам, преподавателям, журналистам, администраторам, даже — писателям.

Второе условие — неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или пишет, к тому, что он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет.

Можно ли представить себе равнодушным Пушкина? А Блока и Маяковского? Л. Толстого и М. Горького? Мы хорошо знаем, как заинтересованно и страстно воспринимал жизнь Владимир Ильич Ленин, и мы знаем, как выразительна была его публичная, обращенная к людям — друзьям и врагам — речь.

Опутанный равнодушием лектор, пропагандист, журналист или учитель, попавший в паутину равнодушия общественный или административный руководитель — все они говорят «без души», по шаблону, по общепри-

нятому образцу, не желая и не умея ни в чем этот образец улучшить, изменить, от него отступить.

А жизнь хочет отказа от равнодушия, она хочет пытливости мысли и остроты чувства, она хочет самостоятельности работы вашего сознания — и поисков, поисков, поисков выразительности. Это нужно партийной пропаганде, агитации, это нужно преподаванию и воспитанию, это нужно нашей социалистической жизни.

Третье условие — хорошее знание языка, его выразительных возможностей. Такое знание редко достигается без помощи науки о языке. Вот почему желательно широкое лингвистическое просвещение специалистов — негуманитариев, нужна хорошо поставленная пропаганда знаний о языке в среде рабочих, крестьян и интеллигенции.

О чем и что нужно знать? О звуках и их выразительных возможностях. Об ударении и его выразительных свойствах. О словах и их воздействии на речевую выразительность. Об образовании слов, о частях речи, о предложениях и их членах, об интонации — но все под тем же углом зрения: выразительность!

Четвертое условие — хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей — художественного, научного, публицистического, делового, разговорно-бытового. Каждый из этих стилей налагает свой отпечаток на отдельные группы и слои средств языка, которые, таким образом, оказываются стилистически окрашенными. Эта окрашенность предоставляет очень большие возможности авторам речи и в усилении речевой выразительности. Но может эту выразительность и потеснить, уменьшить, ослабить — из-за неуместного вторжения непригодных к случаю стилевых элементов.

Кроме того, выразительность разных стилей речи достигается не одними и теми же средствами — она специфична в каждом языковом стиле.

Пятое условие — систематическая и осознанная тренировка речевых навыков. Знание должно перейти в навык. Когда мы говорим, мы не можем перемежать речь большими паузами, нужными для подбора тех средств языка, которые могут стать выразительными — должен срабатывать навык и выдавать нам то, что нужно, или хотя бы оберегать от таких языковых средств, которые выразительности мешают. Но как нужные нам навыки тренировать? Основное средство —

внимательное к языку и стилю чтение образцовых текстов — художественных, научных, публицистических и иных; полезно внимательно вслушиваться в речь людей, которые умеют выразительно говорить. Нужно учиться контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, а что шаблонно и серо. Навык самоконтроля необходим любому человеку, если он хочет постепенно улучшать свою речь вообще, а в частности — ее выразительность.

Шестое условие, тесно связанное с пятым,— сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, психологическая целевая установка на выразительность. Нужно сказать себе: моя речь невыразительна, бедна и бледна, я буду говорить и писать ярче, выразительнее, для этого, если нужно, я познакомлюсь по книгам с выразительными средствами нашего языка (пословицами, поговорками, крылатыми словами, метафорами и т. д.), я изучу их, овладею ими, приобрету навыки их использования в речи, научусь оценивать свою речь — выразительна ли она? — научусь устранять из нее все, что мешает выразительности.

Седьмое условие выразительности речи — объективное, языковое, не зависящее от воли, желаний, сознания отдельного человека. Это не что иное, как наличие в языке средств, способных сообщать речи качество выразительности. Понятно, что если бы этих средств не было, нечего было бы и говорить о том, чем и как выразительность речи обеспечивается и достигается. Но коль скоро эти средства есть, возникает потребность в каком-то, хотя бы беглом их обзоре.

§ 4. Выразительные средства языка иногда сводят к так называемым выразительно-изобразительным, т. е. тропам и фигурам. Однако в действительности это не совсем так, или даже совсем не так. Выразительность могут усиливать единицы языка всех его уровней — начиная со звуков и кончая синтаксисом и стилями. Вот это не вполне очевидное обстоятельство пусть и привлечет наше внимание.

Даже отдельный звук, не говоря уже о какой-то их комбинации, может оказаться в речи выразительным. Припомним, как трудно слушать речь скороговоркой или речь невнятную, когда отдельные звуки не «вырисовываются», произнесены без необходимой точности и

четкости артикуляции. Припомним также звукозапись, к которой иногда прибегают поэты, ассонансы и аллитерации, используемые не только в стихах, но и в прозе. Можно припомнить и так называемое скандирование речи, т. е. намеренно отчетливое и обычно громкое произношение слов в высказывании по слогам: «Ма-ла-дцы!»

Выразительные возможности морфем реализуются в словах и в словообразовании, поэтому об этом пока говорить не будем.

Лексика — вот один из основных источников речевой выразительности. Так называемые изобразительные средства языка — это средства лексические, а точнее — лексико-семантические. И эпитет, и метафора, и метонимия опираются на слово, его семантику. Но и помимо изобразительных средств лексика располагает большими выразительными возможностями. Цитированное ранее стихотворение Пушкина почти лишено изобразительных средств, но оно предельно выразительно.

Каковы же выразительные возможности лексики, если пока не говорить об эпитетах, метафорах и метонимиях (о них речь пойдет позже)?

Обратимся к фактам. Возьмем «Весенний вопрос» — одно из стихотворений В. Маяковского. В этом стихотворении почти отсутствует такая лексика, которую принято в учебных пособиях по теории литературы и поэтике называть поэтической; слова — повседневно-обыденные, разговорные, но — выразительные! Вот завершающие строфы стихотворения:

Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну не знаю что,—
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины...

Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.
Например: чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

Внимательно прочтите строки поэта и скажите, много ли эпитетов, метафор, метонимий на целой странице. Пожалуй, ничего этого нет, совсем нет. Слова как слова. Такие слова мы употребляем ежедневно — на улице, на работе, дома. И мы не склонны в обычных условиях признавать такие слова поэтическими или выразительными.

Но в том-то и дело, что Маяковский применил обычные слова в необычных условиях — в условиях стихотворно-поэтической организации целого стихотворения. И вот эта целостная организация речевой структуры, слов как элементов этой структуры позволила обычным словам выявить скрытую в них и, как нам кажется, необычную силу — выразительность.

Что же необычно для обычных слов в условиях стихотворной организации? Во-первых, ритм; во-вторых, рифма; в-третьих, интонация; в-четвертых, синтаксис целой строфы; в-пятых, словопорядок и порядок высказываний в составе целого текста. Снимите все это, разрушьте — и останутся обычные слова в обычных высказываниях. Кроме того, в условиях стихотворной организации речи меняется, по сравнению с обычными условиями, и семантика слова: оно становится выразителем информации о работе сознания автора — о поэтической работе сознания; оно получает вместе с тем конкретно-вещную направленность и конкретно-чувственную семантику, т. е.

становится носителем и выразителем представлений о мире, конкретно-чувственных отображений действительности.

Мы часто говорим о языке как системе. В системные связи и отношения включен каждый отдельный элемент языка в его структуре. В системные связи и отношения включен любой элемент языка и в структуре речи. Но речь повседневно-обиходная и речь поэтическая организованы по-разному. Поэтому одно и то же слово в речи повседневно-обиходной и в речи поэтической может быть невыразительным и выразительным.

Лексическая система языка сложна и многолика. В нее входят различные группы слов, внутри каждой такой группы слова объединены некоторой общностью признаков (семантических, семантико-стилевых, словообразовательных и иных). Есть слова книжные и разговорные, общелитературные и областные, устаревшие и только что введенные в язык, профессиональные и жаргонные, слова, отражающие природу и человека, мир звуков и мир красок, предметные и качественные и т. д. Возможности постоянного обновления в речи принципов, способов, признаков объединения в пределах целого текста слов, взятых из различных групп, скрывают в себе и возможности обновления речевой выразительности и ее типов.

Реформаторская в поэтической речи деятельность Маяковского опиралась прежде всего на смелое обновление самих принципов объединения лексики, принадлежащей к разным пластам языка. Слова публицистические и разговорные, деловые и просторечные были введены Маяковским в общую литературную лексику, и был получен неизвестный в прошлой поэзии синтез разнородного на первый взгляд лексического материала. Была перестроена система лексики, обслуживающей поэзию. В этой обновленной лексической системе оказались выразительными слова, в поэзии прошлого не принятые.

Выразительные возможности лексики связаны, конечно, с ее семантикой — самой сложной, самой подвижной, самой богатой по выразительности областью языка. Достаточно так или иначе обновить привычную семантику слова, достаточно «оживить» ее, как слово получает признаки выразительности или начинает участвовать совместно с другими в выразительности высказывания. Выразительные возможности слова поддерживаются и усили-

ваются актуализацией его семантики, т. е. таким применением, которое соотносит это слово с конкретными предметами и вещами, действиями и состояниями, признаками и качествами, чувствами и представлениями. Художественное речевое творчество, по-видимому, невозможно без актуализации семантики слова. Это, между прочим, хорошо подтверждается художественными текстами, в которых применена «непоэтическая» лексика — публицистическая, деловая, научная, профессиональная. Все творчество Вл. Маяковского связано с преодолением традиционного взгляда на поэзию как область господства избранной, поэтической лексики.

Присмотримся к тому, как актуализируется лексика в стихотворении Р. Рождественского «Подкупленный»:

Все советские писатели подкуплены...
(Так о нас иногда пишут на Западе)

Я действительно подкуплен.
Я подкуплен.
Без остатка.
И во сне.
И наяву.
Уверяют советологи:
«Погублен...»
Улыбаются товарищи:
«Живу!..»
Я подкуплен
ноздреватым льдом кронштадтским.
И акцентом
коменданта-латыша.
Я подкуплен
военкомами
гражданской
и свинцовою водою
Сиваша...
Я еще подкуплен снегом
белым-белым,
Иртышом
и предвоенной тишиной.
Я подкуплен кровью
павших в сорок первом.
Каждой каплей
До единой.
До одной...
А еще подкуплен я костром. Случайным,
как в шальной игре
десятка при тузе.
Буйством красок Бухары.
Бакинским чаем.
И спокойными парнями с ЧТЗ...
Подкупала

вертолетная кабина,
ночь
и кубрика
качающийся пол!..
Как-то женщина пришла.
И подкупила.
Подкупила —
чем?
не знаю до сих пор.
Но тогда-то жизнь
я стал считать по веснам,
Не синицу жду отныне,
а скворца...
Подкупила дочь
характером стервозным,—
вот уж точно,
что ни в мать
и ни в отца...
Подкупил Расул
насечкой на кинжале.
Клокотанием —
ангарская струя.
Я подкуплен
и Палангой,
и Кижами.
Всем, что знаю,
И чего не знаю я...
Я подкуплен зарождающимся словом,
не размененным пока на пустяки.
Я подкуплен
Маяковским
и Светловым
и Землей,
в которой сбудутся
стихи!..
И не все еще костры отполыхали.
И судьба еще угадана
не вся...
Я подкуплен.
Я подкуплен
с потрохами.
И поэтому купить меня
нельзя.

Актуализация семантики слова в поэзии обычно связана (и это хорошо видно в стихах Р. Рождественского) с тем, что можно назвать ассоциативностью образного мышления. Эти ассоциации, вызываемые в сознании читателя воздействием слова, могут быть более четкими и менее четкими — многое зависит от предшествующего жизненного опыта читателя и психологических особенностей работы его мысли и сознания в целом. Для нас

важно прежде всего то, что семантика слова вызвала те или иные ассоциации, а значит, актуализировалась, ожила именно в этом тексте, в выражении именно этой мысли, этого настроения.

§ 5. Текст Р. Рождественского позволяет перейти к эпитетам, метафорам и другим средствам языка (точнее — речи). Этим средствам уделено много внимания в истории учения о языке и в самой художественной литературе.

В стихах: *Я подкуплен* ***ноздреватым*** *льдом* ***кронштадтским.*** *И акцентом коменданта-латыша. Я подкуплен военкомами гражданской и* ***свинцовою*** *водою Сиваша* выделенные имена прилагательные при словах *лед* и *вода* ассоциативно богаче обычных прилагательных, на их фоне они выделяются и замечаются нашим сознанием, они выразительны.

Эпитет — это не слово в словаре; эпитетом слово становится, когда попадает в речь. В словосочетании *деревянная полка* прилагательное — не эпитет; в словосочетаниях *деревянный взгляд* или *деревянная походка* это же слово стало эпитетом; прилагательное или причастие, не ставшее эпитетом, поддается логическому определению в своем значении; прилагательное или причастие, ставшее эпитетом, едва ли можно логически определить в его значении — мешают ассоциативные связи, ассоциативные наслоения. Эпитет ведет сознание от значения слова к личностному смыслу, а личностные смыслы могут и не совпадать у автора речи и читателя или двух читателей с различным жизненным опытом, уровнем образования и культуры, не совпадающими особенностями психики, характеров и темпераментов, с различным идейно-нравственным и эстетическим восприятием действительности.

Очень нужна семантическая и структурная типология эпитетов — по степени их близости к значению слова-определения и ассоциативной удаленности от него. В частности, нужно понять ассоциативную природу определений в языке науки и публицистики, понять, становятся ли эпитетами научные и публицистические определения. Есть основания думать, что это происходит, хотя, возможно, и не часто.

Метафора — это словосочетание, имеющее семантику скрытого сравнения. Если эпитет — не слово в словаре, а слово в речи, то тем более справедливо утверждение:

метафора — не слово в словаре, а сочетание слов в речи. Можно вколачивать гвоздь в стену. Можно вколачивать мысли в голову — возникает метафора, грубоватая, но выразительная. В метафоре, в ее значении, еще точнее — в самой основе ее значения — три элемента: информация о том, что сравнивается; информация о том, с чем сравнивается; информация об основании сравнения, т. е. о признаке, общем в сравниваемых предметах (явлениях). Возьмем полустершуюся метафору *мысли летят*. Что сравнивается? Мысли. С чем сравниваются мысли? С птицей. Какой признак мыслей и птицы стал основанием сравнения? Быстрое движение. То, что сравнивается, названо: мысли. То, с чем сравнивается, не названо. Основание сравнения скрыто в слове *летят*; в нем заложены и взаимодействуют актуально два значения — «быстро перемещаются взмахами крыльев» и «быстро изменяются, движутся». Наше сознание, уловив необычность соединения понятий (или представлений) «мысли» и «летят», ищет сразу же более привычный предмет, которому может быть приписан признак «летит», и находит этот предмет — «птица»; скрытое сравнение превращается в нашем сознании в сравнение открытое. Если применить схему, получается примерно вот что:

а) *мысли летят*
б) *летят птицы*
в) *мысли летят, как летят птицы*

Для того чтобы осуществить отраженную этой схемой работу сознания, требуется некоторое психологическое усилие, в особенности если метафора свежая, и к ней еще не привыкли, и ее еще надо отгадывать как загадку. Речевая актуализация семантики метафоры и объясняется необходимостью такого отгадывания — происходит ли оно полностью или делается только намек на него. И чем больше усилий требует метафора для того, чтобы сознание превратило скрытое сравнение в открытое, тем выразительнее, очевидно, сама метафора.

Метафоризируются обычно глаголы и прилагательные, т. е. именно в словах этих частей речи совмещается по два значения, необходимых для того, чтобы скрытое сравнение можно было превратить в открытое, иначе говоря, для того, чтобы можно было обнаружить основание сравнения. Почему же именно глагол и прилагательное поддаются легче метафоризации? Видимо, потому,

что они чаще других частей речи оказываются в позиции сказуемого, а эта позиция, в свою очередь, нужна для «стыка», встречи двух значений, обозначающих сходные признаки двух предметов.

По своей внешней конструкции метафора оказывается предикативным или непредикативным словосочетанием: *рыбье молчание, кошачий взгляд, стая образов, пыхтит паровоз, развертывать знамя соревнования, бегут недели* и т. д.

Метафора оказывает очень большое влияние на выразительность речи. Не случайно так велико ее место в речи художественной. И чем метафора свежее, непривычнее, тем она выразительнее. Правда, везде должно быть чувство меры, логическая и эстетическая норма. Чересчур переусложненные метафоры перестают осознаваться читателями или слушателями, а это означает разрыв связей между автором речи и теми, кому она предназначена. В таких случаях едва ли можно говорить о выразительности, если выразительность понимать так, как было условлено.

Другие «изобразительные» средства языка (метонимия, синекдоха, сравнение, литота, гипербола) в принципе не отличаются от метафоры по влиянию на выразительность речи и потому здесь обсуждаться и описываться не будут.

§ 6. Не меньшими, чем лексика, возможностями усиливать и ослаблять выразительность речи располагает синтаксис языка.

Как известно, в пределах простого или сложного словосочетания словопорядок свободен, а если ограничивается, то не языковой нормой, а соображениями целесообразности. Что касается перемещения слов из одного словосочетания в другое, то такое перемещение возможно, но оно заметно стеснено самими нормами грамматического строя языка. Возьмем предложение *Улицы большого с красивыми зданиями города были озарены в этот утренний час естественным светом весеннего солнца.* В этом предложении можно что-то поменять местами в словосочетании, составляющем группу подлежащего, или в словосочетании, составляющем группу сказуемого. Например, так: *Улицы города, большого, с красивыми зданиями в этот утренний час были озарены естественным светом весеннего солнца* (можно обратить внимание на то, как с места на место переставляются не от-

дельные слова, а их минимальные сочетания). Из одного словосочетания в другое, как это легко убедиться, слова не перемещаются.

Значит, существуют очевидные ограничения свободного порядка слов в современном русском литературном языке. Это не мешает нам видеть в нем относительно свободный порядок слов, и этот относительно свободный порядок далеко не безразличен для речевой выразительности. И так как возможности изменения, варьирования словопорядка увеличиваются с ростом сложности простого предложения, т. е. с увеличением числа его членов, то можно предположить, что выразительные возможности словопорядка будут возрастать у таких авторов, как Л. Толстой и Л. Леонов, так как в их речи простые предложения разветвлены сильнее, чем обычно.

Но не нужно думать, что словопорядок не влияет на выразительность речи таких авторов, простое предложение которых по степени его разветвленности, так сказать, обычно; не нужно думать, что словопорядок как средство выразительности не используется в нашей обычной повседневной речи.

Вот две разговорные бытовые ситуации.

а) *Витя, иди обедать!* (Витя не откликается.) *Иди же обедать, Витя! — Да иду я, иду!*

б) *Вот, хлеба я купил, а молока нет.*

В первом случае *иду я, иду* вместо спокойного и нейтрального *я иду* выражает дополнительную эмоциональную информацию и тем самым усиливает выразительность. Во втором случае выдвижение на первое место дополнений *хлеба* и *молока* обеспечивает смысловой акцент на продукты, которые куплены, а не на лицо, осуществившее покупку, и не на действие.

В общем виде можно сформулировать следующее положение: замена прямого порядка (обычного, привычного) обратным усиливает выразительность речи — как письменной, так и устной.

В усилении речевой выразительности участвует как разнообразие синтаксических структур, так и нарочитое повторение одной и той же. Художественная речь выразительнее научной, или деловой в частности, и потому, что художник, как правило, пользуется значительно большим набором синтаксических конструкций, чем ученый или администратор. Но отсюда следует, что если бы

ученые и администраторы пристальнее всматривались в синтаксис своей речи (в научных статьях, лекциях, постановлениях, докладных записках и т. д.), смелее применяли бы живые полуразговорные формулы, было бы достигнуто некоторое усиление выразительности речи ученых и администраторов, а значит, и усиление ее действенности.

Что касается нарочитого, предусмотренного повторения одной и той же синтаксической структуры, то это явление учтено риториками и теорией красноречия и называется обычно повтором синтаксическим, или параллелизмом. В стихотворении Р. Рождественского «Подкупленный» стилистический прием синтаксического повтора (или параллелизма) применен очень удачно. Центральная идея стихотворения — идея преданности родной земле и любви к ней — усиливается неоднократным повторением словосочетания предикативного *я подкуплен* и параллелизмом построения соответствующих высказываний: 1. *Я действительно подкуплен...* 2. *Я подкуплен без остатка...* 3. *Я подкуплен ноздреватым льдом кронштадтским...* 4. *Я подкуплен военкомами гражданской...* 5. *Я еще подкуплен снегом белым-белым...* 6. *Я подкуплен кровью павших в сорок первом...* 7. *А еще подкуплен я костром, случайным...* 8. *Я подкуплен и Палангой, и Кижами...* 9. *Я подкуплен зарождающимся словом...* 10. *Я подкуплен Маяковским и Светловым...* 11. *Я подкуплен.* 12. *Я подкуплен с потрохами.* Эта синтаксическая структура и вошедшие в нее два слова *Я подкуплен* становятся организующим стержнем всего стихотворения, усиливая выразительное воздействие всего текста.

Синтаксический параллелизм хорошо известен как стилистический и ораторский прием всем крупным публицистам, политическим и судебным ораторам. Он был известен и применялся в Древней Греции и Риме.

В. И. Ленин в своих речах и статьях, в особенности тех, которые были предназначены для более широких кругов читателей и слушателей, блестяще использовал синтаксический параллелизм в построении предложений и их частей и повторение одних и тех же членов предложения — нераспространенных и распространенных.

Вот несколько примеров.

1. В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин, думая о литературе действительно свободной, открыто связанной с пролетариатом, пишет:

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого (научный социализм, завершивший развитие социализма от его примитивных, утопических форм) и опытом настоящего (настоящая борьба товарищей рабочих)» [*3*, 104].

2. Из речи на заседании пленума Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов 28 февраля 1921 г.:

«Очевидно, труден переход от состояния полной нищеты, в котором мы были в 1918—1919 гг., когда никто не мог подумать о запасе или распределении на год, а могли думать на три недели или на две, а третью «будем посмотреть». Очевидно, труден переход от этого состояния к состоянию 1920 года, когда мы увидали, что у нас армия больше, чем у поляков, хлеба вдвое больше, чем в прошлом году, топливо есть,— донецкого и сибирского угля в полтора раза больше» [*12*, 359—360].

3. Из работы «О продовольственном налоге»:

«Во-первых, надо разобрать, каков именно тот *переход* от капитализма к социализму, который дает нам право и основание называться социалистической республикой Советов.

Во-вторых, надо обнаружить ошибку тех, кто не видит мелкобуржуазных экономических условий и мелкобуржуазной стихии, как *главного* врага социализма у нас.

В-третьих, надо хорошенько понять значение *Советского* государства в его экономическом отличии от буржуазного государства.

Рассмотрим все эти три обстоятельства» [*13*, 206].

4. Из статьи «Лучше меньше, да лучше»:

«Именно о культуре ставлю я здесь вопрос, потому что в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки. А у нас, мож-

но сказать, хорошее в социальном устройстве до последней степени не продумано, не понято, не прочувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испытано, не подтверждено опытом, не закреплено и т. д. Иначе и не могло быть, конечно, в революционную эпоху и при такой головокружительной быстроте развития, которая привела нас в пять лет от царизма к советскому строю.

Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п.

Нет, такого аппарата и даже элементов его у нас до смешного мало, и мы должны помнить, что для создания его не надо жалеть времени и надо затратить много, много, много лет» [*15*, 390].

Думается, что эти выдержки из текстов Ленина убедили читателей в том, что одним из средств, усиливающих выразительность публицистической речи, были повторы и параллелизмы у лучшего оратора и публициста XX столетия.

Видимо, к синтаксическим, а точнее, к лексико-синтаксическим средствам выразительности должна быть отнесена так называемая антитеза. Антитеза — это малая или большая синтаксическая структура, смысловое содержание которой основано на противопоставлении идей, понятий, представлений, выраженных словами-антонимами. Антитеза была хорошо известна и успешно применялась ораторами и риторами всех времен, начиная с античных, она продолжает жить в ораторских, публицистических, художественных произведениях XIX и XX столетий. Достаточно напомнить здесь о знаменитой клятве Демона из одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова («Клянусь я первым днем творенья, Клянусь его последним днем, Клянусь позором преступленья И вечной правды

торжеством. Клянусь свиданием с тобой И вновь грозящею разлукой... Клянусь блаженством и страданьем, Клянусь любовию моей... Клянусь твоим последним взглядом...»), о публицистике И. Эренбурга и Н. Грибачева, которые умело применяли антитезу во многих своих работах печатных и выступлениях устных. Можно привлечь внимание читателей и к тому, что немало пословиц и поговорок, немало фольклорных словесных образов построено если не на антитезе, то с ее использованием: *семь раз примерь — один раз отрежь; не знаешь, где найдешь, где потеряешь; у другого и соломинку в глазу вижу, у себя и бревна не замечаю; ум хорошо, а счастье лучше; горьким лечат, а сладким калечат; знай больше, говори меньше; ученье — свет, неученье — тьма; горька работа, да хлеб сладок; заработанный ломоть лучше краденого каравая; когда голова думает, язык отдыхает.*

К числу семантико-синтаксических средств усиления выразительности нужно отнести и ряды однородных членов предложения, шире — ряды любых однородных конструкций. Одной из разновидностей таких рядов является так называемая градация, позволяющая постепенно усиливать или, наоборот, ослаблять какую-то идею, какое-то настроение и т. д.

Один из сильных образцов градации — заключительные строфы стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России»:

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
    Иль нам с Европой спорить ново?
    Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

§ 7. Хотелось бы посоветовать читателю особо внимательно отнестись к выразительной роли интонации.

Что такое интонация? Это движение, в процессе развертывания речи, высоты ее звучания, силы, темпа, тембра и членение ее паузами. Таким образом, интонация — явле-

ние весьма сложное, несмотря на то, что слушателем оно воспринимается как нечто целостное, нерасчлененное и потому «простое».

Язык располагает «набором» типовых интонаций, так сказать, инвариантных интонаций, варьируемых в больших пределах говорящими в живой речи. Эти типовые, инвариантные интонации, соответствующие разным синтаксическим структурам и их «актуальному» членению (т. е. членению, требуемому выражаемым смыслом), и могут быть названы интонационными единицами языка. К сожалению, наука еще не умеет эти интонационные единицы называть и точно описывать. Но кое-что известно. Можно назвать, например, работы Е. А. Брызгуновой. Что же касается роли итонации, об этом сказано много и интересно и лингвистами, и литературоведами, и теоретиками и практиками театрального искусства, и педагогами. Известно, например, какое значение придавал интонации К. С. Станиславский, как внимателен к ней был А. С. Макаренко.

Каждое из слагаемых интонации (высота, сила, темп, тембр, паузы), будучи компонентом целого, обнаруживает и некоторую автономию. Например, при одном и том же рисунке высоты можно дать изменение тембра: *Ты куда?* — движение высоты тона будет идти снизу вверх. Однако тембр (и сила) могут меняться в разных условиях и у разных людей.

По-видимому, усваивая язык, мы прочнее усваиваем типы изменений тона по высоте, и мы остаемся более свободными в возможностях варьирования тембра, темпа, силы и пауз. Есть, конечно, какие-то заданные языком модели этих компонентов интонации, но эти модели оставляют большие возможности для личностного их применения.

Интонационные «рисунки» высказываний, предлагаемые и допускаемые свойствами современного русского литературного языка, многочисленны, разнообразны и очень чутки к той информации, которая высказыванием выражается и возбуждается. Именно этим нужно объяснить громадную роль интонации как выразительного средства речи и как средства, усиливающего ее воздействие на сознание людей.

Интонация позволяет выражать не только логическое значение высказывания, но и его эмоциональные и волевые «созначения» (конечно, при условии, что эти созначе-

ния в лексико-семантической и грамматической структуре высказывания «заложены»).

Вот почему интонация высказывания постоянно вторгается в нашу психическую жизнь — на работе, в магазине или ателье, дома. Директор с подчиненными может говорить вежливо и тактично, но твердо — подчиненный не будет таким разговором обижен. Другой директор в подобных же условиях поговорит с подчиненным резко, грубо, бестактно — будет нанесена обида личности подчиненного. Вспомним, как часто грубят продавцы покупателям в магазинах, и эта грубость, черствость, невнимание прорываются прежде всего в интонациях. Вспомним, как часто и бездумно молодые люди бестактно говорят друг с другом и со старшими, и эта бестактность слышна прежде всего в интонации. Вспомним, как часто учитель «срывается» и начинает кричать на учеников или раздраженно выговаривать им за что-то, а крик и раздражение, переливы тембра вызывают в ответ только замкнутость или раздражение. То же самое нередко происходит в семьях, когда старшие выплескивают в души младших свое раздражение и досаду, не зная или забывая, что ни интонация досады, ни интонация раздражения, ни тем более интонация временного озлобления — не могут воспитывать добрые чувства в детях, порождая в ответ старшим замкнутость и отчужденность. Возникает, таким образом, большой круг вопросов и задач, связанных с использованием интонации в сугубо практических целях — в нашей повседневной жизни. Нельзя, к сожалению, дать людям рецепты. Можно лишь посоветовать: помните, что ваша интонация — это зеркало вашей эмоциональной жизни, движений вашей души; культура чувств и эмоциональных межличностных отношений неразрывно связана с культурой интонационного «оформления» высказываний.

Что происходит с интонацией, когда речь фиксируется на письме? Пунктуационными знаками интонация почти не обозначается: эти знаки соответствуют грамматическому, а не интонационному членению высказываний. Однако интонация как бы закладывается в грамматическую и лексико-семантическую организацию речи — потому, что существует связь между грамматическим и лексико-семантическим строением высказываний и их интонационным рисунком. Человек, говорящий на родном языке и усвоивший хотя бы основные интонацион-

ные «схемы», «рисунки», находит, как правило, интонацию, соответствующую читаемому высказыванию и «выдает» интонацию слушателям либо представляет ее в своем сознании.

Однако нередко оказывается, что личный речевой опыт человека, его знание языка и навыки его применения в речи — недостаточны, они неизмеримо беднее и у́же того, чем располагает язык, у́же тех возможностей, которые он предоставляет. Что в этом случае происходит? Появляется скрытый, невидимый и незамечаемый конфликт между автором, написавшим какое-то произведение, и читателем этого произведения. Такой конфликт возникает часто в условиях школы, когда ученику 8-го класса предлагают самостоятельно читать тексты Л. Толстого. Л. Толстой — мастер осложненных синтаксических структур (я не говорю, разумеется, о сказках Л. Толстого), связанных с гибкими и разнообразными интонациями, «заданными» текстом «Войны и мира»; представим себе, чтó произойдет с выражением и усвоением идейной и эстетической информации, если текст читает не освоивший интонацию русского языка ученик VII—IX класса. Часть этой информации будет потеряна, часть искажена. На это можно возразить, сказав, что ведь ученик читает Л. Толстого не вслух, а про себя. Но это слабое возражение. Когда мы читаем текст про себя, мы представляем себе его интонационное оформление. Ученик неизбежно представит его искаженно и бедно, если не владеет как следует интонационными закономерностями языка. Это нередко и происходит в школах. Причиной слабого, неверного понимания текстов (и не только художественных) может оказаться интонационная неразвитость учащихся, которых надо учить читать достаточно сложные тексты, давая этим текстам требуемую их содержанием интонацию.

В школах многие ребята слабо усваивают поэзию В. Маяковского — по той же причине. Маяковский реформировал интонационно-ритмическую сторону русской стихотворной речи. Его интонации — разговорно-ораторские, гибкие и подвижные. Стихи Маяковского надо уметь читать. Ученик сам с этой задачей, как правило, не справляется, а учитель нередко отказывается от помощи ученику, потому что сам читать стихи нашего крупнейшего поэта не умеет — опять-таки прежде всего из-за неуверенного владения необходимыми интонацион-

ными навыками. А стих Маяковского без нужной интонации лишается своей колоссальной силы воздействия.

Так теоретический вопрос об интонации, ее свойствах и ее типах оборачивается сугубо практическими вопросами повседневной жизни людей, их взаимоотношений, их психического самочувствия и настроения, их учения и труда.

§ 8. Есть и такие средства языка, которые убивают или резко ослабляют выразительность нашей речи; среди них на первых местах — канцелярские языковые (речевые) штампы и интонационная бедность.

Почему штамп деловой речи ослабляет выразительность? Потому что за штампованной речью, как правило, нет работы мысли и чувства говорящего или пишущего. Язык работает, а сознание пусто или почти пусто. Штампы известны всем, их много раз слышали или читали, и они поэтому не несут с собой — для слушателя или читателя — никакой новой информации, они привычны.

Конечно, едва ли найдутся люди, которые всерьез станут предлагать освободить полностью нашу речь от словесных стереотипов. Это и невозможно и не нужно. Невозможно потому, что язык эти штампы и стереотипы создает, откликаясь на потребность в них, особо ощутимую в делопроизводстве. Не нужно потому, что штампы и стереотипы в определенных областях человеческого труда и человеческих отношений не могут быть ничем заменены.

Значит, проблема не в том, чтобы изъять из языка все штампы и стереотипы, а в том, чтобы не ограничиваться только ими в деловой речи и резко уменьшить их воздействие на речь других стилей, прежде всего на речь газетно-публицистическую и научную, да и на художественную тоже.

Глубокое сожаление вызывает знакомство с такими газетными страницами, на которых вместо точного и понятного, выразительного и действенного публицистического слова читатель встречает цепочки штампов, скрепленных кое-как словами общего, живого употребления. А таких страниц, как показывает читательский опыт, немало, особенно в районной и областной печати.

Вот два газетных «образца»:

а) «Повышение качества изготовляемой продукции является одним из важнейших направлений повышения эффективности произ-

водства. Съезд партии задачу конкретного улучшения качества продукции поставил в ряд центральных задач развития промышленности в текущей пятилетке.

Труженики нашего района, понимая важное народнохозяйственное значение решения этой задачи, сразу включились в борьбу за высокое качество продукции. Коллективы многих промышленных предприятий добились значительных успехов. На заводе газовой аппаратуры уделяется постоянное внимание увеличению надежности изделий».

б) «Коллектив дизелестроительного завода по праву считается одним из передовых в нашем городе. Завод успешно справляется с выполнением государственного плана и социалистических обязательств, четвертый год удерживает переходящее Красное знамя в соревновании предприятий отрасли. В результате рентабельной работы завод за счет фонда предприятия смог построить школу рабочей молодежи, детский комбинат на 140 мест, провести большие работы по благоустройству поселка, ремонту жилья».

Посмотрите, читатель, повнимательнее на эти, не самые худшие газетные строки! Возьмем в первом тексте первое предложение. В нем три стереотипа и больше ничего: «повышение качества изготовляемой продукции», «является одним из важнейших направлений» и «повышение эффективности производства». Во втором высказывании также три стереотипа: «задача улучшения качества продукции», «ряд центральных задач развития промышленности» и «текущая пятилетка». Так же стереотипированы и остальные предложения первого «образца» и все предложения второго.

А между тем авторы и редактор могли бы несколько поумерить активность стереотипов и тем самым несколько усилить выразительность речи. Для этого нужно совсем немного: желание написать по-иному и чуточку знаний.

а) *Нужно улучшить качество изделий промышленности — таково требование съезда партии. Это центральная задача в наступившей пятилетке. Это одно из важнейших направлений усиления эффективности производства.*

Трудящиеся района поняли эту задачу. Они успешно борются за продукцию хорошего качества, и многие предприятия делают это успешно. Коллектив завода газовой аппаратуры обеспечивает рост надежности изделий.

б) *Дизелестроительный завод — один из передовых в нашем городе. Коллектив завода успешно выполняет государственный план и социалистические обязательства. Четвертый год завод получает в своей отрасли переходящее Красное знамя. Завод работает рентабельно и за счет фонда предприятия построил школу рабочей молодежи, детский комбинат на 140 человек. Завод помог поселку в благоустройстве и ремонте жилья.*

Так преобразуются скучные и серые тексты после небольшой редакторской правки. Тексты стали четче, выразительнее. Так почему же это не было сделано ни авторами, ни редакторами газеты?

Текст специальный, научный также начинает испытывать воздействие языка канцелярий. Вот как специалист дает советы своим читателям:

«В основных зонах свеклосеяния в текущем году сложились необычные погодные условия, требующие своеобразных приемов при завершении ухода за посевами и на уборке. Полуторная, а в некоторых местах и двойная норма летних осадков способствовала уплотнению почвы, развитию сорняков на плантациях. Значительные затруднения в работе свеклоуборочных комбайнов могут вызвать цветушные (Так! — *Б. Г.*) растения, которые забивают выращивающие и режущие механизмы, ухудшают процесс переработки свеклы на заводе. Поэтому сейчас нельзя ослаблять внимания к уходу за посевами сахарной свеклы вплоть до уборки урожая».

Ну, а если так?

Погода в этом году дождливая, мешает уборке свеклы. Дождей выпало в полтора-два раза больше обычного. Дожди уплотнили почву, помогли развитию сорняков. Свеклоуборочным комбайнам могут мешать «цветушные» растения, они забивают механизмы комбайна, ухудшают переработку свеклы на заводе. В этом году нужно особое внимание к свекле, нужны особые приемы ухода за ней.

В день 50-летия газеты «Известия» Л. Толкунов справедливо писал:

«Каждый раз, когда журналист берется за перо, он держит и политический, и профессиональный экзамен. Мы знаем много примеров, когда серость или заумность языка свели на нет выступления на очень важные темы. Написанные без мастерства и вдохновения, они, как говорится, не сработали, а, быть может, даже и скомпрометировали тему. Но самая большая беда в том, что газетный штамп порождает шаблонность мышления, своеобразное его окостенение.

Наверное, талантливый человек написал впервые: «воодушевленные единым порывом» и «чувствовать пульс времени». Когда-то эти выражения привлекли читателя своей образностью, но, повторенные миллион раз, они способны теперь лишь загубить и свежую мысль и интересный факт. Неубедительно и скучно писать о важном — значит принижать это важное, не будить общественную мысль, а усыплять ее.

Умение отобрать и осмыслить факты, увидеть за ними явление, найти самое нужное — острое и точное — слово, которое дошло бы до ума и сердца читателя,— таковы высокие требования к нашему делу, к нашей нелегкой профессии».

Можно, продолжая мысль Л. Толкунова, сказать, что таковы же требования к профессии преподавателя вуза, учителя средней школы, ученого, пропагандиста и агитатора.

§ 9. В каком отношении к выразительности речи как ее коммуникативному качеству находятся языковые и речевые стили?

Выразительность нужна речи любого стиля. Однако потребность в этом ее качестве и условия для его формирования в разных языковых стилях разные.

Наиболее благоприятны эти условия в стиле художественном. Это объясняется спецификой художественного словесного творчества. Художник создает словесную картину объективной действительности и ее отражения человеческим сознанием. Художник создает своеобразную словесную модель жизни. Одним из ведущих свойств этой модели нужно признать ее способность вызывать в сознании людей, которые ее воспринимают, живые образы действительности, включая в это понятие и живые сопереживания чувствам и настроениям людей. Художник слова «творит» из знаков языка «вторую действительность», тем самым отражая действительность первую и выражая к ней свое отношение — в образах и слитых с ними понятиях. В процессе творчества художник постоянно ищет нужные ему словесные краски, преодолевая сопротивление речевого шаблона. А «словесные краски» — это не только слова с их значениями, но и то, что эти слова организует в высказывания, т. е. и синтаксис, и интонация. Вот почему художник слова, создавая и пересоздавая речевые цепи, нарушает привычные читателям способы отбора и соединения слов, способы применения синтаксических структур и интонаций и тем самым неизбежно использует речевую выразительность как одно из главных средств своего воздействия на читателя. Мастерская, в которой выделываются средства речевой выразительности, — вот чем оказывается стиль художественный. Вот почему чтение образцовой художественной литературы обогащает наш речевой опыт и наши речевые навыки средствами выразительности.

Противоположен художественному стилю по воздействию на речевую выразительность стиль деловой. Правда, и этот стиль лишен некоторых возможностей поддерживать выразительность, связанных с одним из главных требований к любому документу — требованием логичности и точности. На деле это требование часто нарушается. И если бы удавалось писать документы с предельной точностью и логичностью, эти качества

поддерживали бы известную выразительность. Но поддержка, как видим, получается очень косвенной. Прямо же воздействуют на выразительность другие силы — штамп и речевой стереотип. А эти силы выразительность не поддерживают, а ослабляют.

Видимо, было бы хорошо, если бы люди, занятые в деловой жизни общества и государства, больше, чем теперь, знали о языке, его свойствах и возможностях, о деловом стиле и его влиянии на выразительность, о способах преодоления или ослабления этого влияния.

ГЛАВА 9

БОГАТСТВО (РАЗНООБРАЗИЕ) РЕЧИ

§ 1. Одно из главных коммуникативных качеств речи — ее богатство, или разнообразие. Оценочные слова *богатая* и *бедная* по отношению к речи применяют и ученые-филологи, и писатели, и литературные критики, и преподаватели высшей и средней школы. Видимо, полезно задуматься о том, какое реальное содержание этими оценочными словами обозначается и должно обозначаться (могло бы обозначаться), если словосочетания *богатство речи* или *разнообразие речи* применять как термины.

Обратимся еще раз к нашему речевому опыту. Он говорит нам, что художественная речь Л. Толстого или М. Шолохова — богатая; по сравнению с нею речь газеты, как правило,— бедная. Мы бываем убеждены в том, что речь известного произведения «Жизнь растений» К. А. Тимирязева — разнообразна (богата), а речь сочинения, написанного учеником-троечником, как правило, однотонна, однообразна (бедна).

Чем, какими структурно-языковыми особенностями речи возбуждаются те впечатления, которые позволяют нам без больших расхождений в оценках одну речь называть богатой, другую — бедной? И есть ли какая-нибудь возможность объективно проверить наши субъективные впечатления?

Конечно, само по себе совпадение оценочных мнений многих людей, утверждающих, например, что речь Пушкина или Ленина богата и разнообразна, а речь многих художественных произведений-однодневок и многих докладов на наших собраниях — бедна и однотонна,— само по себе совпадение оценочных мнений снимает возможный упрек в субъективности выражаемых этими мнениями оценок. Однако это обстоятельство не избавляет

каждого отдельного читателя или слушателя от ошибочных впечатлений и не снимает проблемы объективной проверки того, насколько обоснованы и надежны наши индивидуальные оценки, даваемые как «просто» читателями, так и читателями (или слушателями) — специалистами в области языка и литературы.

§ 2. Попытаемся наметить качественно-количественный аспект понимания и изучения богатства (разнообразия) речи.

Исходной мыслью такого понимания может стать следующая: чем больше различных и различаемых сознанием читателя или слушателя языковых знаков, их признаков и их сцеплений приходится на одну и ту же «речевую площадь», на одно и то же «речевое пространство», тем речь богаче, разнообразнее.

Мысль эта может быть пояснена таким сравнением.

Представим себе, что в распоряжении двух людей находятся не знаки языка, а маленькие предметы, различающиеся своей геометрической формой и своей окраской: шарики, кубики, параллелепипеды, конусы и т. д., окрашенные в основные цвета спектра. Предположим, что первый из двух людей, принимающих участие в эксперименте, имеет шарики и кубики зеленого, желтого и белого цвета. Второй человек, принимающий участие в эксперименте, имеет шарики, кубики, параллелепипеды и конусы зеленого, желтого, белого, красного и голубого цвета. Перед каждым из участвующих в эксперименте поставлена задача: составить из имеющихся предметов цепочки длиной в 10 и 20 единиц каждая; при этом нужно получить как можно больше цепочек, не повторяющих друг друга, т. е. отличающихся хотя бы одним элементом — по его форме, по его окраске, по его месту в цепочке, по его сочетанию с другим элементом (или — другими элементами).

Нетрудно понять, что первый из двух людей, принимающих участие в эксперименте, находится в худших условиях по сравнению со вторым, поэтому второй лучше и быстрее справится с поставленной экспериментатором задачей — построит больше цепочек, не повторяющих друг друга, и сделает это быстрее.

Этот мысленный эксперимент разрешает сформулировать два важных положения, позволяющих представить, что́ может обозначаться словами и словосочетаниями *богатая речь* и *бедная речь* (при условии их терминирования) и что оказывается необходимым структурно-языковым условием богатой и бедной речи.

Так, очевидно: речь тем богаче, чем реже повторяются в ней одни и те же знаки и цепочки знаков, а это, в свою очередь, означает, что речь тем богаче, чем она разнообразнее по своей языковой структуре, и именно

это обстоятельство позволяет как бы отождествлять понятия богатства и разнообразия речи.

Второе теоретическое положение касается структурно-языковых условий, обеспечивающих богатство речи. Очевидно, таким условием оказывается (если иметь в виду речь одного человека, индивидуальную речь) активный запас языковых средств, т. е. тот запас слов, их значений, запас моделей словосочетаний и предложений, запас типовых интонаций и т. д.— тот запас, из которого человек способен выбрать нужное ему средство и применить его для построения речи, выражающей необходимую информацию. Вместе с тем условием, обеспечивающим богатство речи, ее разнообразие, оказывается и совокупность навыков, нужных для незатрудненного и целесообразного применения средств языка, которые находятся в активном языковом запасе человека. К числу условий речевого богатства людей нельзя не отнести степень активности и самостоятельности работы их сознания и мышления.

§ 3. Общее понятие речевого богатства (разнообразия) может получить конкретизацию, расчленение в зависимости, прежде всего, от того, какие структурные элементы языка участвуют в построении речи и ее структурном воздействии на сознание и мышление человека.

Прежде всего хочется (и принято) говорить о л е к с и ч е с к о м богатстве речи, которое проявляется в том, что непреднамеренные, не несущие специального коммуникативного задания повторения одних и тех же слов применяются в речи как можно реже. Этого можно достигнуть лишь при условии большого активного запаса слов: вспомним, что этот запас у Пушкина превышал 21 000 единиц, а у современного взрослого образованного человека не превышает, по некоторым данным, как правило, 10 000—12 000 единиц; немало людей, активный запас которых меньше названной величины, а людоедка Эллочка у Ильфа и Петрова, как известно, располагала примерно 30 словами! Конечно, активный лексический запас выдающихся современных писателей, ученых, политических деятелей велик, но нужны специальные, «авторские» словари, чтобы его объем знать точно.

Особый слой речевого богатства образует богатство фразеологическое (его можно рассматривать и как составную часть лексического богатства), нашедшее

ярчайшее и немеркнущее проявление в речи басен И. А. Крылова.

Пристальное внимание ученых привлекает к себе семантическое богатство речи, выявляемое разнообразием и обновлением словесных связей, лексической синтагматики. Еще в начале XIX в. А. С. Пушкин заметил: «...разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в *соединении* слов. Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторение лексикона. *Мысль* отдельно никогда ничего нового не представляет: *мысли же* могут быть разнообразны до бесконечности» [*76*, 115].

Пушкин, конечно, не случайно поставил в связь неистощимость языка в соединении слов и неистощимость разума в соединении понятий. Ведь это, в частности, означает и неистощимость синтагматического варьирования и обновления семантики слов и их сцеплений, что предоставляет каждому автору неограниченные (по крайней мере, практически) возможности обогащения своей речи. Однако именно этот источник обогащения речи очень часто остается неиспользованным, а многие пишущие и говорящие проходят мимо него, не замечая ни его существования, ни нудного, серого однообразия и бедности своей речи, насыщенной повторениями речевых стандартов, готовых словесных блоков, иссушающих живую мысль и чувство.

В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» (1979) говорится: «Большим недостатком, существенно снижающим эффективность воздействия воспитательной работы на сознание и чувства людей, являются нередко встречающиеся формализм, склонность к словесной трескотне, всякого рода пропагандистским штампам, серый «казенный» стиль материалов, многократное механическое повторение общих истин вместо их творческого осмысления, поиска живой и доходчивой формы».

Одной из главных причин, порождающих и поддерживающих словесную трескотню, штампы, серость и казенщину стиля, является бедность речи пропагандистов и агитаторов, неумение пользоваться семантическими связями слов и возможностью их обновления.

Нужно видеть и такой слой совокупного богатства речи, который создается применением синтаксических средств языка — предложений простых и сложных. «На-

боры» и ряды грамматических моделей таких предложений (и вариантов этих моделей, создаваемых относительно свободным словопорядком русского языка) обширны и позволяют разнообразить речевую структуру, обогащать речь. Достаточно вспомнить читательское впечатление, рожденное воздействием речи Пушкина, Герцена, Тургенева, Л. Толстого и Чехова, чтобы «увидеть» активное участие синтаксиса в обогащении и разнообразии речи. По контрасту вспоминается всем известная синтаксическая бедность речи многих газетных материалов и многих наших выступлений на собраниях и заседаниях. М. Шолохов, Л. Леонов, К. Паустовский, М. Булгаков, К. Федин щедро, умело и каждый по-своему применили в известных читателю произведениях синтаксические средства языка, показали, как можно и нужно обогащать и разнообразить синтаксическую сторону современной русской речи.

Еще один «пласт» речевого богатства — интонационный, прочно связанный с «пластами» лексическим, семантическим и синтаксическим. Правда, интонационная бедность или интонационное богатство речи явно выражены в речи звучащей и слышимой. Но было бы ошибкой думать, что в речи письменной и читаемой интонация перестает «работать»: она всегда «задана» лексико-семантической и синтаксической структурой речи и всегда присутствует как в сознании пишущего, так и в сознании читателя. Однако речь произносимая и слышимая обеспечивает использование автором и слушателем одной и той же интонации, в то время как речь письменная и читаемая допускает и предполагает применение автором и читателем интонации различной, и это неизбежно хотя бы потому, что адекватное понимание речи, в особенности художественной, автором и читателем практически невозможно, что, в свою очередь, зависит и от бо́льшего или ме́ньшего несовпадения ее интонирования, подсказанного сознанием автора и сознанием читателя.

Особо пристального внимания к себе ждет такой слой богатства речи, который включает в себя ее организацию и динамику. Эти несколько необычные термины требуют пояснения. Под организацией речи будем понимать связи ее языковых элементов, их следование и взаиморазмещение, их комбинирование, их контактное и дистантное взаимное притяжение и отталкивание. Под

динамикой речи будем понимать ее развертывание в соответствии с движением сознания автора.

Конечно, организация и динамика речи в пределах небольшой газетной статьи, или ученического сочинения, или устной информации о результатах экзамена по математике едва ли могут стать заметно разнообразными. Но речь большого пропагандистского выступления, речь популярной научной статьи или книги, в особенности речь художественного произведения открывают перед их авторами большие возможности разнообразия организации и динамики речевых структур. Вспомним хотя бы о том, как меняет талантливый, хорошо владеющий языком писатель организацию и динамику своей речи на протяжении произведения (романа, повести, поэмы, рассказа) — в зависимости от меняющегося идейного содержания, характера героя, картин природы, быта людей и человеческих нравов и психологических конфликтов.

Еще больше возможностей для разнообразия организации и динамики речи открывают ряд произведений, написанных одним и тем же автором, все его творчество. Здесь нельзя не вспомнить имя Пушкина, совокупность произведений которого содержит такое богатство организации и динамики речевых структур, что подчас начинаешь недоумевать, как все это могло быть создано одним человеком (возьмем как иллюстрацию лишь три строки трех известных стихотворений: «Я помню чудное мгновенье...», «Буря мглою небо кроет...», «Духовной жаждою томим...»).

И еще отчетливее динамика и организация речи как слагаемое ее богатства и разнообразия видны в совокупности произведений литературы разных жанров, использующих разные функциональные языковые стили (организация и динамика диалогической разговорной речи, организация и динамика речи делового отчета, организация и динамика речи повести с острым, динамичным сюжетом).

Перечисляя структурно-языковые пласты совокупного речевого богатства, нельзя не упомянуть и об информативной насыщенности речи, ее языковой структуры. Конечно, информативная насыщенность зависит не только от избранного автором речи языкового материала и его применения, но и от его «насыщения» мыслями, чувствами, различными состояниями сознания. Леность мысли, скольжение ею по поверхности явлений, равноду-

шие и притупленность чувств неизбежно ведут за собой серость, однотонность, скудость речи, обедняют и лексику, и семантические связи, и синтаксис, и интонацию, и организацию и динамику речи. Поистине, язык есть действительное, практическое сознание, и не может не поражать, если задумаешься, глубина этой удивительной мысли Маркса, о которой хотели бы забыть некоторые представители модернистско-формалистических школок и направленьиц в литературе и филологии.

Таким образом, богатство (разнообразие) речи как ее коммуникативное качество может быть понято на основе соотношения речь — язык и речь — сознание, и оно (богатство речи) не может быть разъяснено через обращение лишь к одной структурной области языка, например лексике. Богатство речи многослойно, и нужно различать в совокупном речевом богатстве богатство лексическое, семантическое, синтаксическое, интонационное, богатство организации и динамики языковых средств в речи, богатство ее информативной насыщенности. Богатство речи можно определить как максимально возможное насыщение ее разными, не повторяющимися средствами языка, необходимыми для выражения содержательной информации; степень богатства речи может меняться в значительных пределах и зависит, прежде всего, от усвоения автором речи языка и навыков его применения, активности работы авторского сознания, от глубины и самостоятельности понимания автором речи ее предмета (объекта).

§ 4. Можно ли более или менее объективно судить о мере языкового богатства или языковой бедности нашей речи? Видимо, можно, если применять хотя бы несложные процедуры статистического анализа текста.

Примем следующее предположение. (Далее будет говориться лишь о лексическом богатстве и бедности речи, но аналогичный подход возможен и к другим пластам совокупного речевого богатства, хотя при этом будут возникать дополнительные сложности.) Допустим, что у автора А запас активно работающих в его речи полнознаменательных лексем велик, а у автора Е — мал. Допустим, далее, что и автор А и автор Е построили текст определенной длины (в 10 000 словоупотреблений полнознаменательных лексем) и однотипного содержания одного и того же жанра. Естественно думать, что речь автора А окажется лексически богаче речи автора Е, т. е. будет содержать бóльшее, чем у автора Е, число неповторяющихся и разных слов. Совокупное число повторений одних и тех же слов окажется бóльшим у автора Е — просто потому, что его активный

лексический запас невелик и возможности неповторного применения отдельных слов заметно ограничены.

В связи с тем, что сказано, понятно и то, что автор А позже, чем автор. Е, развертывая свою речь, начнет повторять уже примененные слова и нарастание совокупности, суммы всех повторений окажется у автора А более медлённым.

Высказанные предположения позволяют использовать две несложные, хотя и трудоемкие, методические процедуры.

а) Возьмем несколько текстов разных авторов, но одного стиля (или несколько текстов разных жанров или стилей); объем каждого текста в десять тысяч, лучше — в двадцать пять тысяч, а еще лучше — в пятьдесят или сто тысяч словоупотреблений, не считая употребления служебных слов. Установим, сколько разных слов (лексем) встретилось в тексте, и определим, каково соотношение числа разных слов (лексем) и числа словоупотреблений по несложной формуле: $K=\frac{N}{n}$,

где N — число лексем, а n — число словоупотреблений; чем больше окажется полученная в результате вычислений десятичная дробь, тем заметнее лексическое богатство речи. Можно применить иную формулу, пожалуй, более чутко, чем первая, улавливающую разницу лексического богатства двух сравниваемых текстов. В каждом из них мы подсчитываем общее число словоупотреблений, общее число лексем и число лексем, каждая из которых не повторена в тексте. Вычисляем показатель лексического богатства по формуле: $K=\frac{n-N_0}{N-N_0}$,

где N — число лексем, n — число словоупотреблений, N_0 — число не повторенных в тексте лексем. Осуществив вычисления, мы получим число, показывающее величину повторяемости лексем, своеобразный коэффициент повторяемости. Чем больше этот коэффициент, тем, очевидно, беднее речь лексически.

б) Для вычисления показателя, который укажет нарастание числа лексических повторений в тексте, разделим его (он должен быть достаточным по длине — скажем, в 10 или 25 тысяч словоупотреблений) на равные куски, отрезки — например, по 500 или 1 000 словоупотреблений (не считая, как и в предшествующем случае, служебные слова). Установим, сколько повторений одних и тех же лексем встретилось в первом куске текста, затем — в первом и втором вместе, затем — в первом, втором и третьем вместе и т. д. Получим ряд чисел, говорящих об интенсивности нарастания повторений. Эти цифры можно показать в таблице или построить кривые на оси координат. Чем интенсивнее нарастает повторяемость лексем, тем круче кривая на графике, тем беднее лексически речь.

Возможны и иные статистические подходы к речи — для объективного измерения ее лексического богатства и лексической бедности.

Не будем забывать, что лексическое богатство — лишь одно из слагаемых совокупного богатства речи; применение же статистики для измерения других слагаемых пока кажется очень сложным и едва ли практически применимым.

§ 5. Проблема речевого богатства и речевой бедности получает несколько иное освещение, когда мы рассматриваем ее применительно к функциональным стилям языка и стилям речи. Возникает несколько непростых вопросов, в их числе: а) какие функциональные стили языка благоприятны для роста речевого богатства? б) применимо ли понятие богатства речи к стилям языка, взращивающим шаблоны и стереотипы, требующим однозначной повторяемости терминов и типовых синтаксических блоков? в) какое участие коммуникативное качество богатства речи принимает в формировании речевых стилей? г) не следует ли в совокупное речевое богатство включать и такой его пласт, который создается взаимодействием стилей? д) должно ли как-то изменяться понимание богатства речи как ее коммуникативного качества, если иметь в виду речь личности, речь литературного жанра, ситуативные виды и типы речи, речь отдельных социальных слоев населения, речь общества в целом и в определенный период его развития? Попытаемся осторожно подойти к ответам на поставленные вопросы, предполагая, что вполне обоснованные и полные ответы будут получены наукой несколько позже.

1. Из языковых функциональных стилей наиболее благоприятен для обогащения речи стиль художественный. Это объясняется прежде всего особенностями тех запросов, которые направляет языку словесно-художественное творчество. Прозаик, поэт, драматург всегда нуждаются в обогащении своей, авторской речи и речи персонажей, в увеличении меры речевого разнообразия. Почему? Потому что чем богаче речь, тем точнее, тоньше, выразительнее, образнее и самобытнее обозначает словом писатель художественно отраженную и преобразованную действительность, тем полнее, точнее и действеннее выражает свое отношение к ней, свое эстетическое ее восприятие.

Внутренний мир художника, большого и талантливого художника, т. е. мир его сознания,— это мир богатый и самобытный, вобравший в себя больше художественно осознанных впечатлений бытия, чем это свойственно обыкновенному человеку. Но чем богаче и самобытнее, чем тоньше и ранимее мир сознания прозаика или поэта, тем, очевидно, необходимее ему богатая и самобытная речь как практическое, осуществленное сознание.

Мера богатства (разнообразия) речи художествен-

ной, в ее целом, а не в отдельных авторских проявлениях, заметно превышает эту же меру любого из остальных функциональных стилей языка. А это означает, что художественная литература была и остается источником обогащения речи общества и отдельных людей. Это знали писатели-классики, об этом помнят и лучшие современные прозаики и поэты. Обществу, людям нужны очень бережное и требовательное отношение писателя-художника к словесной стороне своего творчества, умение и желание лелеять и пестовать речевое богатство. И это нужно не только ради того, чтобы сами художественные произведения оправдывали свое название художественных, но и ради того, чтобы они обогащали речь людей.

К сожалению, далеко не все писатели, критики и литературоведы именно так воспринимают речь художественных произведений. Особенно тревожит отношение критики к художественному слову: как правило, о «языке и стиле» критики либо ничего не пишут, либо отделываются общими фразами о «богатом», «выразительном» и даже «народном» языке такого-то произведения или автора.

Правда, иногда мелькают и проблески надежды. Один из них — статья В. Васильева «Монолог о слове», опубликованная в «Комсомольской правде» 23 сентября 1977 г. В этой статье говорится:

«Толстые и тонкие литературно-художественные и общественно-политические журналы наши крайне редко, если не сказать — вовсе не занимаются языком. Посмотрите отделы критики и библиографии, и вы в этом легко убедитесь.

Мало того. Мы утрачиваем представление о языке как целостном организме. Искусственно дробим язык на вотчины, назойливо внушаем читателю мысль о всеобщности и перспективности какого-либо стилистического направления в искусстве слова и живой речи. В критике последних лет, особенно в небольших монографиях о творчестве писателей, стали общим местом рассуждения о том, что такой-то автор осваивает фольклор и язык деревни, такой-то — города, имярек использует термины науки и искусства и т. д.

Деление не лишено оснований. Не совсем точное по отношению к реальности, оно все же отражает современную языковую ситуацию в литературе и невольно поощряет в художнике речевую ограниченность, направляет его поиски на заведомо узкое восприятие и знание жизни.

Жалок писатель, черпающий малую толику из богатейшей сокровищницы духа. В произведениях Пушкина заговорили все сословия современной художнику эпохи. Потому-то Пушкин и универсален по глубине и широте охвата действительности. Ныне же языковая бедность, а следовательно, и плохое знание действительности

почему-то выдаются за индивидуальную особенность творчества того или иного художника.

Небрежение к родному языку становится своего рода модой».

Что же, сказаны горькие, тревожные и, главное, справедливые слова. Они имеют прямое отношение к нашему разговору о богатстве (разнообразии) речи художественной. Да, художник слова ответствен за судьбы родной литературы и родного языка, за его правильность, чистоту, выразительность и богатство, он ответствен за состояние речевой культуры общества. И эту его ответственность должны помнить, видеть и оценивать критики.

Другие языковые функциональные стили менее благоприятны для поддержания и развития речевого богатства (за исключением стиля разговорно-бытового). Если этот стиль не сдерживается влиянием речи газет и канцелярских отчетов, он может помогать и помогает речевому богатству. Именно в разговорной речи возникают многие и разноликие соединения слов — острые, шутливые, иронические, образные, видоизменяющие уже установившуюся семантику. Именно в ней, разговорной речи,— великое множество интонационных перепадов и переходов, трансформирования синтаксических структур и синтагматических сцеплений различных языковых знаков. Разговорная речь как воплощение и осуществление разговорно-бытового стиля литературного языка связывает и сращивает этот язык с общим разговорным языком народа и его, этого языка, местными и социальными диалектами. Поэтому разговорно-бытовой стиль поставляет лексический и семантический материал из разговорного этноязыка и его диалектов в литературный язык — если в этом возникает необходимость.

Недаром же Пушкин учился языку и у своих предшественников-литераторов, и у няни Арины Родионовны, и у московских просвирен. Пушкину принадлежат известные и мудрые слова: «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг, и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» [*76*, 117]. И еще о том же: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусно-

го писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» [76, 117].

2. Менее всего пригоден для поддержания речевого богатства стиль деловой. Можно и нужно понять социальную необходимость его существования со всеми его стереотипами и шаблонами, но нельзя мириться с массовым проникновением этих шаблонов и стереотипов в живую разговорную и художественную речь, уменьшающим меру речевого богатства и увеличивающим меру речевого однообразия и бедности.

Возникает даже и такой вопрос: применимо ли понятие богатства речи к стилям языка, требующим стереотипов и шаблонов, однозначной повторяемости терминов и типовых синтаксических блоков? Для ответа полезно обратиться прежде всего к тому стилю, который наименее пригоден для поддержания речевого богатства, т. е. деловому.

Конечно, если иметь в виду всю массу речевых произведений, соотнесенных со всеми языковыми стилями, то едва ли можно говорить о речевом богатстве стиля делового: по сравнению с другими он беден. Однако ведь и он неоднотипен и неоднороден: он имеет, видимо, внутристилевые варианты, отличающиеся друг от друга какими-то признаками и свойствами, и в их числе — различиями в степени (или мере) богатства речи. Речь бухгалтерского отчета, видимо, беднее речи дипломатического соглашения с иностранным государством по вопросам культуры, науки и образования. Точно так же речь отчетного доклада председателя союза писателей об их творчестве окажется богаче речи сообщения проректора вуза об итогах экзаменационной сессии. Так что коммуникативное качество «богатство речи» присуще, конечно, и деловому стилю, и в нем (в пределах его социальных обязанностей и структурных возможностей) существует речь более богатая и более бедная, хотя и та и другая, при ее сравнении с речью иных стилей — особенно стилей художественного и разговорного — окажется бедной. И одной из задач развития речевой культуры отдельных людей и общества в целом становится не только ограждение публицистического, научного, разговорного и художественного стилей от обедняющего

воздействия стиля делового, но и обогащение, возможное «оживление» делового стиля, уменьшение в объеме слишком разросшихся словесных стереотипных блоков, включение в деловую речь элементов других стилей, в частности разговорного (разумеется, в пределах, диктуемых целесообразностью и уместностью) и т. д.

К сожалению, в современной научной литературе немало фактов, говорящих об обеднении и речи научного стиля. Такая речь нередко насыщается иноязычными терминами, к тому же не несущими определенной информации. Таким образом, несмотря на увеличение числа терминов, которое, возможно, само по себе могло бы вести к обогащению лексического пласта речевого богатства, совокупное речевое богатство научных текстов нередко чахнет — просто из-за того, что непонятные читателю и невразумительные термины и опирающиеся на эти термины отрезки речевых структур малоинформативны, нет и необходимого для уменьшения речевой бедности разнообразия в организации и динамике речевых структур. Едва ли можно оправдывать бедность научного стиля, вызванную малой информативностью примененных терминов, неясностью семантических связей, плохой организацией и динамикой речи, ссылками на возникновение (в пределах одной и той же науки) нескольких и притом разных языков. Когда читаешь статьи, авторы которых серьезно говорят о нескольких языках в пределах одного (научного или художественного) стиля, хочется таких авторов серьезно же спросить: а что, собственно, вы называете языком? Не размываете ли вы и этот привычный термин, лишая его информативной насыщенности и увеличивая тем самым меру бедности речи, используемой в научном лингвистическом общении? (Пусть читатель посмотрит статью А. Чудакова «Кому устанавливать имена» в «ЛГ» от 6 июня 1979 г.).

3. Коммуникативное качество — богатство речи — в разных языковых стилях выявлено в неодинаковой степени и «сформировано» из свойственных ему пластов, или слоев (лексический, семантический, синтаксический и др.), по-разному. Получается, таким образом, что языковые стили не только образуют питательную среду, поддерживающую или угнетающую речевое богатство, но и сами оказываются в большой зависимости от этого коммуникативного качества. Богатство речи становится, в известной мере и в известном отношении, качеством

стилеразличающим и стилеобразующим. Возникает потребность внимательно всмотреться в другие коммуникативные качества — не принимают ли и они участия в стилеразличении и стилеобразовании.

Правильность речи нужна всем стилям и лишь в одном из них, а именно разговорно-бытовом нормы литературного языка соблюдаются не так строго, как в остальных.

Точность и логичность также нужны всем стилям, хотя несколько видоизменяются применительно к стилю художественному и несколько «пошатываются» в стиле разговорно-бытовом.

Чистота — коммуникативное качество, необходимое в современном обществе всем стилям; правда, и в этом случае приходится говорить о менее строгом соблюдении требования чистоты речи именно в разговорно-бытовом стиле.

Уместность речи необходима во всех стилях.

И лишь выразительность речи оказывается в чем-то близкой речевому богатству — по участию в стилеразличении и стилеобразовании. Выразительность прежде всего нужна стилю художественному, им она поддерживается и развивается, его обслуживает. Но выразительность нужна и стилю разговорно-бытовому. В ней остро нуждается стиль публицистический. Она хороша и в стиле научном. Она присутствует даже в лучших образцах речи деловой. Ее участие в различении и образовании стилей очевидно, однако отчетливо выражено лишь в противопоставлении стилей художественного и разговорно-бытового остальным.

Совокупное речевое богатство и разные его пласты более выраженно, почти явно участвуют в образовании и различении стилей: художественный — все пласты богатства речи; публицистический — также все пласты, но ослабленно; научный — организация и динамика речевых структур, а также информативная насыщенность слов и высказываний (по преимуществу); деловой — информативная насыщенность слов и высказываний (по преимуществу) при ослабленности других пластов речевого богатства; разговорно-бытовой — пласты лексический, семантический и интонационный (по преимуществу).

4. Языковые функциональные стили взаимодействуют, обмениваются свойственными каждому из них структурно-языковыми ценностями. В произведениях научной

литературы нередко оказываются элементы, типичные для стиля художественного или разговорно-бытового, несущие на себе «печать» этих стилей. В произведениях литературы художественной читатель встречает элементы стилей разговорно-бытового, научного, публицистического, делового. Даже деловой стиль не столь непроницаем, чтобы в произведения этого стиля не могли попасть иностилевые слова, словосочетания, синтаксические структуры. Как нужно осмысливать появление в том или ином стиле иностилевых примесей? Обогащают они речь или обедняют и засоряют ее? По-видимому, однозначного ответа на такой вопрос дать невозможно. Конечно, проникновение элементов языка, типичных для делового стиля, в авторскую художественную речь едва ли делает ее богаче.

Однако теоретическая, принципиальная сторона этого вопроса, видимо, такова: при намеренном, осознанном, уместном, контролируемом сознанием автора применении в речи иностилевых элементов языка они обогащают речь, усиливают ее разнообразие. Вот почему в число слоев речевого богатства может быть введен и пласт стилевой (или стилистический).

5. Понимание богатства речи не может оставаться без вариативных перемен, если имеется в виду индивидуальная речь, речь определенных литературных жанров, речь ситуативная, речь отдельных социальных слоев населения и речь общества в целом. Влияние личности на речь, на ее коммуникативные качества, ее речевое богатство несомненно. Чем, какими сторонами личности и ее деятельности это влияние достигается и в чем оно выражается? По-видимому, личность обогащает или обедняет речь не только в результате бо́льшего или ме́ньшего усвоения и освоения языковой структуры и возможностей ее использования, но и в результате совокупности воздействий на речевую структуру, оказываемых различными сторонами работающего личностного сознания. Активность или пассивность мышления, яркость или тусклость эмоций, сила или слабость воли, заинтересованность или равнодушие по отношению к людям — все это увеличивает или уменьшает богатство речи, расширяет или сужает круги ее разнообразия. Жанры литературы художественной, научной, публицистической, даже деловой поощряют или сдерживают речевое богатство. Подобным же образом действуют на это

коммуникативное качество ситуативные речевые стили: речь командирского приказа может быть выразительной, но едва ли может быть богатой, в то время как рассказ в кругу друзей и знакомых о туристической поездке в предгорья Тянь-Шаня может быть (в его речевом воплощении) не только выразительным, но и богатым.

Особо о богатстве и бедности речи социальных групп и общества в целом. Принципиально признаки богатой и бедной речи и в этом случае сохраняются. Но в этом случае нужно получить некое усреднение, приняв во внимание всю «массу» речи, устной и письменной, создаваемую внутри того или иного социального круга людей (военнослужащие, колхозники, ученики старших классов средней школы, артисты, пенсионеры, студенты технических и гуманитарных вузов и т. д.). Исследования, необходимые для понимания того, как связано коммуникативное качество — богатство речи — с социальными слоями людей, еще не осуществлены. И пока можно лишь предполагать, что профессия, возраст, род деятельности и другие социальные различия человеческих коллективов влияют сдерживающим или поощряющим образом на богатство речи.

Что же касается речевого поведения общества в целом и поощрения им или сдерживания речевого богатства,— это интереснейшая проблема (по сути своей социолингвистическая), уже осмысливаемая наукой, но еще далекая от обоснования и тем более — решения.

§ 6. Богатство (разнообразие) речи — это не научная гипотеза, а реальность жизни людей. Правда, как было об этом сказано ранее, нет пока вполне объективных методик, которые позволяли бы оценивать степень богатства и бедности речи без обращения к мнению отдельных людей. Однако не нужно думать, что если объективные, опирающиеся на статистику, методики пока не применяются, в оценке богатства и разнообразия речи должны царить субъективный вкус и нередко подсказываемый таким вкусом произвол по известному правилу: хорошо, потому что мне нравится; плохо, потому что мне не нравится. Есть надежный источник сведений о богатстве и бедности речи — это высказывания о ней выдающихся писателей, критиков, ученых-филологов. Есть и второй источник — речевой опыт читателей и слушателей, к которому необходимо присматриваться, потому что он, накапливаясь в течение десятилетий, сам становится

объективным мерилом качеств художественной, научной, публицистической, деловой и иной речи. Непредвзятое осмысление и анализ сведений, почерпнутых из этих источников, осуществленный на основе научного знания, позволяют судить о качестве богатства речи в разных ее социальных и индивидуальных типах и вариантах.

Так, мы хорошо знаем, что художественная речь Пушкина богата и разнообразна. «Словарь языка А. С. Пушкина» включает 21 290 разных слов — с десятками тысяч неодинаковых значений. Как уже говорилось, активный запас слов современного образованного человека примерно вдвое меньше пушкинского. Разве только одно это сопоставление не показательно? Но оно только начинает, а не завершает объективную оценку богатства и разнообразия речи Пушкина.

Вспомним: «Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов». Соединения слов и связанные с ними значения и их варианты, найденные, созданные Пушкиным, оказались настолько живыми, точными, яркими, многоликими, так обогатили художественную речь первой половины XIX в., что даже современники поэта признали за ним совершенно особое место в поэтическом речетворчестве, а потомки поэта назвали его основоположником современного русского литературного языка. Восхищает и поражает современного внимательного читателя обилие семантико-лексических, интонационных, ритмомелодических, синтаксических «рисунков», «ходов» и открытий Пушкина.

Уже по нескольким строкам, начинающим стихотворение, поэму или роман в стихах «Евгений Онегин», улавливается читателем лексическое, семантическое, синтаксическое, интонационно-ритмическое, динамическое богатство, разнообразие языковой и смысловой организации пушкинской речи:

1. Как ныне сбирается вещий Олег
   Отмстить неразумным хозарам.
   Их села и нивы за буйный набег
   Обрек он мечам и пожарам.
   С дружиной своей, в цареградской броне,
   Князь по полю едет на верном коне.
2. Буря мглою небо кроет,
   Вихри снежные крутя:
   То, как зверь, она завоет,
   То заплачет, как дитя.
3. Духовной жаждою томим,
   В пустыне мрачной я влачился.

И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
4. Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы,
Или блистали, мой читатель!
5. Как по Волге реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
6. Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает —
Журча еще бежит на мельницу ручей...
7. На холмах Грузии лежит ночная мгла,
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко: печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой...

Читатель, даже не применяя никаких специальных приемов и методик лингвистического анализа, улавливает изменение от строфы к строфе ритмо-мелодики, интонирования, лексико-синтаксической организации речевых структур, историко-литературных и языковых типов лексики.

И Гоголь с его неповторимыми отголосками русско-украинских языковых связей, городского просторечья, яркой образности значений и богатейшего, подчас прихотливого синтаксиса; и Салтыков-Щедрин с его обширнейшим лексиконом, язвительно-ироническими воздействиями семантических связей, кажущимися несоответствиями сказанного и того, что «запрятано» глубоко в смысловую сторону высказываний; и Лев Толстой с его поистине необозримым разнообразием синтаксических и интонационных структур и семантических связей между словами и их сцеплениями; и Чехов с его удивительной, доведенной до совершенства ясностью применения слов и их связей, прозрачным синтаксисом, милой и грустной иронией семантики, неназойливым, неброским включением в речевую ткань разговорно-просторечной лексики (чтобы не повредить единству литературного языка народа!); и М. Горький — с его буйством семантических красок и лексики, особенно в раннем творчестве, как бы затаенными отзвуками романтической игры смыслов высказываний, перекличкой слов на расстоянии, сложной и красивой организацией речи и нередко замедленной ее динамикой; в этом ряду и Тур-

генев, и Гончаров, и Герцен, и Бунин, и Куприн... обогатили русскую художественную, а шире — литературную речь.

Век девятнадцатый оказался щедрым на имена и таланты, сделавшие богатой русскую национальную речь. Новую эпоху в развитии поэтической речи открыл Маяковский. Сложную и прекрасную систему переносных смыслов создал Блок. Национальной русской словесной образностью, возникшей на основе устного народного творчества и разговорного просторечья, обогатил поэтическую речь Есенин. В советское время мужало и крепло творчество Леонова, Паустовского, Шолохова, Булгакова, Пришвина, Симонова, Бондарева, Астафьева, Белова, Распутина, Мартынова, Заболоцкого, Рождественского, Евтушенко, Вознесенского, Арбузова, Погодина, Вампилова, Салынского, Розова...

По убеждению М. Горького, «русский язык богат и все обогащается с быстротой поражающей». Эти слова были написаны в 1928 г. В наши дни они, очевидно, не менее справедливы, чем немного более 50 лет назад. Возьмем в качестве иллюстрации немногие текстовые примеры.

М. Шолохов: «...трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые годы кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы».

К. Паустовский: «Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивая по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцвели и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень».

Л. Леонов: «Самый лес в этом месте был серый, с подмокшими, словно обугленными снизу стволами, в ди-

ких, до земли свисавших космах мха. Он прикидывался нищим, с которого и взять нечего, и то отвлекал в сторону малинничком на поляне, усыпанным спелой ягодой, то пытался откупиться гнездом с уже подросшими птенцами, то стращал, наконец, рослым можжевелом, что, подобно схимнику в темном балахоне с островерхим колпаком, выбредал навстречу из-за корней повалившейся ели; именно эти нехитрые уловки леса и доказывали правильность пути».

Ю. Бондарев: «Дождь не переставал, нудно сеял над Гамбургом водяной пылью, серая мгла висела в воздухе. Скользкий тротуар сильно блестел, мимо проносились, шелестели, отражались в асфальте отлакированные дождем железные стада машин; загорались то зеленым, то красным светом силуэты шагающих человечков на указателях светофоров, магически дисциплинируя скопления мокрых зонтиков и непромокаемых плащей перед границами переходов; неоновую бледность источало кренделеобразное «U» над спуском в метро; тускло зеленела трава бульваров, мокли в лужах ржавые листья, а по желтым островкам листьев бродили на газонах чайки, взъерошенные, озябшие,— пахло поздней осенью, было слякотно, промозгло, дышало серой тяжестью близкого моря».

Конечно, сами по себе текстовые иллюстрации, без комментирования, без анализа, еще недостаточны, чтобы доказать мысль о богатстве речи писателя. Но и читательское наблюдение может убедить в том, что каждый из авторов имеет и вносит в художественную русскую речь современности свои структурно-стилевые черты, эту речь обогащающие.

В советское время развивается речевое богатство не только в художественной литературе, но и в науке, публицистике, разговорном общении. Особо заметно обогащающее воздействие на речевую культуру речевой деятельности Ленина. Но об этом — в главах «Выразительность речи» и «Ленин и речевая культура».

Продолжают делать свое дело законы языковой жизни.

ГЛАВА 10

УМЕСТНОСТЬ РЕЧИ

§ 1. В типологии качеств хорошей речи есть одно, которое занимает особое место по своей значимости,— это уместность. Термин в известной степени условен, но содержание его весьма конкретно и в плане экстралингвистическом, и в плане языковом.

Уместность — такой подбор, такая организация средств языка, которые делают речь отвечающей целям и условиям общения. Уместная речь соответствует теме сообщения, его логическому и эмоциональному содержанию, составу слушателей или читателей, информационным, воспитательным, эстетическим и иным задачам письменного или устного выступления.

Уместности как необходимому качеству хорошей речи уделялось большое внимание в ораторском искусстве древних греков и римлян, в теории и практике судебного и политического красноречия, уместность является одним из центральных понятий в современной функциональной стилистике.

Аристотель в «Риторике», говоря о качествах стиля публичного выступления, настойчиво обращает внимание читателя на то, что неуместно в этом стиле. Так, одной из причин ходульности ораторской речи он считает «употребление эпитетов или длинных, или неуместных, или в слишком большом числе», неуместность использования поэтических оборотов [*29*, 179]. В его высказываниях неоднократно повторяется требование адекватности стиля «излагаемым предметам» — «стиль, соответствующий данному случаю, придает делу вид вероятного» [*29*, 181].

Аристотель показал различие письменной и устной речи («...для каждого рода речи пригоден особый стиль, ибо не один и тот же стиль у речи письменной и у речи во время спора, у речи политической и у речи судебной»

[*29*, 187]) с точки зрения уместности, органичности использования в них определенных приемов выразительности, сочетания слов.

Марк Туллий Цицерон считал, что успех выступления на форуме и в гражданских процессах, способность автора убеждать и подчинять себе слушателя зависят в первую очередь от уместности его речи. «Сколько задач стоит перед оратором, столько и родов красноречия»,— пишет он [*29*, 247]. «Как в жизни, так и в речи нет ничего труднее, как видеть, что уместно <...> Не для всякого общественного положения, не для всякой должности, не для всякой степени влияния человека, не для всякого возраста, так же как не для всякого места и момента и слушателя, подходит один и тот же стиль, но в каждой части речи, так же как и в жизни, надо всегда иметь в виду, что́ уместно: это зависит и от существа дела, о котором говорится, и от лиц, и говорящих, и слушающих» [*29*, 196].

Уместность как важнейшее и необходимое качество хорошей речи высоко ставилась русскими филологами, судебными и политическими ораторами.

«В красноречии,— пишет В. Г. Белинский,— есть цель, всегда практическая, всегда определяемая временем и обстоятельствами». Есть разные типы ораторов: один «могущественно властвует над толпой силой своего бурного вдохновения; другой — вкрадчивой грацией изложения; третий — преимущественно иронией, насмешкой, остроумием; четвертый — последовательностью и ясностью изложения и т. д.». И что особенно подчеркивает В. Г. Белинский, «каждый из них говорит, сообразуясь с предметом своей речи, с характером слушающей его толпы, с обстоятельствами настоящей минуты» [*65*, 103].

Судебную речь известный юрист П. С. Пороховщиков (П. Сергеич) рассматривал как особую форму красноречия, где в соответствии с ее целевой установкой уместны такие качества, как ясность, которая достигается чистотой и точностью слога («не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья» [*65*, 139]), непосредственность, краткость и простота. «Надо говорить просто,— писал он.— Можно сказать: «Каин с обдуманным заранее намерением лишил жизни своего родного брата Авеля — так пишется в наших обвинительных актах; или: Каин обагрил руки неповинной кровью своего

брата Авеля,— так говорят у нас многие на трибуне; или: Каин убил Авеля,— это лучше всего, но так у нас на суде почти не говорят» [*65*, 147]. Сложившиеся шаблоны судебного красноречия, когда оратор как будто сознательно изощряется говорить длинно и непонятно, Пороховщиков считает неуместными в хорошей судебной речи.

Очень тонкий функциональный анализ уместности отдельных приемов выразительности в различных типах публичных выступлений содержится в работах другого блестящего судебного оратора — А. Ф. Кони. «...ораторские приемы совсем неодинаковы для всех вообще публичных речей,— писал он,— <...> судебному оратору и оратору политическому приходится действовать совершенно различно <...> Уместные и умные цитаты, хорошо продуманные примеры, тонкие и остроумные сравнения, стрелы иронии и даже подъем на высоту общечеловеческих начал далеко не всегда достигают своей цели на суде» [*65*, 157].

Много замечаний об уместности как необходимом качестве речи политического оратора находим мы в работах В. И. Ленина. «О республике,— писал В. И. Ленин в статье «О лозунгах и о постановке думской и внедумской с.-д. работы»,— всякий с.-д, который держит где бы то ни было политическую речь, должен говорить всегда. Но о республике надо уметь говорить: о ней нельзя говорить одинаково на заводском митинге и в казачьей деревне, на студенческом собрании и в крестьянской избе, с трибуны III Думы и со страниц зарубежного органа. Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатлеваемой» [*5*, 20—21].

Общеизвестны ленинские высказывания о неуместности в речи пропагандиста «тяжелой артиллерии мудреных терминов, иностранных слов», которые, будучи употребляемыми без надобности, портят русский язык.

М. И. Калинин в речи на XV Московской губпартконференции назвал ораторское искусство самым трудным. «И большевики <...> — сказал он,— должны обладать этим искусством» [*65*, 224], должны научиться облекать свои выступления в такую форму, которая облегчала бы

восприятие речи. «Форма — величайшая вещь»,— говорил он [*65*, 226]. И поиски нужной формы ораторского выступления обязательно должны вести и к его уместности, к тому, чтобы оно соответствовало моменту и аудитории.

М. И. Калинин рекомендовал пропагандисту, например, на производственных совещаниях, на собраниях стараться выражать свою мысль, обращение, призыв путем рассуждения, доверительной беседы. «На тысячных митингах форма выступления будет иной: там каждая фраза должна быть короткой, строго очерчена, там трудно прибегать к форме собеседования» [*65*, 241].

«Каждый исторический момент требует своей особой формы агитации и пропаганды»,— говорил М. И. Калинин. Он считал неуместным в речи пропагандиста — будь то устное выступление или статья в газете — употребление вычурных, надуманных слов. Он с неодобрением отнесся к появившемуся в годы войны на страницах газеты выражению «сверхметкий стрелок», считая, что оно неправильно как с точки зрения русского языка, так и по существу. Термин «по-суворовски», которым тоже начали злоупотреблять, он советовал применять очень осторожно, чтобы не снижать его значения [*65*, 245, 246].

Уместность речи — качество особое в ряду таких, как точность, чистота, выразительность и др. Дело в том, что уместность как бы регулирует в конкретной языковой ситуации содержание каждого из этих качеств. Без учета конкретных условий общения неполны наши знания о богатстве и выразительности речи. Более того, то или иное коммуникативное качество речи, например точность, выразительность, может потерять свою необходимость без опоры на уместность. Само по себе понятие хорошей речи относительно, носит функциональный характер и зависит, в частности, от уместности тех или иных языковых единиц, приемов их организации, особенностей употребления в данном конкретном акте общения или типичной языковой ситуации — стиле. Уместность усиливает или ослабляет сумму слагаемых понятия «хорошая речь».

На неуместность в судебном выступлении отдельных качеств речи, которые в других условиях являются достоинствами автора, указывал П. С. Пороховщиков: «Красота и живость речи уместны не всегда: можно ли щеголять изяществом слога, говоря о результатах меди-

цинского исследования мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержание гражданской сделки?» [*65*, 139].

Что представляет собой понятие уместности в лингвистическом плане, каково его языковое содержание? Существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие оценку уместности — неуместности языкового факта?

Уместность речи — качество функциональное, в его основе лежит идея целевой установки высказывания. Уместность с этой точки зрения — адекватность примененных языковых средств целям высказывания.

Соблюдение уместности речи предполагает знание стилей литературного языка, закономерностей словоупотребления, свойственных им, знание стилистической системы языка. Уместность требует гибкости в определении приемлемости тех или иных качеств речи, языковых средств, речевого акта в целом. Наверное, впервые функциональное понимание уместности речи было сформулировано Пушкиным: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» [*77*, 73].

Уместность речи захватывает разные уровни языка и формируется употреблением слов, словосочетаний, грамматических категорий и форм, синтаксических конструкций, наконец, целых композиционно-речевых систем. Их уместность может рассматриваться и оцениваться с разных точек зрения. И в связи с этим целесообразно было бы различать такие аспекты уместности речи.

Уместность стилевая

§ 2. Уместность отдельного слова, оборота, конструкции или композиционно-речевой системы в целом может предопределяться и регулироваться стилем языка. В системе современного литературного языка существуют несколько его разновидностей, которые обслуживают различные нужды общества, различные сферы общения и которые называются функциональными стилями. Различают стили обиходно-бытовой (или разговорный), деловой, научный, публицистический, стиль художественной литературы. Каждый из них имеет свою специфику, свои закономерности отбора и употребления языкового материала. И вопрос о допустимости того или иного слова, оборота в каждом из них решается по-разному.

Так, например, представление об уместности языкового факта в художественной речи имеет свои особенности. Дело в том, что «норма» художественного текста неадекватна норме литературного языка. Литература художественная дает эстетически преобразованное отражение речевой жизни народа, которое зависит от идейных и эстетических принципов творчества писателя. Жизнь слова в художественном тексте определяется сложным взаимодействием, по крайней мере, трех типов различных влияний: 1) влиянием относительно стандартных норм общелитературного языка; 2) влиянием беллетристических навыков и традиций, отражающих художественно-языковые вкусы эпохи; 3) влиянием индивидуальных навыков и вкусов, которым следует художник в использовании языка и которые устанавливает он сам [*82*, 3].

Обоснованность, функциональная оправданность отступлений от общелитературной языковой нормы — главный критерий их уместности в тексте художественного произведения. Такие отступления не надо смешивать с речевыми ошибками типа «щелкнул щиколоткой калитки» или «приходи вечор, любимый», которые происходят от незнания словесных значений (*щиколоткой* вместо *щеколдой, вечор* означает «вчера») и не имеют никакой мотивированности.

В художественной речи допустимы и становятся уместными отступления от литературной нормы на разных уровнях языка.

У Гоголя, например, можно встретить алогичное, на первый взгляд, использование усилительной частицы *даже*. В общелитературном употреблении эта частица обозначает усиление, количественное нарастание признака, качества. Но вот в «Мертвых душах» читаем о чиновниках. На балу у губернатора, они «посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга стол для виста. Лица у них были полны и круглы, на иных даже были бородавки». Или: «Прочие, тоже были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто Московские ведомости, кто даже и совсем ничего не читал». В этих примерах слово *даже* употреблено необычно, иронически, оно становится средством сатирического изображения «кусочка действительности». На лицах незначительных, не выражающих никаких душевных движений, одинаковых в своем ничто-

жестве «даже» бородавка выглядит как что-то примечательное. Во втором случае вместо нарастания признака — его спад, и просвещенность чиновников предстает в карикатурном виде.

Нарушение привычных для общелитературного языка лексико-семантических связей слов, неожиданное сближение далеких по смыслу и стилистической окраске слов лежит в основе стилистических приемов сатиры.

Описание лавочки уездного городка в повести Гоголя «Коляска» сатирически воспроизводит тот фон, на котором развертывается беспощадно осмеянная Гоголем одна из пошлых трагикомедий пошлого человека: «...посреди площади самые маленькие лавочки; в них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндаля, дробь для стреляния, демикотон и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей в свайку».

Отступлениями от привычной сочетаемости являются контексты слов *либеральный, обеденный, поборник, жрец* и т. д. у поэтов «Искры» и «Свистка», что ведет к появлению у этих слов новых смысловых нюансов, новой экспрессии и делает их компонентами сатирического словесного образа. Такого рода отступления мотивированны, а следовательно и уместны.

Чертог твой вижу либеральный...
И разговор патриархальный
Об мужиках я слышу там

(В. Курочкин)

Был близок взрыв народных масс
Все меры ждали радикальной,—
Взамен ее на этот раз
Кладут лишь пластырь либеральный...
Все скрутила, все стянула
Либеральная веревка

(Вас. Богданов)

Аналогично: *обеденный певец, обеденная ода* (Д. Минаев), *поборник взяток, поборник гласности* (Н. Добролюбов), *жрецы скандала* (В. Курочкин), *жрец журналистики* (Д. Минаев) и т. п.

В поэзии можно наблюдать активизацию явлений, которые в литературном языке встречаются как единичные и случайные. Для русского языка, например, в отличие от некоторых славянских, не характерна слогообразующая роль соноров, хотя в отдельных случаях возможен слоговой акцент на этих звуках. А в поэзии наблюдается

тенденция к усилению слогообразующей функции соноров. Хлебников заявлял, что слова типа *сентябрь, корабль* он рассматривает как трехсложные. У И. Сельвинского, Вс. Рождественского, Е. Винокурова, С. Маршака и других слова *журавль, мысль, реестр, спектакль, министр, жизнь* рифмуются так, что конечный сонор оказывается слоговым.

Мистер Твистер бывший министр (Маршак)
Эта жизнь и жизнь та (Хлебников)

В каждом стиле литературного языка есть свои закономерности отбора и употребления языкового материала. В каждом из них существуют элементы, определяющие его специфику, которые называют стилеобразующими. Перенесение их в другие условия общения без надобности, без мотивировки справедливо считается нарушением уместности речи, отступлением от литературной нормы.

Для разговорной речи, которая представляет собой особую систему по сравнению с письменными стилями литературного языка, характерны, например, синтаксические конструкции-стереотипы. Их набор сравнительно невелик, они свободно воспроизводятся в речи и с точки зрения кодифицированного литературного языка производят впечатление неправильностей («Где авоська тут лежала?», «Московский вокзал, как мне пройти?»). В разговорной речи обращают на себя внимание конструкции типа: «Талант — это когда веришь в себя», «Авторитет — это когда тебя боятся» (в книжном стиле следовало бы написать — «Талант — это вера в себя»). Тождество двух понятий в них как бы устанавливается в момент говорения. Их использование за пределами разговорной речи — нарушение современной грамматической нормы. Однако они встречаются в поэзии. Но если в разговорной речи эти конструкции выполняют функцию коммуникативную, то в поэтической у них уже эстетическая функция.

Ночь. Чужой вокзал.
И настоящая грусть.
Только теперь я узнал,
Как за тебя боюсь.
Грусть, это — когда
Пресной станет вода,
Яблоки горчат,
Табачный дым как чад.

И как к затылку нож,
Холод клинка стальной —
Мысль, что ты умрешь
Или будешь больной.
(Л. Мартынов. Грусть)

Л. В. Щерба писал о практическом правиле поведения: «...не переносить синтаксических форм разговорной речи в письменную, а если делать это, то лишь с большой осторожностью» [*99*, 118]. Здесь как раз тот случай, когда это сделано осторожно и мотивированно, и с помощью «переноса форм» передаются непосредственность, живые интонации речи лирического героя, движение мысли.

Художественная проза и поэзия часто используют элементы разговорной речи. Но они уместны и органичны в том случае, если эстетически преобразованы, выступают в новой функции, несут художественную нагрузку, как, например, в поэме Ольги Фокиной «Хозяйка»; поэма построена на разговорных интонациях, разговорном синтаксисе и лексике:

Давай, как когда-то:
Поперек полешко
Положи, не мешкая,
На тот на подкладышек —
Три полешка рядышком,
Меж них — лучинку,
Али бересто.
(Все — без запинки,
Гляди, как просто!)
Жива привычка,
И — с плеч гора!
Ну, девка-спичка,
Твоя пора!

Но бывает и так, что автор стенографически фиксирует в диалоге своих героев разговорные стереотипы:

« — Ты иди-иди, земляк. Будь здоров.

Михеев неловко, не зная, что и сказать, открыл дверцу и вылез из машины. Наклонился потом за портфелем.

— До свидания, Федор Михайлович. Спасибо вам.

— Не за что. А до Парижа-то доедем.

— С удовольствием.

— Значит, поедем».

(Ю. Скоп. Техника безопасности.— Новый мир, 1977, № 2).

Все эти реплики-стереотипы уместны в обиходном общении, их семантика наполняется конкретным содержанием в речевой ситуации, мы не можем без них обходиться в быту. Но будучи в таком оголенном виде

включены в литературный диалог, они становятся бессодержательными.

Нарушением критерия уместности является и увлечение излишествами технической терминологии, штампами деловой речи, что тоже нередко можно наблюдать в художественной литературе. Стиль произведения бывает перенасыщен специальными терминами, канцелярскими оборотами. Например, Ю. Антропов в романе «Перевал», посвященном геологам-буровикам, ищущим в степи воду, пишет:

«Виктор понимал, что само бурение дает бригаде выгоды гораздо больше, нежели откачка. Основные деньги шли за погонаж, хотя времени на бурение тратилось меньше, чем на монтаж водопроводного оборудования. Вот и получалось, что все зависело от совести мастера. Словно ненароком, забутит водонос глинистым раствором — и все шито-крыто. Тем более, что в СМУ не было каротажной установки, с помощью которой можно отбить водоносный горизонт». «Виктор хотел предложить отцу новый буровой станок, полученный СМУ по разнарядке. Станок был принципиально новый, бурение на нем производилось с помощью сжатого воздуха без глинистой промывочной жидкости».

Какая необходимость вводить в художественную речь обилие технических, профессиональных терминов, значение которых непонятно без специальных словарей и которые никакой эстетической функции не выполняют? Они здесь функционально нецелесообразны, а поэтому и неуместны.

Есть сфера общения, где они функционально целесообразны и уместны — это деловой стиль. Шаблон и стандарт — характерная особенность делового документа, там они не затрудняют, а облегчают процесс общения. Они помогают лаконичнее и яснее выразить содержание, способствуют быстроте восприятия информации.

Конечно, это не значит, что должны положительно оцениваться любые шаблоны деловой речи. Среди них есть такие, которые являются печальным наследием дореволюционного приказного языка. Это о них писал В. И. Ленин: «...на девять десятых — циркуляр наполнен обычным казенным пустословием. Разжевывание вещей давным-давно известных и сотни раз повторенных даже в «Своде законов», хождение кругом да около, расписывание подробностей китайского церемониала отношений между мандаринами, великолепный канцелярский стиль с периодами в 36 строк и с «речениями»,

от которых больно становится за родную русскую речь» [*19*, 230].

Каждой эпохе свойственны свои особенности и нормы деловой речи. В наши дни в деловом стиле наблюдается тенденция к демократизации, простоте, и такого рода стандарты, о которых писал В. И. Ленин и которые, к сожалению, еще встречаются и сейчас, изжили себя и неуместны в современном литературном языке.

Уместность контекстуальная

§ 3. Уместность отдельной языковой единицы регламентируется и таким фактором, как контекст, т. е. ее речевое окружение. Контекст — не случайный конгломерат слов, это композиционно-речевая система, предполагающая единство плана содержания и плана выражения, однородность стилистической тональности. Критерий контекстной уместности хотя в общих чертах и определяется уместностью стилевой, не всегда совпадает с ней. Нередко можно наблюдать случаи, когда языковое средство, традиционно неприемлемое для определенного стиля, определенных условий общения, в конкретном контексте оказывается уместным, более того, единственно необходимым для достижения нужного эффекта.

Сошлемся на пример так называемых отглагольных существительных — типа *обжиг, распоряжение* и т. п. В языковом сознании эпохи второй половины XIX в., когда эта категория слов активно проникала в общелитературное употребление, к ним сложилось отрицательное отношение. И в наши дни в стилистике существует традиционное представление о них как средстве маловыразительном и потому неуместном, например, в художественной, ораторской речи.

Представление это возникло не случайно. Хотя эти существительные, образованные от глагольных основ (*читать — чтение, распространять — распространение, издавать — издание*) сохраняют значение процесса, они менее выразительны, чем глагол. Почему? Потому, что глагол способен передавать гораздо больше смысловых оттенков и делает речь более компактной. Благодаря его способности управлять именами существительными он может образовать ряд последовательно зависящих

слов и конструкций (что Потебня называл «синтаксической перспективой»).

Глагол передает видовые и залоговые оттенки, у отглагольных существительных таких возможностей нет (*издавать*, *издать* — *издание*; *двигаться*, *двигать* — *движение*). Употребление отглагольных существительных, особенно в большом количестве, делает речь мелодически бедной, аморфной, сообщает ей налет канцелярщины, влечет за собой, как правило, появление лишних, информативно ненужных слов (*усложнять* — *приводить к усложнению*, *расследовать* — *провести расследование*, *контролировать* — *вести контроль*).

Основная сфера употребления отглагольных существительных — деловая и научная речь:

«Из внешних факторов, отрицательно влияющих на естественное возобновление, особое значение имеет избыток влаги в почве, который влечет за собой резкое ухудшение аэрации почвы, т. е. снабжения ее кислородом».

Однако А. М. Пешковский считал, что их следует избегать и в деловых документах. Злоупотребление отглагольными существительными в дореволюционном делопроизводстве давало повод остроумным пародиям[1]; у Глеба Успенского, например, читаем: «о сдернутии меня с кресла за ногу», «о зашвырнутии моей калоши». В. И. Ленин в цитированном выше отрывке из статьи «Борьба с голодающими», говоря об обычном казенном пустословии, не случайно употребляет несколько отглагольных существительных — *разжевывание*, *хождение*, *расписывание*, оценивая тем самым «красоты» канцелярско-бюрократического стиля.

На нежелательность употребления отглагольных существительных в судебных речах указывал П. С. Пороховщиков, иронически цитируя выступление одного из своих коллег: «Талантливый обвинитель негодует против распущенности нравов, когда «кулаку предоставлена свобода разбития физиономии» [*65*, 146].

Отглагольные существительные — это разряд слов, который, пожалуй, чаще всего дает нам случаи неуместности словоупотребления. Например, в газетной заметке школьного библиотекаря читаем:

---

[1] А. М. Пешковский цитировал распоряжение одной Городской думы, рекомендовавшее владельцам собак «не выводить их без намордников, лишающих их возможности учинить укушение».

«С докладами о привитии школьникам любви к чтению, с рекомендациями, что и как читать, с анализом чтения библиотекарь выступает перед учащимися и родителями... Немалое значение придается развитию словообразовательной подготовки школьников 4—10-х классов. В помощь прохождению учебных программ в библиотеке оформлены постоянно действующие выставки книг». Комментарии, как говорится, излишни.

Но всегда ли отглагольные существительные хуже глагола? Не тот ли это случай, когда мы, как говорил Пушкин, безусловно отвергаем целую категорию слов?

Оказывается, и здесь дело в чувстве соразмерности и сообразности.

Вот перед нами стихотворение А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...»

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!..

В нем всего 36 слов, из них — 23 существительных, 7 прилагательных, 2 предлога и 4 словоупотребления союза *и*. И что особенно обращает на себя внимание — нет ни одного глагола. Зато отглагольных существительных — 6: *шепот, дыханье, колыханье, изменение, отблеск, лобзания*. И даже там, «...где называются поэтом предметы, они даны также не в статике, а в движении (грамматически не как подлежащие, а в качестве дополнений): *трели соловья, колыханье ручья, ряд изменений лица*»,— пишет Д. Д. Благой [*32*]. У Фета это не единственный случай безглагольной структуры.

Почему же Фет, «поэт-музыкант», по выражению Чайковского, тонко чувствующий слово и его нюансы, предпочел существительное глаголу, создавая одно из самых поэтических своих стихотворений? Оно было высоко оценено Л. Толстым, Достоевским, Щедриным — писателями, далекими от «чистого искусства» и даже от симпатий к творчеству Фета.

Почему же Фет обошелся без глагола? Дело не в том, что он, как думает Д. Д. Благой, «пошел наперекор

общепринятым грамматическим представлениям и правилам». Нарушений грамматики здесь нет — это назывные конструкции, свойственные русскому языку. Но почему Фет нашел, что существительное в данном случае выразительнее глагола?

Преимущество отглагольного существительного в безличности, неопределенности действующего лица. А это гармонирует с общим лирическим строем стихотворения, которое очаровывает читателя прелестью недосказанного, целомудрием умолчания. Глагол же, как правило, связан с реальным лицом, конкретным деятелем и потому оказался бы слишком груб и неуместен для передачи тонких нюансов поэтического содержания.

Вот почему отглагольные существительные, в принципе нежелательные в художественной речи, в конкретном контексте стихотворения Фета выступают единственно уместным выразительным средством.

Контекстная уместность речевого факта предполагает соответствие его стилистической окраски общей стилистической тональности высказывания, отрывка, произведения в целом, если, конечно, отсутствует специальная установка, оправдывающая включение слов и оборотов, контрастных по своим созначениям общему фону.

«Самым деликатным, самым уязвимым и вместе с тем очень важным элементом языка является его стилистическая структура»,— писал Л. В. Щерба [*99*, 138]. Слово, как известно, помимо своего лексического значения, предметного, понятийного содержания может нести информацию о своей принадлежности к определенной сфере общения и о способности быть не только прямой номинацией, но и выражать оценку предмета, выражать отношение к нему говорящего, да и его, говорящего, характеристик. В первом случае, т. е. когда слово несет информацию о своей принадлежности к определенной сфере общения, мы говорим о функционально-стилистической окраске слова, о его закрепленности за определенными языковыми стилями (*болтун*, *зенитка* — разг., *аббревиатура*, *аграрий*, *декларативный* — кн.). Во втором, т. е. когда слово выражает оценку предмета говорящим,— об экспрессивно-стилистической окраске, т. е. закрепленности слова за контекстами, автор которых стремится передать свое отноше-

ние к сообщаемому, воздействовать на читателя или собеседника. В этом случае различаются окраски — возвышенная или высокая — *беззаветный, дерзновенный, фиал*; фамильярная — *артачиться, обирала, выть*; выделяется эмоционально и интеллектуально-оценочная лексика — *профан, шельмовать, пособник*. Лексика, не закрепленная за специальными контекстами,— общеупотребительная или нейтральная (*дом, вода, идти* и т. п.).

Слова по стилистическому признаку могут образовать парадигмы: *лицо — лик — рожа, сметливый — сообразительный — башковитый; проморгать — пропустить — проворонить*.

Нарушением коммуникативной целесообразности, уместности речи считается сближение, смешение в контексте слов различной стилистической окраски. «Если кто в серьезной книге напишет «фагоциты *уплетают* микробов», это будет глупо и неуместно»,— указывал Л. В. Щерба [*99*, 139].

Но, к сожалению, так или примерно так у нас нередко говорят и пишут. Нарушение уместности речи на стилистическом уровне одна из самых распространенных речевых ошибок. Это нарушение может происходить, когда слово литературное заменяется словом разговорно-просторечным, когда вместо *сделал* говорят *обтяпал*, вместо *носить — таскать*, когда в текст нейтральный или разговорный по своей стилистической окраске включается слово иной тональности — либо высокое, торжественное, либо профессиональный термин. Вот несколько примеров. «Дом будет запитан электроэнергией по проекту» (Из газеты); «Я приму к сыну самые строгие меры, вплоть до высшей меры наказания — ремнем» (пример дан в журнале «Русская речь», 1967, № 1); «Есть у нас еще одна забота, о которой мы хотим поведать вам» (Из газет).

Не всегда сближение слов с различной стилистической характеристикой является неуместным. В художественной речи это становится средством создания образности, когда такого рода стилистические контрасты внутренне мотивированы, несут эстетическую нагрузку. В таком случае перед нами уже не речевая ошибка, а художественный прием.

На контаминации стилистических контрастов построена, например, «Ода революции» В. Маяковского.

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборовы
тщетно возносит, пощаду моля,—
твоих шестидюймовок тупорылые боровы
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава»
хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

Это стихотворение о двух различных, диаметрально противоположных восприятиях революции — личном восприятии автора и обывательском. Эти два взгляда

образно сконцентрированы в четверостишии, построенном на нагнетании речевых антонимов: *о, звериная! о, детская! о, копеечная! о, великая!* И все стихотворение, как нетрудно заметить, двупланово. План авторского восприятия выражен по преимуществу лексикой книжной сферы употребления, высокой стилистической окраски, придающей тексту торжественность. Стилистически окрашенная лексика обладает способностью, будучи даже в небольших количествах вкрапленной в нейтральное речевое окружение, передавать тексту свою тональность. В стихотворении это такие слова: *изъязвленная*, *восторженно*, *возносить*, *торжественно*, *овеянный* (*пылью угля овеянный* тоже речевой контраст, но уже предметно-логический), *кадить*, *благоговейно*, *славить*, *благословенная*.

План обывательского восприятия и оценки революции передается лексикой разговорно-просторечной, сниженной по своей экспрессивной окраске — *орать*, *залихватский, форс*. Характерно, что эта лексика вовлекается и в метаморфические контексты — *шестидюймовок тупорылых боровы*.

Здесь мы не претендуем на полный стилистический анализ стихотворения. Мы отметили только одну из особенностей его стиля — сближение разнородной по окраске лексики, которое становится средством и формой выражения содержания поэтического произведения.

Стилистический контраст словесных сцеплений используется в литературе и как прием комического, способ выражения иронии. Такими приемами пользуется сатира. Ср. контексты слова *веянье*: «Веянье современного образования уже коснулось и Обломова» (Добролюбов) и

На зависть западного мира
Ерыжным веяньем объят,
Затмит Аверкиев Шекспира
(В. Курочкин)

В первом случае оно в привычном, стилистически однородном окружении, во втором сочетается с грубо просторечным определением, создавая словесный сатирический образ.

На сближении лексики книжной со словами, сниженными по экспрессивной окраске, строятся метафоры у М. Горького — *практически-философская сальность*, *служение чистому искусству вранья и притворства*, *ка-*

вардак представлений, оглушающая гармония кабана.

Широко представлен этот прием у Щедрина: *рыцари ломаного гроша, рыцари безнаказанной оплеухи, рыцари кулачного права, литературное взяточничество, литературный колодник, нравственные подзатыльники, нравственный урод* и т. п.

Уместность ситуативная

§ 4. Уместность речи обнаруживается не только на отдельных языковых уровнях — можно говорить об уместности в определенных речевых системах, в ситуациях речи, в стиле произведения в целом.

Неуместностью в художественном произведении страдают иногда отдельные композиционные компоненты текста — диалог, построенный без учета закономерностей разговорной речи, фотографичный и бессодержательный, несобственно-прямая речь.

Герой повести И. Головченко «Черная тропа» Алексей Петрович Павленко — полковник госбезопасности, в прошлом рабочий. Перед рассветом он выходит покурить на балкон «и долго стоит у перил, глядя на знакомые кварталы, теряющиеся в смутно мерцающей мгле». И далее следует несобственно-прямая речь, сигналы которой есть в тексте. Процитируем ее с небольшими сокращениями.

«Он хорошо знает этот город еще с предвоенной поры, любит мозаику его кварталов, простор новых улиц и площадей, стройные силуэты тополей вдоль проспекта, бессонные огни вокзала, дальнюю колоннаду заводских труб...

Быть может, странно, что и теперь, через много лет, прошедших с того времени, когда Павленко работал у станка, его по-прежнему привлекает сам облик завода, привлекает и смутно волнует, порождая чувство легкой, неизъяснимой грусти...

Возможно, что чувство, похожее на грусть, которое испытывает в эти минуты Павленко, коренится в первых, неповторимых радостях, пережитых давно, в начале его трудного пути... Алексею Петровичу не приходится сожалеть об ушедших годах — они были заполнены кропотливым и сложным трудом...

И Алексей Петрович ловил себя на мысли, что даже любуясь родным городом, раскинувшимся в долине, он смотрит со своей профессиональной точки зрения... Он, «ночной сторож» города, думал об охране его ясного покоя.

Только понятие ночи у него было свое. Ночь представлялась Павленко не такой, какой знает ее каждый с детских лет. Она невольно вызывала в нем представление о каком-то средоточии зла, тайных недобрых помыслов, ухищрений, жестокости и коварства.

И Алексей Петрович возвращается мысленно к последней почте, к самодельному треугольнику письма, отравленного злобой...

Спит город... Но где-то не спят, притаившись ночные тени зла.

Нет, Павленко нисколько не жалеет об избранном пути. Правда, он многое мог бы сделать со времени своей юности и на заводе, множество прекрасных вещей. Но оберегать самую жизнь мастеров, их труд, кров и очаг, их счастье, не в этом ли гордость твоя, чекист, безвестный ночной страж Родины?»

Мы сейчас оставим в стороне такие качества стиля этого отрывка, как неумение найти нужное точное слово (то это «неизъяснимая грусть», то через строчку это уже «чувство, похожее на грусть, ночь вызывала представление о каком-то средоточии зла»), как явные грамматические неправильности («он многое мог бы сделать со времени своей юности»), как отсутствие той смысловой емкости, ассоциативности, многоплановости слова, которые делают речь образной, а потому и художественной.

Посмотрим на этот отрывок только с точки зрения уместности его речевой структуры в данной ситуации.

Формально это авторская речь — о герое говорится в третьем лице, но это способ передачи его внутреннего монолога («Алексей Петрович ловил себя на мысли», «мысленно возвращается» и т. п.). Невозможно представить себе, чтобы человек, проживший интересную жизнь, мысленно мог прибегать к таким шаблонам, к таким стертым словам, к таким банальным красивостям, которыми перенасыщен текст. Это — *облик завода*, *начало трудового пути*, *кропотливый и сложный труд*, *профессиональная точка зрения* — слова и словосочетания, ставшие шаблонами газетно-публицистического и делового языка. Это *манящий свет*, *неизъяснимая грусть*, *средоточие зла*, *тайные помыслы*, *жестокость и коварство, отравленный злобой*, *кров и очаг*, *ночные тени зла* — претенциозные беллетристические штампы. Где же свежая мысль героя, где живое слово о нем автора?

Здесь как раз тот случай, когда нарушено соответствие с действительностью, когда нарушен принцип художественного реализма. Здесь явная неуместность этой речевой структуры.

В статье «Заметки о стилистике современной советской литературы» [«ЛГ», 1965, 19 окт.] В. В. Виноградов остро поставил вопрос о «мещанстве в сфере словесно-художественной стилистики». Мещанская стили-

стика, как болезнь, проникающая в советскую литературу, уводит в сторону от реализма и проявляется в стремлении к «красивости», к расцвечиванию текста банальными словесными оборотами, к витиеватости фразы, внутренне пустой, к «излишествам» в изображении мелких деталей быта. В. В. Виноградов считает, что такая речевая организация текста неуместна в литературе социалистического реализма.

К сожалению, стиль ряда книг поражен болезнью, о которой писал В. В. Виноградов. Особенно это касается описаний внешности героев, их раздумий, природы, а также авторских размышлений. Вот пример из повести К. Кудиевского «Лунные ночи»:

«Разум пытался проникнуть в лунные ночи, развеять пленительную таинственность их бездумности; чувства же попросту отдавались им и с ними роднились. Человек сам превращался в частицу лунных ночей, обретая вместе с их чистотой и их окрыленность. И перед ним возникали такие разливы, в которых разум еще бессилен, где можно жить лишь мечтой и надеждой — пусть первозданно свободными и неясными, но зато не отягченными еще поисками путей к ним».

Здесь в каждой строчке «таинственная пленительность бездумности», разум бессилен, говоря словами автора, воспринять эти словесные образы и их содержание. Это как раз тот случай, когда слова выбираются не по принципу их уместности в данной ситуации, в данном тексте, а когда «банальные слова и образы выбираются за свою «красивость» (В. В. Виноградов).

Уместность личностно-психологическая

§ 5. Говоря с собеседником, выступая перед аудиторией, мы не только сообщаем ту или иную информацию, но вольно или невольно передаем и наше отношение к действительности, окружающим нас людям. Поэтому важно позаботиться о том, как наша речь подействует на собеседника — не травмирует ли она его грубостью, не унизит ли его достоинства.

Уместность речи — качество очень важное в социальном аспекте, потому что оно регулирует, во всяком случае должно регулировать, все наше речевое поведение.

Умение найти нужные слова, интонацию в той или иной ситуации общения — залог успешного взаимоотно-

шения собеседников, возникновения так называемой обратной связи, залог морального и даже физического здоровья людей.

В нашей жизни мы на каждом шагу сталкиваемся с фактами, когда неуместность речи становится социальным злом.

Учитель не сумел найти нужных для общения с учеником слов, с десятиклассником разговаривал так же, как с пятиклассником. В результате нет контакта, нет доверия.

Слово врача должно лечить пациента, но для этого надо врачу воспитывать в себе речевую культуру. Неуместно резкое слово, неуместно брошенное замечание о характере, запущенности болезни, металлические интонации и категоричность суждений могут стать причиной тяжелой душевной травмы больного.

Грубость — одно из наиболее типичных проявлений неуместности речи, социальные последствия которой, к сожалению, не все себе хорошо представляют.

Грубость кондуктора автобуса, продавца в магазине, любого работника сферы обслуживания может на целый день дать заряд отрицательных эмоций окружающим, выбить их из нормальной колеи и снизить работоспособность.

Известный хирург профессор Ф. Г. Углов, удостоенный Ленинской премии за разработку методики лечения и операций на легких, пишет: «Мы, врачи, часто встречаемся с заболеваниями, вызванными бестактностью и невниманием других людей. Тем тяжелее видеть, как человек подвергается серьезной опасности и тяжко страдает из-за грубости. И кажется странным, что в нашем государстве, где приняты за норму самые гуманные принципы социалистических отношений, кое-где не развернута по-серьезному борьба с проявлением грубости...

Если пуля, выпущенная врагом, может повредить часть тела, то грубое слово попадает в сердце и нередко валит человека наповал» [*96*, 153—154].

Критерий уместности речи — исторический критерий, определяемый в каждую эпоху уровнем развития литературного языка, речевыми вкусами общества и, видимо, целым рядом экстралингвистических причин. Одно содержание понятия уместности было в XVIII в., когда теория трех стилей резко размежевала лексику, закре-

пив ее за жанрами. Другое содержание оно приобрело, когда Пушкин, основываясь на прогрессивных традициях прошлого, создал новую стилистическую систему русского языка, где уместность языкового факта определялась прежде всего содержанием произведения, художественным методом реализма.

Нарушение критерия уместности всегда остро ощущается и в речи устной, и в речи письменной. Как избавить речь от стилистических ошибок, вызванных неуместностью словоупотребления? Это не дается человеку от рождения; способность менять характер речи применительно к содержанию, условиям и задачам общения воспитывается и переходит в прочный навык, если человек понимает необходимость и добивается этого.

Что нужно знать говорящему и пишущему, чтобы его речь соответствовала информационно-целевым задачам, обстановке, аудитории? Можно назвать несколько условий, которые необходимы для того, чтобы сделать нашу речь уместной.

Во-первых, это хорошее знание структуры языка, т. е. его единиц-слов, фразеологических оборотов, синтаксических конструкций, которые предоставляют нам возможность выбора нужных средств высказывания в каждом конкретном случае. Это хорошее знание системы языка, т. е. тех связей и отношений, в которых находятся между собой его структурные элементы. Только имея представление о специфике стилей литературного языка, стилистической дифференциации лексики, можно найти наиболее целесообразный способ, вариант передачи информации.

Во-вторых, это умение пользоваться языком, навыки разумного применения его ресурсов, а эти навыки неразрывно связаны с культурой мышления и речи людей.

В-третьих, это хорошее знание того предмета, той темы, о которых мы собираемся говорить, ясное представление об объеме и характере информации, которую необходимо сообщить слушателям или читателям.

Наконец, немаловажную роль играют и факторы нравственно-психологические — культура говорящего или пишущего, его чуткость, доброжелательное и уважительное отношение к людям, его идейная позиция и убежденность.

ГЛАВА 11

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ СТИЛИ В ИХ ОТНОШЕНИИ К КУЛЬТУРЕ РЕЧИ

§ 1. Проблема, вынесенная в заголовок этой главы, уже была поставлена в пособии, и предварительно было намечено ее приемлемое решение. Теперь, после того как сведения о главных коммуникативных качествах речи изложены, возникает необходимость вновь вернуться к поставленной ранее проблеме и обсудить ее более основательно, на базе предшествующих знаний о речевой культуре и на базе знаний об известных науке вариантах понимания стилей языка и стилей речи.

В отечественной лингвистике (и шире — в отечественной филологии) учение о стилях восходит прежде всего к идеям Ломоносова. В известной, очень небольшой по объему, работе «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» М. В. Ломоносов изложил свой взгляд на «штили» — впоследствии ставшую знаменитой теорию трех штилей. Эта теория опиралась на отчетливо увиденные ученым особенности русского литературного языка XVIII столетия; она окрасила в свой цвет развитие учения о стилях на протяжении почти двух столетий.

Обратимся к первоисточнику, т. е. к словам Ломоносова:

«Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, так и российский язык через употребление книг церковных по приличности имеет разные степени, *высокой, посредственной* и *низкой*. Сие происходит от трех родов речений российского языка. К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: *бог, слава, рука, ныне, почитаю*. Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: *отверзаю, господень, насажденный, взываю*. Неупотребительные и весьма обветшалые отсюда выключаются, как: *обаваю, рясны, овогда, свене* и сим подобные. (*Обаваю* — заклинаю, заговариваю, *овогда* — иногда, *рясны* —

ресницы, *свене* — предлог *кроме, исключая, из, вне.— Б. Г.*). К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: *говорю, ручей, которой, пока, лишь.* Выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях.

От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: *высокий, посредственный* и *низкий.* Первый составляется из речений славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обетшалых <...>

Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова; однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного <...>

Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая со средними, а от славенских обще неупотребительных вовсе удаляться, по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни; в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению. Но всего сего подробное показание надлежит до нарочного наставления о чистоте российского штиля» [*62*, 271—272].

Выделенные в языке роды речений и стили М. В. Ломоносов связал с жанрами русской литературы XVIII в. и тем самым дал авторитетные рекомендации по применению словарного состава языка в литературе.

Вдумаемся в сказанное Ломоносовым о стилях. Что удалось установить ученому? Он увидел в русском языке, обслуживающем литературу, три типа слов (три «рода речений»): общеславянская лексика; церковнославянская, понятная всем грамотным людям; лексика восточнославянская, или собственно русская. Ломоносов заметил и еще два типа слов, но не включил их в число «родов речений». Это, во-первых, «неупотребительные и весьма обветшалые слова», а во-вторых, «презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях». Если применить современную терминологию, можно сказать, что Ломоносов имел в виду архаичные старославянизмы и русское околожаргонное просторечье.

Таким образом, теория трех штилей построена на признании разнотипности русской лексики XVIII столетия, вызванной исторической причиной — встречей

двух родственных языков (южнославянского, письменного, и восточнославянского, преимущественно устного) в пределах русской литературы. Эта встреча языка восточных славян с языком южных славян — древнеболгарским литературным, воплощенным в текстах церковных книг и — шире — в текстах христианской литературы позже перешла во взаимодействие двух языковых систем — восточнославянской, живой, еще не «олитературенной», и церковнославянской, книжной, представляющей собой несколько видоизмененный под влиянием русских переписчиков вариант древнеболгарского языка. Вот почему Ломоносов говорит о двух диалектах — российском и славенском. Вот откуда замеченные не только Ломоносовым «роды речений», положенные ученым в основу теории трех штилей.

Говоря о теории трех штилей Ломоносова, мы нередко упускаем из виду одну из ее примечательных сторон, а именно то, что ученый не только устанавливает границы языковых стилей — он видит эти стили в их применении (мы бы теперь сказали — в речи), он советует, из каких речений и в каких соотношениях можно и нужно строить речевые структуры (пользуюсь термином нашего времени). Ломоносовская теория трех штилей, по сути своей, охватывает не только членение словарного состава языка, но и речевое применение лексики. Вместе с тем эта теория содержит элементы нормативно-рекомендательного взгляда на речевое поведение писателя.

Конечно, едва ли теория трех штилей достаточно полно охватила явления языка и речи, которые воплощались и поддерживались русской литературой XVIII в. Едва ли эта теория была адекватна реальному положению вещей в языке. Язык был и остается богаче и шире отражающих его гипотез и теорий. Например, теория трех штилей прошла мимо довольно сильного потока иноземной лексики, уже влившегося в XVIII столетии в русскую литературу и породившего немало вопросов — что с ним делать, как приспособить к потребностям времени, историческим свойствам русского языка и русской литературы. Какое место эта чужеземная лексика могла занять или должна была занять в еще не окрепшей системе языковых и речевых стилей?

§ 2. И тем не менее теория трех штилей Ломоносова была настолько глубокой и реалистичной, получила

такое признание в среде литераторов и филологов, что надолго предопределила подходы русской филологической и лингвистической науки к языковым стилям, отголоски этой теории слышны и во многих современных взглядах на стили языка.

Ведь если мы назовем стилями языка те или иные его пласты, слои, группы, выделенные в самом словарном составе языка по тому или иному основанию (пусть и далекому от принятого М. В. Ломоносовым), мы останемся в русле намеченной великим ученым теоретической традиции: для нас, как и для него, стиль — это «часть» словарного состава (или — шире — «участок» языковой структуры). Несомненно, что и в наше время такой или подобный взгляд на стили языка разделяется многими учеными и преподавателями.

Так, Л. В. Щерба склонялся, видимо, к такому пониманию стилей, которое было своеобразным продолжением идей М. В. Ломоносова. Конечно, новые условия языкового развития и достижения лингвистической науки за прошедшее после Ломоносова время не могли не сказаться на взглядах Щербы. И тем не менее они сохраняют видимую преемственную связь с теорией трех штилей М. В. Ломоносова. Вот два отрывка из работ Щербы.

«Русским филологам предстоит еще большая работа по созданию настоящей полной стилистики русского литературного языка. В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок» [*99*, 121].

И еще: «Стилистическая структура языка состоит, как известно, в том, что слова его образуют группы по какому-либо сопровождающему их оттенку: либо это возвышенные слова — *вкушать*, *возвещать* и т. д., либо это обыденные слова (их можно бы назвать с некоторым основанием «внестилевыми») — *есть*, *сообщать*, либо фамильярные — *уплетать*, *выкладывать* (*Он в пять минут выложил нам все новости*), либо официальные — *потреблять* (в смысле *есть*), *доводить до сведения* и т. д.

В словаре Ушакова таких групп насчитывается 36. Их, конечно, гораздо больше...» [*99*, 138].

Можно заметить, что Л. В. Щерба не дает прямого определения стиля. Можно все же не предполагать, что стили, в его понимании,— это соотнесенные на базе синонимии круги (или пласты) слов и фразеологизмов, сопровождаемых в каждом круге «дополнительным оттенком».

В концепции Щербы стили оказываются очень похожими на стили в концепции Ломоносова — правда, с той существенной разницей, что у Ломоносова три стиля рождаются «от рассудительного употребления» трех родов речений (трех исторических пластов словарного состава), у Щербы же стилями оказываются сами группы, пласты («концентрические круги») словарного состава, выделяемые по «дополнительному оттенку». Можно увидеть кое-что общее во взглядах на стили, высказанных Щербой, и взглядах, высказанных проф. Г. О. Винокуром, но о них несколько позже.

Идейно-теоретическая общность концепций Ломоносова и Щербы в том, что и тот, и другой стилями называют группы, пласты лексики, хотя и выделяют эти пласты по разным основаниям. Такой подход к стилям известен и в настоящее время.

§ 3. Один из наиболее глубоких стилистов-теоретиков первой половины XX в.— Г. О. Винокур. Его взгляды, так же как и взгляды В. В. Виноградова, продолжают оказывать влияние на вновь и вновь выполняемые исследования в области учения о стилях.

Как же видел и понимал стили Г. О. Винокур? Он писал (в статье «О задачах истории языка»): «Наряду с проблемой языкового строя существует еще проблема языкового у п о т р е б л е н и я, а так как язык вообще есть только тогда, когда он употребляется, то в реальной действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его употребления. То, что здесь названо употреблением, представляет собой совокупность установившихся в данном обществе языковых привычек и норм, в силу которых из наличного запаса средств языка производится известный отбор, не одинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются понятия разных с т и л е й языка — языка правильного и неправильного, торжественного и делового, официального и фамильярного, поэтического и обиход-

ного и т. п. Все такого рода «языки» представляют собой не что иное, как разные манеры пользоваться языком» [*40*, 221]. Далее Г. О. Винокур говорит как будто о роли экспрессии в формировании стилей, причем различает экспрессию субъективную и экспрессию объективную. Ученый пишет: «Необходимо тщательно отличать экспрессивные качества речи, имеющие своим источником личные свойства и состояния говорящего или пишущего, от таких фактов языковой экспрессии, которые коренятся в общественной психологии и представляют собой проявления именно общественной реакции на принадлежащий данному обществу язык» <...> Мы имеем право утверждать, что действительно в самом языке, а вовсе не в психологии говорящих и пишущих, которая лингвиста непосредственно не интересует, кроме звуков, форм и знаков, есть еще нечто, именно экспрессия, принадлежащая звукам, формам и знакам. Из всего этого следует, что одно дело стиль языка, а другое дело стиль тех, кто пишет и говорит» [*40*, 222].

Как можно видеть, Винокур не дает определения стиля в связи с размышлениями об экспрессии, но ставит в связь именно с ней понимание стиля. Можно лишь предположить, что стили языка, определенные ранее как разные манеры пользования языком, отличаются друг от друга различиями экспрессии.

Принципиальное значение во взглядах ученого на стили приобретает его понимание «состава» науки, изучающей историю языка: в нее входят дисциплины, изучающие строй языка (фонетика и орфография, грамматика, семасиология), и дисциплина, изучающая употребление языка,— стилистика. Но если стилистика изучает употребление языка, «стили», о которых говорит Винокур, хочется назвать не стилями языка, а стилями речи; но никакого сколько-нибудь последовательного применения этих терминов у Винокура не было. Концепция стилей, изложенная Винокуром в 1941 г., не совпадает с концепцией Ломоносова. Но она лишена и той четкости, которую придал своим взглядам Ломоносов.

В 1947 г. Винокур публикует статью «Понятие поэтического языка», в которой как будто намечено, однако не развернуто обновленное понимание стилей. «Под поэтическим языком можно понимать прежде всего язык, употребляемый в поэтических произведениях.

В этом случае имеется в виду не какое-нибудь внутреннее качество языка, не какая-нибудь особая его функция, в сравнении с его функцией как средства обычного социального общения, а только особая традиция языкового употребления. Поэтический язык в этом смысле представляет собой особый стиль речи в ряду других: языка официального, научного, дипломатического, военного и т. д. Точно так же, как есть формы, слова, обороты речи, которые принято или не принято употреблять в языке науки или дипломатии, есть формы, слова, обороты речи, которые принято или не принято употреблять в поэтических произведениях. История того, как и почему изменялся состав языковых средств, принятых в употреблении в этой традиции, и есть, с этой точки зрения, история поэтического языка» [*40*, 388].

Здесь уже нет экспрессии как условия формирования стилей. На первый план выдвинута традиция употребления тех или иных средств языка, т. е. то, что обозначено словами «принято» и «не принято». Как будто получается, что стиль языка (речи?) — это совокупность средств языка, принятых к употреблению в произведениях, обслуживающих ту или иную область жизни и деятельности людей. Однако сам ученый определения стиля не дал, и нельзя по его высказываниям судить, как менялась и менялась ли его концепция стилей языка или речи.

§ 4. В 50—60-е годы нашего столетия изучение стилей языка и стилей речи, в особенности в сфере художественной литературы, интенсивно продолжается. Формируется достаточно цельная концепция стилей, связанная прежде всего с работами В. В. Виноградова, а также Б. А. Ларина, М. Н. Кожиной, О. Б. Сиротининой, А. Н. Гвоздева, А. И. Ефимова, Ю. С. Сорокина, В. И. Перебийнос, В. Г. Костомарова и других ученых. Их взгляды на стили не имеют желаемого единства, во многом противоречат друг другу, но есть в них и общий теоретический стержень — признание функциональной природы языковых стилей, их связи с различиями социальных функций самого языка, как и различиями ситуаций общения и видов человеческой деятельности.

Наше внимание должно быть привлечено прежде всего к взглядам на стили В. В. Виноградова, крупнейшего стилиста, теоретика и практика середины

XX столетия. Эти взгляды эволюционировали, и можно (целесообразно) взять для обдумывания их наиболее поздний этап, их наиболее завершенное выражение. Ученый пришел к построению сложной системы понимания стилей и стилистики как науки. Об этом можно судить по книге «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (1963).

В. В. Виноградов говорит, что в кругу стилистики «следовало бы различать по крайней мере три разных круга исследований, тесно соприкасающихся, часто взаимно пересекающихся и всегда соотносительных, однако наделенных своей проблематикой, своими задачами, своими критериями и категориями. Это, во-первых, стилистика языка как «системы систем», или структурная стилистика; во-вторых, стилистика речи, т. е. разных видов и актов общественного употребления языка; в-третьих, стилистика художественной литературы» [*39*, 5].

Первая стилистика, т. е. стилистика языка, изучает стили, которые «обычно называются функциональными, например разговорный, противопоставленный книжному вообще и отграниченный от других стилей языка коммуникативно-бытовой функцией, поэтому в этой сфере иногда выделяются обиходно-бытовой и обиходно-деловой стили; научно-деловой, специальный, определяющийся своеобразными свойствами и принадлежностями научно-коммуникативной функции; газетно- или журнально-публицистический, выделяющийся по характерным качествам и приметам агитационно-коммуникативной функции; официально-канцелярский или официально-документальный и некоторые другие (например, парадно-риторический, художественно-изобразительный). Можно — в связи с различиями понимания основных функций языка — представить и иное соотношение стилей. При выделении таких важнейших общественных функций языка, как о б щ е н и е, с о о б щ е н и е и в о з д е й с т в и е, могли бы быть в общем плане структуры языка разграничены такие стили: обиходно-бытовой стиль (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция воздействия). Эти стили соотносительны. Они отчасти противопоставлены, но в значительно большей степени сопоставлены. Иногда они находятся в глубоком

взаимодействии и даже в смешении. Разные и притом очень далекие, несоотносительные стили могут найти применение в одной и той же сфере общественной деятельности» [*39*, 5—6].

Вторая стилистика, т. е. стилистика речи, базируется, по словам ученого, на стилистике языка. В этой стилистике «...на первый план исследования выступают способы употребления языка и его стилей в разных видах монологической и диалогической речи и в разных композиционных системах, вызванных или кодифицированных общественной практикой — социально-групповой, производственно-профессиональной и т. д. Только такой подход и создает возможность построить стилистику речи на основе анализа форм общественной языковой практики. Именно в ней и проявляется подлинная творческая природа языка, как ее определил Гумбольдт. При этом следует ориентироваться на две основные (по крайней мере, в настоящее время) сферы общественной языковой практики — на сферу ограниченной коммуникации и сферу массовой коммуникации. К такому пониманию отчасти тяготеют концепции американских лингвистов, изучающих язык в аспекте речевого «поведения», и взгляды японских языковедов, говорящих о «языковом существовании». Однако, перенося все эти проблемы в область стилистики, следует подчеркнуть, что стили речи — это прежде всего некие композиционные системы в кругу основных жанров или конструктивных разновидностей общественной речи» [*39*, 14].

Теория стилей языка, стилей речи и стилей художественной литературы, широко задуманная и осуществленная В. В. Виноградовым, конечно же, не сводится к только что процитированным высказываниям. Но и эти немногие высказывания дают возможность увидеть и понять, по крайней мере, следующее: а) ученый пришел к твердому убеждению в необходимости различения и разграничения стилей языка и стилей речи, а также в соотнесении с ними стиля художественной литературы; б) ученый прочно связывает в своей теории стили языка и стили речи с социальными функциями языка и с социальной языковой практикой людей во всем ее многообразии; в) В. В. Виноградов отчетливо понимает и утверждает многопризнаковость стилей, невозможность свести различия между ними к какому-то одному, например «окраске», «экспрессии» и т. д.)

г) В. В. Виноградов отмечает сложность и внутреннюю противоречивость системы языковых и речевых стилей, наличие переходов между ними и взаимных «заимствований» из одного в другой, что наносит чувствительный удар по ложным убеждениям в какой-то «чистоте» того или иного стиля; д) ученый видит сложные отношения между языковыми и речевыми стилями, а также структурно-художественными свойствами и особенностями произведений и жанров литературы, свойствами и особенностями построения и содержания личностной и массовой коммуникации, монологических и диалогических речевых структур. В результате наука о стилях обогатилась новой концепцией системы языковых и речевых стилей современного русского литературного языка, оказавшей и продолжающей оказывать сильное влияние на развитие отечественной теории стилей и на практику их изучения.

§ 5. В современной советской лингвистике стили языка понимаются обычно как стили функциональные. Правда, сам термин допускает двоякое понимание: он может говорить о том, что стили осуществляют определенные коммуникативные функции, он же может говорить и о том, что стили формируются в результате функционирования языка в разных условиях.

Последнюю по времени попытку более строго очертить логические границы термина «функциональный стиль» предприняла М. Н. Кожина в книге «Стилистика русского языка»: «...тот или иной функциональный стиль формируется на основе употребления определенных языковых средств, обладающих или способных потенциально обладать известными функционально-стилистическими окрасками и значениями. Образование в языке этих окрасок и значений и вместе с тем превращение стилистических потенций языковых единиц в реальность происходит в результате функционирования языка в тех или иных типичных и достаточно традиционных сферах и условиях общения» [*55*, 37]. Впрочем, возможно, что М. Н. Кожина выразила свое определение стиля и в следующих словах: «...понятие «функциональный стиль» — языка и речи — определяется с единых лингвистических позиций, причем стиль характеризуется с опорой на основные признаки и назначения языка. Структурная и функциональная стороны языка рассматриваются как диалектическое двуединство. Согласно этой

точке зрения, функциональные стили языка представляют собой слои языковых средств, обладающих общим функциональным значением и функционально-стилистической окраской, большой (потенциально) частотностью употребления в определенных сферах общения, соотносимых с формами сознания и соответствующими видами деятельности. Стили речи представляют собой реализацию этих средств языка по законам его функционирования в соответствующих тем же сферам общения речевых разновидностях» [*55*, 39].

Можно легко заметить, что и в первом, и во втором случае речь идет о зависимости стиля от функционально-стилистических окрасок и стилистических значений языковых средств. Стили — это слои, пласты, группы средств языка, имеющих определенную функционально-стилистическую окраску,— вот так, грубо, можно перевести на общедоступный язык принятое в пособии М. Н. Кожиной определение. В этом нет ничего удивительного: ведь это все та же концепция Ломоносова, все та же теория трех стилей, но преобразованная, трансформированная длительным развитием науки.

§ 6. Идея функциональности языковых и речевых стилей, видимо, правильна, поэтому она и привлекает в наше время внимание ученых. Однако эта идея должна быть освобождена от связывающих ее представлений о стилях как частях, слоях, пластах языковой структуры. Сам термин «функциональные стили языка» толкает к тому, чтобы увидеть их в ином освещении. Глубоко прав был Г. О. Винокур, напомнив своим коллегам по лингвистике, что «язык вообще есть только тогда, когда он употребляется» и что «в реальной действительности строй языка обнаруживается только в тех или иных формах его употребления» [*40*, 221].

Применительно к пониманию стилей языка и стилей речи это означает только то, что в разных условиях общения язык употребляется по-разному, и это различие в употреблении языка может «окрасить» в соответствующий цвет некоторые его средства; «окраска» — результат, а не причина формирования стилей: не стили формируются потому, что есть «окраска», а «окраска» есть потому, что формируются и действуют стили.

Многочисленные опыты вероятностно-статистического изучения языка и речи, осуществленные как у нас,

так и за границей, убеждают в том, что от «качественной» гипотезы стилей пора перейти к гипотезе качественно-количественной. Об этом, в частности, говорят многочисленные теперь эксперименты по применению статистики, осуществленные в Киеве, Риге, Ленинграде, Саратове, Горьком. Эти эксперименты, их результаты позволяют видеть в функциональных стилях языка типовые варианты его функционирования в типовых условиях его применения.

Обратимся еще раз к помощи мысленного эксперимента. Представим себе, что в распоряжении экспериментатора находится небольшой набор печатей и штампов круглой, треугольной, ромбовидной, квадратной и овальной формы и небольшой набор красок — белой, красной, коричневой, фиолетовой и зеленой. И пусть каждый отпечаток воспринимается как некоторый знак, имеющий значение. Условимся, что отпечаток красного цвета квадратный будет нести информацию о какой-то конкретной вещи. Отпечаток зеленого цвета квадратный будет фиксировать информацию о действии предмета, отпечаток желтого цвета квадратный — качество, признак предмета. Условимся, что отпечатки круглые будут информировать об отвлеченных понятиях, а отпечатки треугольные — об образных, конкретно-чувственных представлениях.

Мы получили некоторый механизм, готовый выдавать информацию,— получили своего рода модель языка. Представим себе теперь эту модель работающей в трех типовых условиях: а) когда нужно выражать и получать информацию о конкретных предметах, их действиях и признаках (потребности быта, например); когда надо получать и выражать информацию по преимуществу об отвлеченных понятиях (наука, например); когда надо выражать и получать информацию об образных представлениях по преимуществу (художественное творчество, например). Наш механизм готов к работе в этих трех типовых условиях. Но будет ли он работать одинаково или в одних условиях будут работать по преимуществу одни его участки и элементы, в других — другие, а в третьих — третьи? Вот тот вопрос, на который нам надо ответить, а потом перенести свой ответ на работу естественного механизма человеческого общения, т. е. языка.

Если иметь в виду нашу модель, то ответ на постав-

ленный вопрос может быть только один: отвечая на разные требования жизни (быт, наука, художественное творчество), наша модель будет работать в разных режимах, т. е. в одном случае будет активизировано применение печатей и штампов, имеющих квадратную форму; в другом — печатей и штампов, имеющих круглую форму; в третьем — печатей и штампов, имеющих треугольную форму. Говоря иначе, в ответ на одни потребности общения будет увеличиваться частотность применения квадратных печатей, в ответ на другие — круглых, в ответ на третьи — треугольных. Можно увеличить число типовых коммуникативных потребностей и ввести различие типовой информации не только в зависимости от формы печати или штампа, но и от окраски получаемого отпечатка. Мы таким образом приблизимся в своей модели к функционированию естественного языка людей, однако существо дела при этом нисколько не изменится. А это существо дела состоит в том, что язык в процессе его функционирования (значит, и наша модель) переходит с одного режима работы на другой (вернее, его переводят с одного режима на другой меняющиеся типовые коммуникативные потребности). Вот эти режимы, или типы работы, языка в процессе его социального функционирования мы и называем, по-видимому, стилями языка, но, завороженные традиционными представлениями о стилях как пластах или слоях, «стилистически» окрашенных, не находим адекватного языковой действительности определения.

Нужно заменить привычную точку зрения другой, качественно-количественной — это тем более нужно сделать, что в науке о языке количественные представления признаны не только современными молодыми лингвистами, но и выдающимися учеными прошлого — такими как Бодуэн де Куртенэ, Поливанов, Винокур, Щерба, Виноградов.

Итак, что же такое стили языка? На этот вопрос уже был дан ответ в главе первой пособия. Но вернемся к нему еще раз; при этом несколько изменим, чуть осложним предложенное ранее определение. Стили языка — это типы его функционирования, его структурно-функциональные варианты, соотнесенные с типами социальной деятельности и отличающиеся друг от друга совокупностями и системами различий в степени актив-

ности средств языка, достаточными для их интуитивного опознавания в процессе общения.

Что языковые стили интуитивно опознаются участниками коммуникативного процесса, в этом легко убедиться, предложив лицам, имеющим среднее образование, выбрать из большого количества текстовых отрывков те, которые взяты из художественных произведений, из деловых документов, из научных книг и статей, из газет или воспроизводят разговорную речь. В чем же здесь дело? В средствах языка, имеющих экспрессивную или «стилевую» окрашенность? Нет, не в них.

Дело в том, что самые обыкновенные средства языка — имена и глаголы, наречия и причастия, простые предложения и предложения сложные — это все печати и штампы, оставляющие в сознании отображения разных семантических цветов и оттенков. Вспомним ранее примененную нами модель, показавшую, как с увеличением разнообразия в наборе экспериментальных предметов увеличивается возможность получить все новые и новые (по общему, совокупному воздействию на сознание) цепочки этих предметов.

В одном языковом стиле глаголы заметно («существенно», как скажет статистик) активнее, чем в другом. В одном стиле соотношение употребительности имен с конкретной семантикой и имен с семантикой отвлеченной существенно иное, чем в другом. В одном стиле простые неполные предложения существенно активнее, чем в другом. Это теперь все хорошо известно. Совокупное воздействие на читателя или слушателя речевых структур художественного стиля будет заметно отличаться от совокупного воздействия речевых структур стиля научного — хотя бы потому, что в художественной речи окажется больше слов с конкретной и «образной» семантикой, чем в речи научной, окажется больше глаголов, чем в речи деловой, окажется больше простых предложений, чем в речи публицистической и т. д.

Но больше и меньше — это не просто количественные, а качественно-количественные показатели: количества самого по себе, освобожденного от качественных признаков, например семантических, язык не имеет.

Так что «окрашенность» стилей языка действительно существует, но природа этой окрашенности совсем не та, которая предполагается гипотезой экспрессивной или какой-то иной окраски стилистических средств языка.

Обычные, нейтральные, применяемые в разных языковых стилях и обеспечивающие целостность и структурное единство языка, несмотря на стилевое его варьирование,— именно эти средства, а не «стилистически окрашенные» оказываются стилеобразующими, меняя свою активность от одного стиля к другому. Стили языка не могут быть поняты и описаны, если оставаться со старым теоретическим багажом, как бы он ни был для своего времени значителен.

Если мы принимаем различение языка и речи, мы неизбежно должны будем принять различение стилей языка и стилей речи. Конечно, правы те лингвисты и литературоведы, которые говорят о сложности этой проблемы. Но проблема все же не столь сложна, чтобы отказываться от ее осмысления и хотя бы предварительного решения.

Стили речи (как и стили языка) замечаются читателями и слушателями. Едва ли найдется хоть один внимательный и мало-мальски чуткий к языку читатель, который не уловил бы каких-то различий в построении и «составе» речи Пушкина и Некрасова, Чехова и Л. Толстого, Леонова и Паустовского (причем такой читатель может и не знать самого термина «стиль речи»). Совокупность таких различий, устойчиво проходящая через все произведение, цикл произведений, может быть, через все творчество, очевидно, и называется стилем речи (если не давать пока более сложного определения).

Подобно тому, как различия между стилями языка обладают устойчивостью, т. е. своеобразной возобновляемостью работы механизма общения в том или ином режиме, подобно этому и стили речи наделены устойчивостью: особенности ее состава и построения в начале романа «Тихий Дон» воспроизводятся (конечно, в каком-то варианте) и в середине и в конце этого произведения. Паустовский во всех своих рассказах и повестях сохраняет (значит, «воспроизводит») свойственные ему особенности состава и построения речи, хотя это не исключает ее вариантного разнообразия на протяжении творчества писателя или даже в пределах одного произведения.

Количество стилей языка невелико — количество стилей речи очень велико и никем не сосчитано. Можно все же указать на то, что существует несколько оснований разграничения и различения стилей речи.

Одно из них — стили самого языка. Каждый из них реализуется в речевых стилях, поэтому читатели свободно различают художественные, публицистические, научные речевые стили. Второе основание — задачи и цели общения: информация о чем-либо; воздействие на настроение и поведение людей; обсуждение, словесно выраженное обдумывание чего-либо; объяснение каких-то сложных вопросов; убеждение кого-то в чем-то и т. д. Можно и нужно (и наука это со временем сделает) описать соответствующие речевые стили. Третье основание различения и разграничения стилей речи — жанры художественной и нехудожественной литературы: роман, юмористический рассказ, лирическое стихотворение, стихотворение в прозе, фельетон, передовая статья в газете, информационная заметка, докладная записка, выступление на политическом митинге, научный доклад, учебная лекция и т. д. Каждый из этих жанров может получить в процессе развития стилевой системы языка свою разновидность стиля речи. Четвертое основание — ситуация общения: разговор между продавцом и покупателем, беседа учителя с учеником, обсуждение какого-то вопроса на заседании в министерстве, разговор влюбленных в городском парке, беседа гостей за обеденным столом, письмо другу, создание поэтом торжественной оды и т. д. Ситуативные речевые стили, как и стили жанровые, многочисленны и еще ждут убедительного и достаточно полного описания. Пятое основание выделения стилей речи — личность автора речи, уровень его развития, его темперамент, отношение к людям и природе и другие стороны его «я». Личностные стили речи могут быть очень яркими и еле намеченными. Мы привыкли не задумываясь повторять крылатые слова Бюффона: «Стиль — это человек». В них заключен глубокий смысл, нужный для понимания связи между стилем речи и личностью (хотя эти слова были сказаны скорее о стиле поведения, чем о стиле речи). Чем колоритнее личность, тем выраженнее ее стиль. Многие внутренние свойства личности, скрытые от постороннего глаза, выступают наружу, выявляя себя в стиле. От писателя, поэта, драматурга читатель ждет выявленного, личностного стиля. Известны слова А. П. Чехова: «Прежде всего о начинающем писателе можно судить по языку. Если у автора нет «слога», он никогда не будет писателем. Если же есть слог, свой язык, он как писатель не

безнадежен. Тогда можно рассуждать о других сторонах его писаний» [77, 666]. Личностные речевые стили свойственны людям и за пределами художественной литературы.

Если видеть, что названные только что основания различения и разграничения стилей воздействуют на нашу речь не порознь, а как бы накладываясь один на другой, становится понятно, что общая система речевых стилей велика количественно и многомерна качественно. Научный доклад, прочитанный разными лицами, совместит в своей речевой форме черты жанрового и личностного стиля. Лирическое стихотворение даст возможность проявить в своем речевом стиле жанровые, личностные, ситуативные и целевые особенности.

Но что же такое стиль речи? Как будто получается, что это некая неуловимая величина, постоянно меняющая свой облик. Видимо, стили речи — это устойчивые («воспроизводимые») совокупности и системы особенностей ее языкового состава и построения, соотнесенные со стилями языка, целями и задачами общения, жанрами литературы, ситуациями общения и личностями авторов.

§ 7. Понимание стилей языка и стилей речи позволяет уловить и понять тесные и многие связи между ними и речевой культурой общества и отдельного человека. Культуры речи нет без умения пользоваться стилями языка и создавать и пересоздавать стили речи. На связь между речевой культурой и учением о стилях указывали многие ученые, в их числе Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, А. Н. Гвоздев, В. В. Виноградов и др.

Коммуникативные качества речи неодинаково отвечают на свойства и особенности различных стилей языка и индивидуальные качества стилей речи. Одними стилями языка и стилями речи определенное коммуникативное качество (скажем, точность или выразительность) поддерживается и усиливается, другими — ослабляется и размывается. Одной из задач науки о речевой культуре становится понимание и описание воздействий стилей языка и стилей речи на коммуникативные ее качества. Пока еще очень далеко до такого понимания и описания, и поэтому можно высказать лишь отдельные предварительные соображения; с некоторыми из них читатель уже знаком по предшествующим главам пособия.

Так, художественный языковой стиль поощряет и раз-

вивает такие коммуникативные качества, как правильность, точность, логичность, выразительность и богатство. Правда, точность и логичность в художественных произведениях нередко бывают очень своеобразны, непереводимы на язык логики. Вспомним в связи с этим поэтическое творчество Блока: в его речи немало алогизмов, если судить о связях слов с точки зрения обыденного смысла. Логичность художественных образов не всегда строго соответствует логичности понятийной.

Научный стиль языка поощряет и поддерживает, прежде всего, такие коммуникативные качества речи, как логичность и точность, а также чистота, уместность, в меньшей мере — выразительность и богатство. Ученые не склонны прибегать к помощи изобразительно-выразительных средств языка, обсуждая свои профессиональные проблемы. И выразительность научной речи поддерживается не этими средствами, а четкостью, строгостью, ясностью синтаксических структур, точностью и логичностью применения лексики.

Стиль разговорно-бытовой менее других требователен к такому необходимому качеству речи, как правильность. Может быть именно об этом полушутливые слова А. С. Пушкина: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю?» Сами условия производства разговорной речи (необходимость сиюминутного, сиюсекундного выбора слова, словосочетания, конструкции предложения) способствуют тому, что в ней возникают многочисленные искажения формы, в особенности синтаксической: структурные перебои, возвраты к началу конструкции, лишние вставные элементы и многое другое, что некоторыми учеными рассматривается как «норма разговорной речи». Но ведь норма, если не придавать этому термину слишком широкого и неопределенного смысла, предписывает выбор нужного варианта по принципу «так можно, а так нельзя», и в разговорной речи мы допускаем типовые отступления от нормы, типичные искажения нормы, а вовсе не ее соблюдение.

Разговорно-бытовой стиль под влиянием тех же самых условий заметно колеблет такие качества речи, как логичность и точность,— в особенности в таких случаях, когда нужно в процессе бытового общения называть непривычные для быта предметы, явления, когда нужно выразить понятия науки, государственно-политической

жизни — одним словом, когда приходится говорить о том, что не входит в повседневный бытовой и трудовой опыт людей.

Разговорно-бытовая речь (под влиянием тех же условий, а также бестактности, невоспитанности, недостаточной культуры взаимного общения) может ослаблять и даже сводить на нет, превращать в противоположное такое качество речи, как уместность. В соответствующей главе пособия уже были названы ситуации общения, в которых очень часто люди сталкиваются с речевой неуместностью, порождающей большие и малые психологические конфликты.

Разговорно-бытовой стиль пока, к сожалению, очень нетребователен к чистоте речи как одному из главных ее коммуникативных качеств. Эта нетребовательность коренится не в свойствах самого стиля, а в людях, которые его используют, в уровне их внутренней культуры; как правило, обогащение этой культуры ведет к усилению чистоты речи человека.

Пожалуй, только два связанных друг с другом коммуникативных качества — выразительность и богатство — разговорно-бытовой стиль поддерживает (конечно, если иметь в виду не речь отдельных людей — она может оказаться и очень бедной, а функционирование разговорного стиля в целом). И это объясняется свободой, нерегламентированностью бытового общения, широким диапазоном эмоциональных, нравственных, логических, тематических, психологических колебаний и различий, которым подчиняется разговорное речевое поведение людей.

Книги и статьи пишут немногие, разговаривают все. Поэтому разговорная речь оказывается многомиллионной, по числу участников, лабораторией, в которой проверяется прочность одних средств языка, порождается неустойчивость других, видоизменяется облик третьих. Постоянная связь разговорного стиля с повседневным психологическим миром людей, богатым и постоянно меняющимся, постоянно же рождает эмоционально-выразительные свойства живой речи.

Понимание связей между коммуникативными качествами речи и языковыми стилями позволяет не только углубить понимание каких-то сторон речевой культуры, но и дает возможность яснее увидеть те участки речи, которые требуют улучшения, а следовательно, и вни-

мания ученых и литераторов и их практических рекомендаций.

Можно попытаться представить наиболее очевидные связи между коммуникативными качествами речи и стилями языка в виде матричной таблицы, в клетках которой будут три ответа «да», «нет», «не очень» на вопросы: «Поддерживает ли стиль коммуникативное качество?» и «Нуждается ли коммуникативное качество в стиле?»

Стили языка	Коммуникативные качества речи						
	правильность	точность	логичность	чистота	выразительность	богатство	уместность
Художественный	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Научный	Да	Да	Да	Да	Не очень	Нет	Да
Деловой	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Не очень
Публицистический	Да	Да	Да	Да	Да	Не очень	Не очень
Разговорно-бытовой	Не очень	Не очень	Не очень	Не очень	Да	Не очень	Не очень

Конечно, эта таблица показывает скорее тенденции взаимных связей между коммуникативными качествами речи и языковыми стилями, чем то, что может наблюдаться в действительности. Вопрос «Поддерживает ли данный стиль данное коммуникативное качество» нужно понимать как «Может ли поддерживать?», если принять во внимание свойства и особенности самого стиля. В реальном же речевом поведении людей это «может» часто не используется, что ослабляет то или иное коммуникативное качество речи.

Что касается стилей речи, то их связь с коммуникативными ее качествами колеблется в очень больших пределах. Мы знаем речь Пушкина, Л. Толстого и Ленина, личностные речевые стили которых содействовали усилению всех или почти всех коммуникативных качеств речи, и знаем множество примеров стертости, серости и бедности речевого стиля, его безликости или неряшливости, что разрушает коммуникативные качества речи.

В связи с этим возникает вопрос о личной ответственности человека перед обществом в области речевого поведения. Если это поведение таково, что дает основание видеть в нем воплощение бедного, серого, неряшливого личностного стиля, можно говорить о забвении человеком своих нравственных и культурных обязанностей и обязательств перед обществом. Если к тому же хотя бы достаточно сильные элементы такого «антистиля» просачиваются в книги писателя или поэта, литературная общественность и критика вправе ставить под сомнение писательский титул таких авторов.

§ 8. Отдельные коммуникативные качества речи могут быть более или менее нужными, более или менее уместными в зависимости от условий общения. Полная, совершенная правильность может оказаться неуместной в разговорной речи персонажа какого-то художественного произведения; она была бы искусственной в речи ребенка, еще не посещающего школу. Логичность и точность без всяких перебоев и нарушений будут неуместны, если художник слова припишет их человеку, находящемуся в состоянии сильного волнения, как неуместными окажутся приписанные такому человеку развернутые синтаксические структуры, соответствующие всем нормам синтаксиса. Чистота речи, ее полная лишенность жаргонных и местных словечек, будет воспринята читателем как неуместная, если ею будет наделен в художественном произведении беспризорник-подросток начала 20-х годов. Нарочитая выразительность окажется неуместной в научном докладе или выступлении дипломата на международном совещании.

Однако все эти и многие другие примеры никак не могут поставить под сомнение необходимость главных коммуникативных качеств речи во всех ситуациях общения, во всех стилях речи.

Так предварительно намечаются отдельные линии связей и зависимостей между стилями и коммуникативными качествами речи, а также между уместностью и другими качествами речевого поведения людей.

И может быть, все коммуникативные качества, включая и уместность, должны быть подчинены одной и той же задаче общения — обеспечить многостороннюю действенность речи. Но это, видимо, проблема комплексная, предполагающая совместное участие в ее осмыслении и решении лингвистики и других наук.

ГЛАВА 12

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В НАУЧНОМ И УЧЕБНОМ ОБЩЕНИИ

§ 1. В век научно-технической революции возрастает роль учебного общения преподавателя и учащегося (в средней и высшей школе) и научного общения лиц, занятых в «производстве» знаний о мире. В свою очередь в самом процессе научного и учебного общения возрастает роль терминологии и терминологической культуры людей. Конечно, и научное и учебное общение обслуживается не одной терминологией, но и всеми иными средствами языка, однако терминологии здесь принадлежит едва ли не первое место. Поэтому о ней и нужно в первую очередь говорить и думать, обсуждая возможности языка в общении ученых и в общении наставников со своими учениками в стенах школ и вузов.

Не будем сейчас делать обзор взглядов на термин и терминологию. Примем один из них — для того чтобы эта область словарного состава могла осмысливаться под углом зрения речевой культуры.

Термин — это отдельное слово или образованное на базе имени существительного подчинительное словосочетание, обозначающее профессиональное понятие и предназначенное для удовлетворения специфических нужд общения в сфере определенной профессии (научной, технической, производственной, управленческой). Термин — необходимое орудие профессионального мышления и профессионального освоения предметной действительности.

В идеале термин должен быть однозначным, лишенным каких-либо эмоциональных наслоений, лишенным также синонимических связей. Реально термины оказываются несколькими иными, и все же сильная тенденция к однозначности и строгой логической очерченности семантических границ у терминов есть — ее-то и надо бы

поддерживать в процессе терминоупотребления. Вместе с тем надо считаться с реальной неоднозначностью многих терминов и необходимостью как-то преодолевать ее, обеспечивая нужную в научном и учебном общении однозначность терминоупотребления. К глубокому сожалению, это далеко не всегда наблюдается в действительности. Несколько позже читатель сможет в этом убедиться. Теперь можно сказать, что проблема точности терминоупотребления — одна из наиболее острых и сложных в научном и учебном общении. И ее острота и сложность объясняются не только тем, что многие авторы научных работ и учебных бесед и лекций ее как бы не замечают, но и тем, что смысл, вкладываемый автором научной речи в термин, уже освоенный наукой, оказывается нечетким, «плывущим» или термин бывает поставлен в такие синтагматические связи с соседними словами, что читатель не может понять что к чему.

Вот только один пример того, как связи терминов внутри текста оказываются запутанными и неясными:

«Для современной биологии характерно интенсивное развитие теоретических разделов ее областей (например, разработка теоретических представлений о наследовании признаков, о видообразовании, о целостности организмов и др.), встречающее значительное сопротивление со стороны многих биологов, стремящихся к сохранению преодолеваемого этапа ее развития. Поэтому до сих пор широко распространено отрицательное отношение к наиболее общим теоретическим выводам биологических наук, основывающееся обычно на их примитивном понимании.

С теми же особенностями современного этапа развития тех из этих наук, которые занимаются разработкой наиболее общих проблем биологии, связано еще более отрицательное отношение к методам их теоретической разработки и еще более примитивное их понимание. Этим объясняется обычное для биологов отрицание значения уточнения общих понятий биологических наук и путей их теоретической разработки, особенно заметно сказывающееся в их отношении к возможности аксиоматического построения биологических теорий».

Видимо, сказано было вот что:

В современной биологии интенсивно развиваются теоретические ее области и проблемы (теория наследования признаков, теория видообразования, теория целостности организмов и др.). Такое развитие биологии встречается со значительным сопротивлением части биологов, стремящихся сохранить старую, традиционную проблематику. Отрицательное отношение части биологов к современной теоретической проблематике связано с их еще более отрицательным отношением к методам ее решения и осмысления.

Как видим, восемь с половиной строк вместо восемнадцати — при достаточно ясных смысловых связях между терминами и их окружением!

Известно, для того чтобы читатель или слушатель могли понять автора, необходимо, по крайней мере, однозначное применение и понимание слов и их соединений автором и слушателем (или читателем). Полисемия слова снимается в речи хорошо продуманным его окружением, его связями с другими словами. Если такого окружения нет, нет и одинакового понимания слова автором и слушателем (или читателем). Все только что сказанное вполне остается в силе и применительно к терминам. Однако в речевой действительности далеко не всегда получается так. Нередко автор (по-видимому, из-за не очень четкого «вйдения» понятийного смысла термина) ставит термин в такое словесное окружение, в такие связи с другими терминами и словами-нетерминами, что читатель (или слушатель) лишается возможности понять автора: полисемия термина остается не снятой, расплывчатость смысла не устраненной.

По-видимому, в речевом применении терминов науки (в терминоупотреблении) должны быть замечены главные ошибки и недостатки, в устранении которых прямо заинтересованы и наука, и преподавание научных дисциплин, и учение о речевой культуре — в той мере, в которой и терминоупотребление регулируется нормой и целесообразностью и подчиняется общим требованиям речевой культуры. Эти главные ошибки и недостатки следующие: а) неснятая полисемия термина; б) выдвижение на первый план в структуре речи одного, притом не главного значения — при оттеснении второго или остальных; в) нелогичные семантико-синтаксические связи термина со словесным окружением и внутри этого окружения; г) соотнесение с термином такого определения, которое не соответствует практике научного использования этого термина; д) противоречия, смысловые и логические, между применениями одного и того же термина в разных «участках» текста; е) фактическая нетерминированность слов, реально функционирующих в роли терминов; неточность терминоупотребления; ж) утаенная от читателей (слушателей) подмена одного значения термина совершенно другим.

Есть ошибки и недостатки в функционировании современной филологической терминологии.

§ 2. Термины «значение», «семантика», если они не уточнены определителями, оказываются полисемичными. И если автор речи лингвист говорит или пишет: «Семантика слова соотносит его с действительностью и сознанием» — он говорит правильно, но очень неопределенно: о какой семантике должен думать читатель или слушатель — лексической, грамматической, словообразовательной, стилистической? Если в учебном пособии написано: «Значения языковых единиц отражают мир вещей и предметов» — тот же самый недостаток; правильно, отражают, но какие именно значения языковых единиц имелись в виду автором?

Конечно, в таких случаях выход очень простой: нужно однословный термин превратить в двусловный, прибавив определение лексический, грамматический и т. д. Таким путем один освоенный наукой термин превращается в другой, тоже науке хорошо известный. Родовой термин заменяется видовым и достигается необходимая для читателя (да и самого автора) конкретизация понятия.

От неснятой полисемии термина нужно отличать его теоретическую неопределенность — как результат колебания теоретической мысли, результат неуверенности и нечеткости понимания сути какого-то языкового явления. Такую неопределенность изменением контекста не снимешь — нужна перестройка понимания и определения стоящей за термином языковой реалии.

Очень часто в современных книгах и статьях неснятая полисемия термина сопровождается выдвижением на первый план одного значения, которое в общей понятийной структуре слова занимает вовсе не первое место.

Так, в книге «Русский язык» (учебное пособие для 7—8-х классов) в определениях терминов «фонетика», «фразеология», «словообразование», «морфология», «синтаксис», «грамматика» на первое место выдвинуты значения, говорящие о соответствующих разделах науки о языке, и ничего не говорится о сторонах самого языка. В результате ученик толком ничего и не узнаёт о сторонах самого языка — они заслонены сведениями о науке, изучающей язык, и о ее строении. Далее, ученик не усваивает главных значений терминов, довольствуясь значениями второстепенными; ученик не вырабатывает представлений о соотношении реальных объектов и их отобра-

жения в сознании, о возможностях и пределах компетенции науки о языке.

В Академической грамматике-70 при определении, например, терминов «морфология», «синтаксис», «грамматика» выветривается их онтологический смысл, остается — гносеологический. Именно так слово *грамматика* применено в кратком введении к книге, которое имеет название «От авторов». Так слово *морфология* использовано в соответствующем разделе книги, во «Вступительных замечаниях» к которому сказано: «Предмет морфологии — грамматические классы и разряды слов, принадлежащие им грамматические категории и те системы форм (парадигмы), в которых эти категории существуют и выявляются» [*49*, 302].

В современных лингвистических и литературоведческих работах читатель натыкается (причем нередко) и на нелогичные семантико-синтаксические связи термина со словесным окружением и внутри него, что приводит к размыванию, неопределенности смысловых понятийных границ термина или невозможности уловить его предметную и понятийную отнесенность.

В одной книге автор, сославшись на Ф. де Соссюра, говорит: «Под «речью» понималась в широком смысле слова — совокупность всех и всяческих человеческих *высказываний*, которые служат для людей средством общения. «Язык» же рассматривался как особенность речи, постепенно возникавшая и развивавшаяся в ней. Когда в речи образуется определенная и устойчивая фонетико-лексико-грамматическая система, такую систему называют языком. Речь, исторически развиваясь, образует различные виды и обладает свойством, которое называют «стилем». Язык, в силу своей необходимой устойчивости и крайне медленной изменяемости, стиля не имеет, поэтому выражение «стиль языка» — абсурд.

Таким образом, язык представлялся в виде статической системы, не имеющей стилей, а речь — подвижной системы, обладающей ими. Отсюда делался вывод: тот, кто изучает язык, исследует формы, тот, кто изучает речь, исследует функции этих форм.

Само по себе расчленение на «язык» и «речь» не вызывает возражений. Действительно, языковые средства человеческого общения исторически расчленяются на более или менее устойчивые и подвижные, изменяющиеся в различных социально-исторических условиях. Но

при этом нельзя забывать, что и те и другие диалектически связаны между собой, а значит, было бы неверным отрывать одно от другого, разделять формы и функции. Язык как система и ее функционирование — это диалектическое единство, на что указывал и Ф. де Соссюр, которому принадлежит первая заслуга в расчленении «речи» и «языка».

Этой серии крайне неопределенных по смыслу высказываний предшествуют следующие два: «В современном литературоведении уже были попытки оторвать формы языка от их функций; первые предоставить для изучения лингвистов, а вторые — литературоведов. Такой взгляд основывался на расчленении понятий «язык» и «речь», произведенном еще Фердинандом де Соссюром».

Не будем упрекать автора в фактической неточности: впервые различение языка и речи было осуществлено вовсе не Ф. де Соссюром, а задолго до него. Но суть наших попыток понять, что к чему в двух цитатах — совсем в другом. В этих цитатах, в центре присущего им смысла, оказались термины «язык», «речь», «форма», «функция», «стиль». И семантико-синтаксические связи, в которые поставлены эти термины, таковы, что не позволяют уловить их понятийное содержание, поэтому смысл этих терминов оказывается неопределенным.

В самом деле, какой смысл вкладывает автор в слова *язык* и *речь*, и что делать бедному читателю, если он пойдет вслед за автором? Автор не ограничился размыванием логических смысловых границ в терминах «язык» и «речь», он то же самое сделал и с терминами «форма» и «функция».

Как же понимает автор и как должен, вслед за автором, понимать читатель смысл терминов «формы» и «функции»? Формы — это то, что свойственно языку, а функции — то, что свойственно речи? Но разве это что-нибудь дает читателю, кроме полнейшей логической неопределенности? Может быть, формы — это «более или менее устойчивые» языковые средства, а функции — более или менее подвижные? Но ведь диалектически более или менее устойчивые могут оказаться тем же самым, что и более или менее подвижные?

Конечно, сами по себе размышления, вложенные в подвергнутые критическому осмыслению цитаты, не так интересны, чтобы на них задерживать внимание читателя. Но дело сейчас не в содержании размышлений, а в

той речевой форме, которую они получили, в тех контекстных семантико-синтаксических связях, которыми наделены занимающие заметное место в науке термины.

В таких случаях, как только что показанный читателю, невольно хочется спросить: какими причинами вызывается неудача или ошибка в формировании автором речи семантико-смысловых связей, в которые ставятся те или иные термины? Думается, что причин может быть несколько.

Первая (и самая очевидная) состоит в том, что автор речи сам неотчетливо видит логические границы применяемого термина, поэтому и возникают логически неоднотипные связи термина с другими словами, расшатывающие его значение.

Вторая причина — слабый авторский самоконтроль. Элементарная авторская обязанность — внимательно и как бы «со стороны» вдуматься в написанное или сказанное — не выполняется.

Третья причина — недостаточно свободное владение языком, его синтаксическими и семантическими средствами и возможностями. Когда «чувство языка и стиля» не очень развито или в каких-то условиях временно ослаблено, автор речи может принять такие семантико-синтаксические связи, такие синтаксические структуры, от которых нужно было отказаться.

Еще одна речевая ошибка, возникающая в применении терминов, вызывается частой необходимостью строить их логические определения. Всякое определение имеет языковую форму и представляет собой словесную формулу, соотносимую с логическим содержанием термина и так или иначе это содержание объективирующую. Каждый термин имеет известную традицию его применения, закрепляющую вполне определенную предметную и логическую его отнесенность. Задача автора речи, создающего логическое определение термина, состоит, очевидно, в том, чтобы эту соотнесенность видеть и знать; только в этом случае ее можно словесно объективировать в определении. Словесная формула определения должна быть логично построена.

Вдумаемся в некоторые определения, соотносимые их авторами с сущностью термина «термин».

«Термин — слово или словосочетание, выражающее какое-либо одно научное понятие и в силу этого имею-

щее точные семантические границы, определяемые природой данного понятия».

Это определение, если его применять строго, не будет соотнесено ни с одним многозначным термином (а таких достаточно много) и ни с одним термином, семантические границы которого (значит, и логические) нестроги, расплывчаты, размыты (таких терминов тоже достаточно много). Это определение не «наложится» на термины «грамматика», «морфология», «синтаксис», «значение», «фразеология» и т. д., так как эти термины имеют не по одному значению: не «наложится» определение и на такие термины, как «смысл», «семантика», «значение», «информация», «стиль», «метод» и т. д., потому что семантические границы этих терминов не имеют точности, о которой говорит определение.

Можно было бы сказать, что обсуждаемое здесь несоответствие между определением и сущностью определяемого касается только логики. Но это не совсем так: одним из главных требований, предъявляемых к речи в общении, было и остается требование точности. Точность предполагает соответствие между значением слова и обозначенным этим словом предметом; точность предполагает, далее, соответствие между семантикой предложений и обозначенными этими предложениями связями и отношениями предметов и их признаков. Если это соотношение нарушается, нарушается и точность речи. В нашем примере это как раз и произошло.

Возьмем еще одно определение: термин — «слово или словосочетание, обозначающее (выражающее) мысль, являющуюся результатом обобщения предметов или явлений некоторого класса по существенным, общим и специфическим признакам, рассматриваемым с точки зрения их научной значимости».

Осуществим опыт: попытаемся соотнести это определение с теми словами и словосочетаниями, которые безусловно признаются терминами. Возникает две трудности. Одна связана с тем, что участники опыта привыкли различать мысль и понятие как элемент мысли, хотя и являющийся результатом предшествующей мыслительной работы. Вторая связана со словами определения «рассматриваемыми с точки зрения их научной значимости».

Пожалуй, большинство участников опыта вообще не найдет терминов, если будет искать такие единицы

языка, которые выражают мысль. Но даже и преодолев эту трудность, многие, если буквально, точно будут понимать и применять определение, не обнаружат многих терминов потому, что не будут уверены, имеют ли признаки предметов и явлений, обозначенных терминами, научную значимость.

И дело опять-таки не только в промахах научной мысли, но и в нарушении требования точности научной речи, предписывающего строго соотносить значение слова или предложения с предметом и понятием, связью предметов и связью понятий.

Получается, что определение термина не соответствует практике применения термина. Подобное несоответствие возникает и во многих других случаях, когда словесная формула определения не «накладывается» на существенные признаки определяемого предмета, замеченные в практике его использования и практического опознавания. Так было в недалеком прошлом в школе, когда предложение определялось как сочетание слов или отдельное слово, выражающее законченную мысль. В этом определении был просчет не только логический — что такое законченная мысль? В нем был чисто речевой недостаток — оно не могло быть строго соотнесено с теми реальными единицами языка, которые давно выделялись при обучении и назывались предложениями. В самом деле, разве могут быть подведены под такое определение предложения *А я как беспокоилась!*, *Вот так штука!*, *Это признак вашего терпения*, *Пошел вон, тебе говорят* и им подобные?

Если определение предложения построить по-иному: «Предложение — это наименьшая коммуникативная единица языка» — уже не возникнет ни логических, ни тем более речевых претензий, хотя с точки зрения полноты, богатства охваченных определением признаков это определение и можно оценить критически.

Еще один речевой недостаток, связанный с применением терминов, может быть назван колебаниями его семантики на протяжении текста, что не может не порождать и тех или иных логических несоответствий и противоречий.

В одной из филологических работ термин «семантика» применялся в разных значениях: а) лексическое значение слова, б) значение любого знака языка, в) смысл, конкретная информация, выражаемая пред-

ложением, г) смысл целого текста, д) семантика как синоним учения о семантике. В работе лишь последнее значение отчетливо противопоставлялось первым четырем. Первые же четыре налагались одно на другое, смешивались, образовывали в сознании какую-то безликую массу непереваренной информации о значении и смысле. Что можно как следует понять, если в одном месте текста сказано: «Семантика слова соотносит его с отдельным предметом и отражающим его понятием», в другом месте, без какого-либо предупреждения читателя, говорится: «Глагол как часть речи имеет разветвленную и богатую семантику» — о чем речь, о какой семантике? Вопрос возникает неизбежно и потому, что говорилось о семантике отдельного слова, соотносящей его с предметом и понятием (надо думать, о лексической семантике), и потому, что читатель знает (или может знать) о том, что семантика языковых знаков разнотипна. В третьем месте текста сказано: «Семантика этого предложения вводит нас в мир сознания автора». Так, может быть, говорится вовсе не о значении предложения как феномене языковом, а о смысле высказывания? И опять — никакого предупреждения, никакого выявления смены значений одного и того же термина «семантика». Есть и такое место в тексте, где говорится о семантике литературного произведения.

Уровень терминологической речевой культуры отчетливо опознается и по тому, как автор относится к уже освоенной научной терминологии. Его право — отвергнуть ее вместе с выражаемыми ею концепциями. Но это осуществимо в двух случаях — либо при условии создания новой системы гипотез, новой теории и, естественно, новой терминологии (что, видимо, невозможно); либо при условии перехода с позиций одного направления или школы в науке на позиции другого направления или школы, что, разумеется, возможно, однако требует от автора хотя бы элементарного такта научного общения, который выразился бы в том, что автор предупредит своих читателей о своем переходе в другой научный лагерь.

В истории нашей лингвистической науки последнего десятилетия есть немало случаев такого перехода. Один из лингвистов высказал желание уточнить терминологию — ради более строгого и более точного описания языка. Но в действительности произошло вот что.

Якобы ради уточнения терминологии были перенесены на почву нашей отечественной лингвистики термины и понятия, совершенно иной семантики, возникшие на базе совершенно иных научных концепций и школ.

Было принято применение терминов «лексика», «грамматика», «синтаксис», «семантика» в несвойственном советским лингвистическим школам значении. В результате понятийная и предметная отнесенность терминов была резко изменена, а читателя уверяли, что происходит уточнение терминологии.

Утверждалось, что лексика (не лексикология, читатель!) изучает выражение внеязыковых факторов, синтаксис — выражение всевозможных отношений между языковыми элементами, грамматика изучает и лексические, и синтаксические значения, но только те, выражение которых обязательно в данном языке; лексическое значение имеет своим означаемым внеязыковые факты, синтаксическое значение — отношения между языковыми элементами (подробнее см. в [*43*]).

Сопоставим этот набор с другим, традиционным для отечественной науки: лексика — совокупность и система слов языка, его словарный состав; лексикология — учение о лексике; синтаксис — учение о предложении, его составе, его категориях; грамматика изучает классы слов и их форм (морфология) и типы предложений (синтаксис), т. е. грамматика включает в себя морфологию и синтаксис; лексическое значение связано с отдельным словом и своим означаемым имеет как внеязыковые, так и языковые факты; синтаксическое значение — один из двух соотнесенных типов грамматического значения, связано с предложением и его членами и своим означаемым имеет, прежде всего, отношения между фактами и явлениями действительности и отражающего их мышления и сознания.

Если последовательно сопоставить принятые советской наукой значения ряда перечисленных лингвистических терминов и те значения, которые были предложены «ради уточнения терминологии», бросается в глаза полное несходство тех и других. Конечно, случай этот исключительный, но тем не менее вполне достоверный, действительный. Что же касается менее резких замен и смещений принятых тем или иным направлением науки терминологических значений, таких фактов много. И требуются очень большая осторожность в применении

терминов, большое внимание к тому, как их использует тот или иной автор, для того чтобы по возможности предупредить расшатывание терминологических систем и связанных с ними систем научных понятий.

Таковы, думается, основные ошибки и недостатки в речевом применении научной терминологии.

В чем нужно видеть их причины? Их может быть несколько: а) неотчетливое видение автором речи полисемии термина и объективной необходимости так или иначе ее преодолеть в структуре речи; б) ослабление контроля за соотнесением примененного термина и обозначенного им факта; в) неотчетливость понимания автором значения термина, принятого в науке, а вместе с этим и неотчетливость осознания соотнесенности термина и реалии, термина и понятия; г) неверное включение термина в цепь связей с полнознаменательными словами текста, в результате чего значение термина не уточняется, как того требуют интересы научного общения и потребности читателя; д) неосведомленность автора в существовании идейно-теоретических схождениях и расхождениях разных научных направлений и школ; е) сознательный переход автора речи на иные теоретические позиции — по сравнению с теми, которые были приняты ранее или принимаются большинством ученых — при нежелании или неумении переменить привычную и общепринятую терминологию на иную, соответствующую вновь усваиваемым концепциям; ж) осознанное намерение осуществить разрушающее вторжение в традиционную систему терминоиспользования — ради тщеславного желания сказать «новое слово» в науке.

Каждый из этих недочетов в речевом применении термина обнаруживает некую двуликость: одним лицом он обращен к научным идеям, концепциям, теориям и гипотезам, к глубине и степени истинности понимания каких-то фактов и явлений, а другим — к речи, ее качествам, условиям и требованиям ее культуры.

В научных статьях и книгах, посвященных терминологии, немало сказано о требованиях к термину, к его внешней форме и его значению. В этих требованиях есть и бесспорное, и очень спорное. Так, едва ли можно требовать от термина, чтобы он был кратким и однозначным. Потребности научного, технического, производственного, делового и учебного общения побуждают

язык и будут побуждать создавать термины не только краткие, но и очень длинные, каждый из которых может состоять из пяти, семи и большего числа отдельных полнознаменательных слов: «грамматическое значение», «категория времени русского глагола», «категория падежа имени существительного в немецком языке», «значение винительного падежа имени существительного в современном русском литературном языке». Требование однозначности также оказывается нереалистическим, противоречащим возможностям языка и потребностям развивающегося научного мышления.

Становится понятным, что говорить о культуре построения терминов (пусть они будут краткими, однозначными и т. д.) можно, но, как показывает изучение фактов, такие разговоры остаются, как правило, разговорами, а термины живут своей языковой жизнью, не снимая специфики, налагаемой научным мышлением, которое и осуществляется при условии, что есть созданная и развивающаяся терминология.

Говорить о культуре создания терминов можно, но не очень нужно. Говорить о культуре терминоиспользования, т. е. о культуре применения терминов в речи, и можно и очень нужно. Почему? Об этом кое-что уже было сказано. Попытаемся сказанное привести в какой-то логический порядок и подключить некоторые новые для читателя соображения и доводы.

Ошибки и недостатки в речевом применении терминов больно задевают науку, прежде всего — общение ученых, мешают коллегам в одной и той же области знания, специалистам по одному и тому же вопросу понимать друг друга.

Вспомним более тридцати лет идущие споры между представителями московской и ленинградской фонологических школ по вопросу: что же такое фонема? Спорящие стороны прочно занимают исходные рубежи и не проявляют никакого желания капитулировать, признавая, видимо, равенство сил. На первый взгляд, создалось очень странное положение: правы сторонники концепции Л. В. Щербы, и, видимо, правы по-своему сторонники концепции Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова. Но ведь истина должна быть одна!

Одно из объяснений затянувшегося и безрезультатного спора можно видеть в коварстве терминов. У каждого термина есть своя предметная и понятийная отне-

сенность, т. е. каждый термин обозначает какой-то предмет (класс предметов) и выражает понятие, отражающее существенные признаки этого предмета (класса предметов). Если по каким-то причинам один и тот же термин соотносится с разными предметами, результативный спор исключается, потому что одна спорящая сторона может иметь в виду один предмет, а вторая спорящая сторона — другой (ведь один и тот же термин имеет, по условию, различную предметную отнесенность).

Представители московской и ленинградской фонологических школ как раз и находятся в положении двух спорящих сторон, применяющих один и тот же термин, но с разной предметной отнесенностью.

Ленинградские фонологи видят, что язык располагает определенным набором звуковых элементов, способных различать слова и их формы и участвовать в создании их звуковых оболочек; каждый из таких звуковых элементов выступает в речи в совокупности большего или меньшего числа физически различных вариантов. Спрашивается, есть ли такие физические, звуковые элементы в языке? Да, есть, и с этим утвердительным ответом едва ли будут спорить московские фонологи. Но если такие элементы есть, почему их нельзя назвать фонемами? Термин для такого применения очень подходит, он так и применяется.

Но есть и другая сторона дела, которую видят московские фонологи: звуковые единицы языка привязаны к морфемам, и в пределах одной и той же морфемы, в процессе речевого функционирования, возникают чередования физически различных звуков, объединенных одной и той же функцией различения смысла морфем и целых слов. Почему бы не назвать такие комплексы чередующихся в составе одной и той же морфемы звуков фонемой? Можно назвать. И назвали. (Я прошу прощения у моих товарищей по науке — фонологов за некоторое упрощение их более сложных взглядов на фонему.)

Так что же получилось в результате: ленинградские и московские фонологи применяют один и тот же термин «фонема», соотнося его с близкими, частично пересекающимися, но все же разными языковыми реалиями. И, естественно, последователи Л. В. Щербы и последователи Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова не смо-

гут договориться до тех пор, пока не устранят мешающее им препятствие — неодинаковую предметную отнесенность одного и того же термина.

Еще сложнее обстоит дело с речевым применением термина «стиль». Этот термин имеет не две, а большее число предметных «отнесенностей». Литературоведы соотносят его с какими-то явлениями литературы (не ограничиваясь, во всяком случае, соотнесенностью лишь с языковой формой произведения литературы). Лингвисты соотносят этот термин с какими-то явлениями языка и речи (если принимают это различение). Кроме того, в пределах лингвистики одни соотносят термин «стиль» с пластами средств языка, каждый из которых ориентирован на тот или иной жанр литературы; другие соотносят этот термин с пластами языковых средств, имеющих «стилистическую окраску» или «экспрессию»; третьи соотносят стили с пластами средств языка, приуроченных к различным ситуациям общения; четвертые — с вариантами функционирующего языка, обслуживающими разные стороны жизни общества, разные типы его деятельности.

Какие широкие возможности для споров и какая их бесперспективность — до тех пор, пока спорящие не договорятся, о чем же они спорят, т. е. пока они не договорятся об одинаковой предметной отнесенности одного термина — «стиль».

По-видимому, ситуации, аналогичные в чем-то только что приведенным, возникают в науке довольно часто. Такие ситуации и дают основание говорить, что люди спорят не о вещах, а о словах. Если же быть точным, нужно сказать, что люди в таких случаях спорят о разных вещах, обозначенных одним и тем же словом (одним и тем же термином).

Ошибки и недостатки в применении терминов больно задевают и учебное общение учителей со своими учениками (преподавателей со студентами, авторов учебников с их читателями). Ведь если преподаватель не объяснит толково, в каком значении применяется тот или иной термин, не даст обучаемым информации, нужной для того, чтобы предметная отнесенность термина в речи преподавателя и в ее восприятии учеником была одна и та же,— трудно рассчитывать на хорошее усвоение обучаемыми знаний, которые дает им обучающий. Возникает своего рода конфликт познания между учи-

телем и учеником. Ученик видит не то, о чем говорит учитель.

Такой (или подобный) конфликт возникает не только тогда, когда учитель неудачно направил сознание ученика не на тот предмет, который видит сам, но и тогда (и это, по-видимому, бывает чаще), когда, изложив разные точки зрения и дав, следовательно, базу для различий в предметной отнесенности термина учениками, преподаватель оставляет их один на один с необходимостью выбора из нескольких неизвестных им величин одной. Но ученик, как правило, не справляется с такой задачей.

Обязанность каждого преподавателя договариваться со слушателями или читателями о принятом в лекции (статье, книге) понимании наиболее необходимых терминов, устанавливать их предметную и понятийную отнесенность. Нельзя, по-видимому, начинать лекцию о стилях языка и стилях речи, не договорившись со слушателями о различии терминов «язык» и «речь», о разнице и сходстве их предметной и понятийной отнесенности. Едва ли можно надеяться на усвоение слушателями общих сведений о синтаксисе и его задачах, если не будет достигнуто с ними соглашения об одинаковом понимании всеми участниками общения (т. е. лектором и слушателями) таких необходимых в этой теме терминов, как «язык» в отличие от «речи», «грамматика языка» и «грамматика как наука», соответственно «морфология» и «синтаксис», «грамматическое значение» и «смысл высказываний» и, возможно, некоторые другие.

Опытные преподаватели постоянно чувствуют опасность непонимания или искаженного и неполного понимания слушателями того, что сказано в лекции, беседе или на уроке. Главное средство предупреждения и устранения этой опасности — хорошее, доступное слушателям или читателям, логичное и точное объяснение терминологических значений. Пушкин цитировал одно из высказываний Р. Декарта: «Объясняйте значения слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений».

Видимо, человечество от половины его заблуждений таким способом избавить нельзя. Что же касается той части человечества, которую составляют ученые, учащие и учащиеся,— по отношению к ней слова Декарта

сохраняют и поныне всю свою силу. А объяснять значения слов в науке и преподавании — это значит обеспечить высокий уровень речевой культуры в применении терминов.

Проблема терминологической культуры — это, прежде всего, проблема речевого применения терминов, и было бы полезно для развития науки и улучшения школьного и вузовского преподавания эту проблему видеть и действовать в соответствии с требованиями, которые вытекают из ее правильного осмысления. Это касается не только филологов, но всех гуманитариев и негуманитариев.

Та же самая проблема стоит и перед нашей пропагандой и различными ситуациями общения в сфере управления.

ГЛАВА 13

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

§ 1. В большом и сложном деле формирования нового человека в обстановке идеологической борьбы с миром капитализма большое значение имеют средства массовой информации и пропаганды. Задача пропагандистов, агитаторов — всех работников пропагандистского, агитационно-массового фронта — «нести сотням миллионов людей правду о социалистическом обществе, о советском образе жизни, о строительстве коммунизма в нашей стране. И делать это надо убежденно, убедительно, доходчиво и ярко» [*20*, 91].

Заключительные слова цитированного высказывания товарища Л. И. Брежнева имеют прямое отношение к предмету и теме нашего разговора. Чем же обеспечиваются убедительность, доходчивость и яркость выступления, каковы условия его действенности, какое место среди этих условий занимает речевая культура.

К числу этих условий нужно отнести:

а) Хорошее освоение темы предстоящего публичного выступления, ясное понимание его задач, отчетливое и глубокое осмысление сути вопросов, которые предстоит поставить и на которые надо будет ответить слушателям, одним словом, знания, знания, знания и их самостоятельное обдумывание и усвоение.

б) Убежденность в предложенном слушателям освещении и обсуждении тех или иных тем и вопросов, тех или иных явлений и событий общественной, хозяйственной, научной или личной жизни. Отстаивая наши общие великие идеи — идеи строителей коммунистического будущего, автор публичного выступления должен эти идеи, освещаемые им политические и социальные проблемы усвоить настолько хорошо, чтобы идеи общие стали его личными, перешли в его убеждения. Только

если ты убежден в свой идеологической и научной правоте, ты можешь надеяться на положительный результат своего публичного выступления.

в) Заинтересованность личная в том, чтобы избранная тема была правильно осмыслена и доказательно раскрыта для слушателей и ради них. Неравнодушие к своей теме, ее освещению, к людям, с которыми говоришь. Равнодушный ко всему и всем человек не может предложить слушателям хорошего публичного выступления.

г) Психологическая волевая установка на воздействие. Если ты выступаешь, выступай затем, чтобы слушатели тебе поверили, чтобы они в чем-то тебе подчинились, чтобы пошли за тобой в твоих поисках нужных решений, в твоем обдумывании вслух тех или иных вопросов и тем, событий и явлений.

д) Продумывание плана предстоящего выступления: с чего начать, в какой последовательности излагать главные подтемы и вопросы, как их между собой связывать, чем выступление завершить?

е) Фиксирование, закрепление на бумаге предстоящего выступления — в форме плана, плана-конспекта, тезисов, свободных записей или полного конспекта.

ж) Правильное, обеспечивающее действенность поведение в процессе выступления — логико-психологическое, нравственное, речевое, внешнее.

В этот неполный перечень условий пока не включены хорошее знание языка и умение пользоваться им, т. е. речевая культура. Но это условие — необходимое и очень важное, оно незримо присутствует в формулировании других условий: хорошо освоить тему (найти нужную информацию, обдумать ее), понять отчетливо поставленные задачи (их надо точно сформулировать!), укрепить убежденность в своей правоте, психологически подчинить слушателей (как, чем, какими словами и высказываниями — о каких фактах и явлениях?) — все это осуществляется при участии языка — открытом или скрытом. Тем более отчевидна необходимость обращения к языку, работы с его участием при продумывании плана, при построении предстоящего выступления, при подготовке записей к выступлению и в процессе самого выступления.

В наше время широкое распространение получили публичные выступления по написанному тексту. В ка-

ких-то случаях это оправдано и необходимо, в других — объясняется неумением выступающего публично говорить, в-третьих — простой леностью нашей мысли (самому думать не хочется, напишут другие, а я прочитаю). Слово «оратор» (от лат. orare — «говорить») применяется в двух значениях: 1) человек, произносящий речь, выступающий публично; 2) человек, умеющий хорошо говорить публично, обладающий даром красноречия, владеющий мастерством слова.

Так вот, если слово «оратор» применять хотя бы только в первом значении, то и в этом случае от оратора можно и нужно требовать уважения к языку и людям, для которых оратор выступает. Если же оратор — во втором значении слова, то, значит, с культурой речи связаны вся его деятельность, все его поведение во время публичного выступления, все его радости и огорчения, вызванные таким выступлением. Оратор воздействует на слушателей прежде всего своим красноречием, высокой речевой культурой, словесным мастерством. Такой оратор умеет вести пропаганду убедительно, доходчиво и ярко. Он может не только строго и точно, но и эмоционально изложить любой сложный теоретический вопрос.

Ораторов, т. е. мастеров публичного выступления, блестяще владеющих языком, не так много. Можно в связи с этим вспомнить статью, написанную А. П. Чеховым в 1893 г. Статья называлась «Хорошая новость»:

«В Московском университете с конца прошлого года преподается студентам декламация, т. е. искусство говорить красиво и выразительно. Нельзя не порадоваться этому прекрасному нововведению. Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном загоне. В земских и дворянских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим, или же говорим вяло, беззвучно, тускло, «уткнув брады», не зная, куда девать руки; нам говорят слово, а мы в ответ — десять, потому что не умеем говорить коротко и незнакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект» <...> У нас много присяжных поверенных, прокуроров, профессоров, проповедников, в которых по существу их профессий должно бы предполагать ораторскую жилку <...>, но у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли ясно, коротко и просто. В обеих столицах насчитывают всего-навсего настоящих ораторов пять-шесть, а о провинциальных златоустах что-то не слыхать <...> А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычием смех даже у подсудимого, про жрецов науки, которые «изводили» своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке пол-

нейшее отвращение <...> Мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то по крайней мере не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, *ханжество* слова или пошлое краснобайство. И в древности, и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что «не умеют» говорить. В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным. В этом отношении почин Московского университета является серьезным шагом вперед» [*65*, 131—132].

Так думал и писал один из самых больших мастеров русской классической литературы, великолепный знаток свойств русского литературного языка, непревзойденный стилист — Чехов. Может быть, он и не во всем прав. Может быть, не так безнадежно мало было в России профессоров, литераторов, судебных деятелей, учителей, желавших и умевших говорить и точно, и кратко, и красиво. С другой стороны, может быть, не все лучшие государственные люди, философы, поэты, реформаторы были образцовыми ораторами — даже в эпохи процветания государств и народов. Но Чехов был прав в главном: есть такие профессии, такие виды деятельности, которые настоятельно требуют хорошего знания языка и образцового владения им, а между тем в повседневной жизни это ее же требование многими не сознается и даже не замечается. Так было при Чехове, так остается, к сожалению, и сейчас, когда уровень образованности широких слоев населения неузнаваемо поднялся, а вместе с тем поднялся и общий уровень речевой культуры. Однако до подлинного ораторского искусства нам еще очень и очень далеко, как далеко и до вершин речевой культуры — усвоены только ее азы. И мы еще не всегда понимаем то, что было понятно Чехову 87 лет назад: для интеллигентного человека привычка «говорить дурно»

и неумение говорить хорошо должны считаться неприличием.

Мы, социалистическая страна, создали для подъема речевой культуры все объективные предпосылки: и размах и многообразие общественных потребностей, и высокий уровень образования, и наличие великолепной художественной и научной, учебной и публицистической литературы, и словари и грамматики. Осталось как будто немного: понять, как нужна речевая культура обществу. И овладеть ею.

В горьких и ироничных высказываниях Чехова есть и еще одна мысль, нам близкая и понятная. Ведь Чехов прямо связывает ораторское искусство с речевой культурой, как мы сказали бы теперь. Чехов написал иначе: «Во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом».

Между тем нельзя не заметить, что понятное Чехову оказывается непонятным некоторым современным деятелям. Как правило, в подготовке пропагандистов не находится места для занятия речевой культурой и языком; в лучшем случае дело ограничивается одной лекцией о культуре речи пропагандиста. В пособиях по «мастерству публичного выступления» можно найти все, что угодно, кроме толкового и грамотного изложения сведений о языке и речевой культуре. Предпринимаются попытки ввести в качестве учебного предмета «Мастерство публичного выступления», и при этом забывается, что прочной базой такого мастерства была и остается речевая культура, а на ее изучение не выделяется времени.

Вопрос о соотношении уровня и успеха публичного выступления и речевой культуры выступающего как-то не привлекает внимания. Видимо, молчаливо признается, что если выступающий овладел некоторой суммой нужной информации по какой-то теме, если он может правильно ориентироваться идеологически, если, к тому же, он знает несколько методических и общедидактических советов — успех выступления обеспечен. Какое глубокое заблуждение! И как далек был от такого заблуждения Чехов!

Учитесь владеть языком, настоящие и будущие ораторы! Язык — ваша база и ваше профессиональное оружие. Язык нужен вам на всех ступенях подготовки и осуществления вашего публичного выступления. Попы-

тайтесь написать хороший план, хорошие тезисы и хороший конспект — и вы сразу почувствуете, что все это не так просто сделать без хорошего знания языка и свободного владения им. Если вы готовите полный текст (можно выступать перед слушателями и по хорошему тексту), как вы его будете создавать, если не выработаны нужные речевые навыки, если вам не подчиняются слова и синтаксические конструкции? Можно, правда, поступить просто (и так многие поступают): взять существующую (обычно — рекомендованную) литературу и из статей и книг выбрать подходящие к теме места, вынуть нужные высказывания, немножко их перестроить и получится текст. Только вот вопрос: чей же это текст? А если он чужой, не мой, если я его не создавал, не мучился, не страдал, отыскивая единственно возможный порядок единственно нужных слов (как говорил Л. Толстой), то с чем же я выйду на глаза людей? И в какой роли я выступаю? В роли заурядного чтеца? Но ведь и читать надо уметь — с чувством, с толком, с расстановкой. А еще лучше не читать, а говорить. Слушатели легче и доброжелательнее воспринимают живую речь, обращенную к ним. И, как мы только что видели, не было в конце XIX в. заведено хорошо говорить. Ну, что же, вслед за Чеховым скажем с надеждой: быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора, вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и красиво,— мы дождемся когда-нибудь, что все они поймут социальную необходимость говорить хорошо и, поняв ее, научатся это делать.

§ 2. Вопрос «Чтение готового текста или живое слово?» — не такой праздный, как можно подумать. Да, во всех случаях, казалось бы, нужно предпочесть живое слово чтению по написанному. Но ведь есть немало таких ситуаций общения, таких коммуникативных задач, которые не позволяют ответить на поставленный вопрос по принципу «или/или». Можно даже попытаться посоветовать, когда допустимо (или нужно) предпочесть чтение, а когда живое свободное выступление.

Если на каком-то ответственном заседании оглашается официальный документ, естественно, он читается. В число официальных документов нужно зачислить и отчетные доклады, предварительно обсужденные и утвержденные соответствующими органами.

Лучше читать по готовому тексту и доклад на торжественном официальном вечере, посвященном тому или иному юбилею, знаменательной дате, событию, большого исторического значения и т. д. Почему? Потому что живая речь может оказаться чем-то нарушенной, не очень строгой — эта опасность совершенно реальна при недостаточной тренированности речевых навыков, что встречается в жизни нередко.

Вероятно, во многих случаях надо предпочесть чтение по готовому тексту научных докладов — на широких по составу участников конференциях, съездах, симпозиумах. Написанный научный доклад, как правило, строже, логичнее, компактнее по времени, чем тот, который произносится. Впрочем, категорически нельзя настаивать на этой рекомендации.

Вузовские лекции могут и читаться по тексту, и произноситься; второе предпочтительнее. На произнесение лекции должен, видимо, решаться не каждый преподаватель, а только тот, у кого опыт за плечами, и большие знания, и умение свободно эти знания осмысливать, комментировать, принимать и отвергать. Если всего этого нет, пусть лекция будет прочитана в буквальном смысле, но с соблюдением необходимых методических и психологических требований.

Как быть пропагандисту и агитатору в рабочем коллективе, в учреждении, высшем учебном заведении? Как правило, нужно разговаривать со слушателями, а не читать по бумажке. Чтение по заранее написанному тексту можно было бы допускать только в случаях, когда пропагандист неопытен, молод, не привык еще к выступлению перед аудиторией, к своеобразному постоянному общению с ней в процессе выступления. Если нет никаких особых причин, пропагандист должен говорить со слушателями — говорить свободно, точно, живо — такая речь привлекает внимание слушателей к тем вопросам, которые обсуждаются пропагандистом.

Выступления на наших очередных собраниях — рабочих, учрежденческих, вузовских, районных должны быть, как правило, живыми, естественными. Пусть каждый говорит как умеет. Не нужно требовать от выступающего на собрании такой отделанности речи, которая необходима пропагандисту или руководителю института. Но предположим, что выступающий, хотя и нужно было бы говорить, а не читать, все же по каким-то при-

чинам читает заранее подготовленный текст. Перед таким человеком возникают две задачи: первая — подготовить текст, вторая — его прочитать. И при подготовке текста, и при его чтении от автора речи требуется работа со словом. Можно посоветовать тому, кто готовит текст, очень хорошо продумать его содержание. Может быть, стоит это содержание «уложить» в развернутый план, а еще лучше — в тезисы. Хорошо продуманный план с точными словесными обозначениями темы, подтем и вопросов — хороший помощник выступающего. Толковые тезисы, точно и кратко сформулированные, обеспечивают наполовину успех выступления. Тезисы нужны тому, кто хочет говорить свободно, если говорит, и читать, отрываясь от текста, если читает.

Если текст готовится полностью, нужна его очень тщательная (и, может быть, неоднократная) правка — отделка языка. Ведь спрос с того, кто готовил текст дома, больше: он обязан был все как следует продумать и хорошо написать. Неточности, логические перепады, засилье штампов и стереотипов, однообразие синтаксиса такому автору слушатели имеют полное право не прощать.

И два слова о самом чтении. Правильное произношение и ударение, гибкие, живые интонации, их разнообразие, небыстрый темп, нужные по ходу изложения и обсуждения паузы — как все это важно! И — постоянное общение со слушателями, постоянная готовность понять, как аудитория реагирует на содержание выступления. А может быть, кто-то хочет задать беспокоящий его вопрос? Все это должен видеть и замечать, и учитывать хороший лектор, докладчик, преподаватель, пропагандист или руководитель завода. Но все это возможно, если ты не связан текстом по рукам и ногам, если ты его сам подготовил, сам продумал, сам нашел нужные для выражения смысла средства языка.

ГЛАВА 14

ЛЕНИН И РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА

§ 1. Как высокий пример, как образец для подражания должно осознаваться отношение В. И. Ленина к языку и его личное влияние на речевую культуру своего времени. Ленин изучал язык, его свойства, его связи с мышлением, сознанием, обществом — изучал, наблюдая язык, его жизнь, его «работу» и осмысливая, критически оценивая сказанное о языке философами и лингвистами. Ленин выработал свой взгляд на язык, свое понимание языка — важнейшего средства общения.

В одной из работ — «О праве наций на самоопределение» — Ленин написал: «Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем.

Образование *национальных государств*, наиболее удовлетворяющих этим требованиям современного капитализма, является поэтому тенденцией (стремлением) всякого национального движения. Самые глубокие экономические факторы толкают к этому, и для всей За-

падной Европы — более того: для всего цивилизованного мира — *типичным*, нормальным для капиталистического периода является поэтому национальное государство» [7, 258—259].

В этом высказывании Ленина — ряд мыслей, позволяющих глубже осознать и социальную сущность языка, и понимание этой сущности Лениным.

Для начала обратим внимание на такую деталь: уже в XIX в., в частности в работах Гегеля, Фейербаха, Энгельса, было в ходу определение языка как средства общения людей. Ленин принял это определение, введя в него признак «важнейшее»: **язык есть важнейшее средство человеческого общения.** Действительно, люди имеют не одно средство общения: есть мимика и жесты, есть морская сигнализация и светофоры, есть музыка и изобразительное искусство. Причем музыка и изобразительное искусство — мощные средства общения и социального воздействия. Однако даже музыка и изобразительное искусство не могут выдержать сравнения с языком по роли в жизни людей. Язык, в отличие от музыки и изобразительного искусства, во-первых, универсален: он нужен всем людям во всех областях их жизни и деятельности; во-вторых, язык способен однозначно и расчлененно выражать мысли людей — этой способностью не обладает ни музыка, ни изобразительное искусство.

Вторая важная для понимания языка мысль Ленина, выраженная в цитированном высказывании, о роли языка в формировании наций. Ведь если для полной победы товарного производства необходим ряд условий и в этом ряду — язык, это значит, что язык признается Лениным мощным фактором исторического развития общества. Формирование наций и национальных государств прямо связывается Лениным с государственным сплочением территорий с населением, говорящим на одном языке. Торговый оборот, свободная и широкая группировка населения по отдельным классам, связь рынка с покупателем и продавцом прямо зависят от языка, его единства и беспрепятственного развития.

Все это сказано Лениным применительно к условиям капитализма. Но ведь в принципе язык продолжает оставаться мощным рычагом исторического движения и при социализме — не только остается, но и приобретает бо́льший вес и бо́льшее социальное значение.

Понимание Лениным роли языка в развитии общества отчетливо выражено и в статье «Нужен ли обязательный государственный язык?». В этой статье Ленин полемизирует с российскими либералами, тезис которых о необходимости обязательного государственного языка социал-демократы отвергали. Ленин пишет: «Русский язык — велик и могуч, говорят нам либералы. Так неужели же вы не хотите, чтобы каждый, кто живет на любой окраине России, знал этот великий и могучий язык? Неужели вы не видите, что русский язык обогатит литературу инородцев, даст им возможность приобщиться к великим культурным ценностям и т. д.?

Все это верно, господа либералы,— отвечаем мы им. Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч. Мы больше вас хотим, чтобы между угнетенными классами всех без различия наций, населяющих Россию, установилось возможно более тесное общение и братское единство. И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку.

Мы не хотим только одного: элемента *принудительности*. Мы не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз о «культуре» вы ни сказали бы, *обязательный* государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его *из-под палки*. Мы убеждены, что развитие капитализма в России, вообще весь ход общественной жизни ведет к сближению всех наций между собою. Сотни тысяч людей перебрасываются из одного конца России в другой, национальный состав населения перемешивается, обособленность и национальная заскорузлость должны отпасть. Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки. А принудительность (палка) приведет только к одному: она затруднит великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное — обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепонимание и т. д.

Кому это нужно? Русскому народу, русской демократии — этого не нужно. Он не признает *никакого* на-

ционального угнетения хотя бы и «в интересах русской культуры и государственности» [*6*, 294—295].

Ленин, говоря о настоящем, как бы предугадывает будущее. Великий и могучий русский язык стал языком межнационального общения и одним из условий формирования новой исторической общности людей — советского народа.

Третья очень существенная для нас с вами, читатель, мысль, заложенная в высказывании Ленина о национальных движениях,— это мысль о единстве языка и закреплении его в литературе. Он называет русский язык языком Тургенева, Толстого, Добролюбова и Чернышевского. Тем самым особо оттеняется роль литературы в развитии языка, участие литературы в укреплении его «общности», единства, в формировании его норм. Заботой о единстве русского языка проникнуты письма Ленина Луначарскому, Курскому, Бонч-Бруевичу — о желательности создания толкового словаря русского языка — «языка классиков», «от Пушкина до Горького».

Глубокое понимание Лениным роли языка в истории общества, роли литературы в формировании языка национального, глубокое понимание Лениным необходимости единства национального языка и его закрепленности в литературе — все это должно быть хорошо усвоено многими представителями нашей прессы и литературы.

§ 2. Глубокое марксистское понимание Лениным сущности языка и его роли в жизни людей проявилось и в особой заботе, которую вождь социалистической революции проявлял в отношении к русскому языку и языковой (речевой) культуре общества.

После свершения Великой Октябрьской социалистической революции Ленин осуществляет ряд важных действий, целью и смыслом которых было содействие развитию русского литературного языка и облегчение для народа его, литературного языка, усвоения. 10 октября 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял «Декрет о введении новой орфографии».

Советское правительство решило осуществить те предложения, которые были подготовлены ранее авторитетными русскими учеными и которые были положены под сукно царским правительством более чем на десятилетие. Советская власть начала свою деятельность актами о мире, земле и просвещении!

В 1920 г. Ленин, несмотря на нечеловеческую занятость, знакомится со словарем В. И. Даля и пишет письмо А. В. Луначарскому.

«Тов. Луначарский!

Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые,— ознакомиться с знаменитым словарем Даля.

Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького.

Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек?

Как бы Вы отнеслись к этой мысли?

Словарь классического русского языка?

Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне Ваше мнение.

Ваш *Ленин*»

К вопросу о словаре Ленин возвращается не один раз — в письмах Покровскому, Луначарскому, Курскому, Литкенсу.

Вот начало письма М. Н. Покровскому от 5.05.1920 г.

«т. Покровский!

Мне случилось как-то беседовать с т. Луначарским о необходимости издания хорошего словаря русского языка. Не вроде Даля, а словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так сказать, классического, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно)».

Из этих двух писем совершенно ясно, что беспокоит Ленина. В современном споре ревнителей областного лексикона и их противников, защищающих общенациональное языковое единство, мысли и заботы Ленина оказываются на стороне последних; защитником общенационального языкового единства стал, видимо, не без влияния идей В. И. Ленина — и М. Горький, в изменившихся социальных условиях, уже в 30-е годы, продолживший бескомпромиссную борьбу за чистоту и правильность русской речи, за овладение литературным языком как высшей формой языка русской нации, русского народа.

§ 3. Поучительна редакторская правка Лениным газетных статей и деловых документов, а также вызванные этой правкой замечания Ленина. И то и другое

помогает нам точнее и полнее представить себе, к чему стремился сам и звал своих товарищей по партии Ленин — в области речевой культуры, как он оценивал ее роль в жизни людей, в повседневной работе партийных и советских органов и организаций.

Возьмем лишь несколько фактов — из очень большого их ряда.

1. Редактируя статью М. Ольминского «Отзвуки петербургских событий за границей», Ленин вносит в числе других и следующее исправление.

У Ольминского было: «Несмотря на государственные границы, несмотря на преграды, которые деспоты всех стран воздвигают между народами, у нас с вами одни и те же страдания, одни и те же мысли об освобождении».

После правки текста Лениным стало:

...[Несмотря на государственные] **Никакие** границы [несмотря на], **никакие** преграды, которые деспоты всех стран воздвигают между народами, **не смогут разъединить нас:** у нас с вами одни и те же страдания, одни и те же мысли об освобождении... [*19*, 161].

Этот текст точнее и выразительнее.

2. В 1905 г. Ленин правит статью В. Воровского «Буржуазные соглашатели и пролетарские революционеры» (у Воровского было другое название — «Еще страничка из истории»).

Текст В. Воровского: «...У нас созывается заведомо фальсифицированное совещательное собрание, — и уже некоторые революционеры отстраняют вопрос о подготовке восстания, сосредоточивая свои упования на Думе «соглашателей», из которой должен выйти толчок к всенародной революции».

После правки текста Лениным стало:

«...У нас созывается заведомо фальсифицированное совещательное собрание,— и уже [некоторые революционеры] **нашлись оппортунисты в социал-демократии, которые** отстраняют вопрос о подготовке восстания, сосредоточивая свои упования на Думе «соглашателей», [из которой должен выйти толчок к всенародной революции!] **которая, изволите видеть, может превратиться в «революционное собрание»! Упования этих несчастных слепцов на революционность Думы прикрывают только наготу их беспомощной тактики, в которой не осталось ничего революционного»** [*19*, 182].

И в этой правке ясно заметно стремление Ленина сделать текст точнее, выразительнее, действеннее.

3. В замечаниях на статью неизвестного автора, написанных Лениным во второй половине 1910 г., сказано:

1) «пара лет» не по-русски.— 2) «клеймят безумием» — не по-русски. — 3) длинные фразы с повторением (чтобы сказать то-то, чтобы постоянно и непрерывно связывать, чтобы и т. д.) необходимо переделать в короткие. — 4) Слог весь, по-моему, надо переделать в более популярный — для сего переписать все заново» [*19*, 208].

4. В письме в редакцию газеты «Правда», написанном Лениным 1 августа 1912 г., в частности, сказано:

«...Если статью «необходимо так или иначе напечатать» (как пишет секретарь редакции), то как понять Витимского «вредит гневный тон»? С которых пор *гневный* тон против того, что́ дурно, вредно, неверно (а ведь редакция «принципиально» согласна!), вредит ежедневной газете?? Наоборот, коллеги, ей-богу, наоборот. Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно писать. А Вы сами указываете — и справедливо — на однотонность!..» [*16*, 78].

5. Из пометок и дополнения к проекту постановления Совнаркома о высших технических учебных заведениях:

27 мая 1920

...3. В результате указанных в настоящем постановлении мероприятий и целесообразной концентрации преподавания, в высших технических учебных заведениях устанавливается трехлетний курс...	?? Это не по-русски. Не ясно. ??Когда же? [*19*, 221].

В статье «Аграрный вопрос и «критики Маркса», написанной в 1901 г., Ленин требовал: «...не забывать никогда о том, что члены боевой социалистической партии должны и в ученых своих трудах не упускать из виду читателя-рабочего, должны стараться писать *просто*, без тех ненужных ухищрений слога, без тех внешних признаков «учености», которые так пленяют декадентов и титулованных представителей официальной науки...» [*19*, 230].

В статье «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» (1918) Ленин говорит: «...Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мелкобуржуазной

интеллигенции. Организованные пролетарии-коммунисты за эту «манеру» будут карать, наверное, не меньше, как насмешками и изгнанием со всякого ответственного поста. Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо...» [*19*, 238].

О чем же говорят взятые нами факты, чему они нас учат?

Они говорят (не забудем, что таких фактов множество и были взяты лишь некоторые) о том, что Ленин на всем протяжении своей партийной деятельности оставался чутким и требовательным к своей речи и речи других, придавая ее качеству самое большое значение.

Осмысливая высказывания Ленина о языке и стиле различных документов, его редакторскую правку, мы можем хотя бы частично восстановить то, как представлял себе Ленин речевую культуру, чего он ждал и требовал от речевой формы статей, книг, докладов и лекций, партийных и государственных документов. Особо важными качествами текста Ленин признавал ясность, точность, сжатость, выразительность, правильность языка.

§ 4. Записи выступлений Ленина на митингах, собраниях и съездах, статьи, воспоминания близко знавших Ленина людей о его выступлениях, высказывания самого Ленина позволяют получить некоторое представление о нем как ораторе.

Вот что писал М. Горький: «Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией,— все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а

действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре,— точно произведение классического искусства: все есть и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению — значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали: «Густо говорит»... [*65*, 312—313].

В своих воспоминаниях А. А. Андреев пишет о выступлениях Ленина: «Речь его была цельная, как глыба, как слиток. Он ставил основную задачу, и все другие вопросы, которых он касался, находились в сцеплении, в прямой связи с главной темой выступления, одно положение — в тесной, неразрывной связи с другим.

Выступал он обычно или совсем без записи, или имея в руках лишь небольшую бумажку с наброском плана речи, с заметками и вопросами, о которых он хотел сказать. Вот Ленин выходит для доклада; у него с собой краткий конспект, да и то в ходе речи он в него очень редко заглядывает. Но видно по всему, что его доклад не экспромт, а результат большой предварительной работы мысли. Все основные положения он заранее продумал, а аргументы в значительной мере у него рождались уже на трибуне. Обладая колоссальной памятью, огромным запасом знаний, будучи замечательным диалектиком, он поражал свободой и железной логикой своих выступлений, необыкновенной способностью всесторонне охватывать события и видеть далеко их развитие.

Стиль его выступлений не тезисный. Речь очень живая, острая, меткая и всегда глубоко принципиальна. Теоретические положения перемежаются с практическими соображениями и доводами. Его речь обычно пересыпана примерами, сравнениями, но не цифрами. Подтверждая свои доводы, он часто употребляет меткие словечки, ходовые народные поговорки; в этом смысле кажется никто так не пользовался богатством русского языка, как Ленин <...>

Он мог во время выступления не глядеть на свои записи, но не мог забыть свои часы, которые обыкновенно держал в руке, часто поглядывая, не затянул ли он свою речь, и, если по его расчету время истекало, он

начинал заметно торопиться» [*65*, 315—317]. (Читая воспоминания о Ленине, не будем забывать, что авторы этих воспоминаний применяли слово «речь» не обязательно в том значении, в котором его применяют лингвисты.)

Вдумываясь в воспоминания о Ленине и, главное, в тексты работ самого Ленина, мы можем сказать, что Ленин как оратор выделялся среди всех ораторов нового времени своей мыслью, гениально-глубокой, бескомпромиссно-логичной, неотвратимо-доказательной. Ленин-оратор — это всегда оратор-мыслитель. Именно поэтому так строго, точно, логично каждое ленинское слово, каждое его высказывание.

Мысль Ленина всегда точно нацелена его убеждением и волей, строго подчинена не только законам логики, но и законам волевого воздействия автора речи на слушателей или читателей. Ленин и в статьях как бы остается оратором, разговаривает с читателем, доказывает и убеждает, отрицает и спорит, зовет и подчиняет своей воле, своим убеждениям.

Ленин умел ясно видеть то, к чему звал людей, и умел твердо защищать свои идейные, нравственные, научные, политические позиции. Ленинские выступления обладали волевым зарядом колоссальной силы, и этот волевой заряд помогал Ленину как оратору сплачивать союзников, привлекать колеблющихся, поражать противников. Именно эта сторона, эта черта Ленина-оратора остановила внимание А. В. Луначарского: «...Ленин решил прочесть большой реферат в Париже на тему о судьбах русской революции и русского крестьянства.

На этом реферате я в первый раз услышал его как оратора. Здесь Ленин преобразился. Огромное впечатление на меня произвела та сосредоточенная энергия, с которой он говорил, эти вперенные в толпу слушателей глаза, это монотонное, но полное силы движение автора, то вперед, то назад, эта плавно текущая и вся насквозь заряженная волей речь.

Я понял, что этот человек должен производить, как трибун, сильное и неизгладимое впечатление. А я уже знал, насколько силен Ленин как публицист своим необыкновенно ясным стилем, своим умением представлять всякую мысль, даже сложную, поразительно просто и варьировать ее так, чтобы она отчеканилась, на-

конец, даже в самом сыром и мало привыкшем к политическому мышлению уме» [*65*, 309].

Яркая черта Ленина как оратора — страстность. Ленин не умел быть безразличным. Он мог радоваться и огорчаться, любить и ненавидеть, утверждать и отрицать — он не мог быть равнодушным. Это, конечно же, находило свое выражение в языке и стиле Ленина,— в напряженном ритме его речевых структур и в переломах этого ритма; в сосредоточенной и всегда живой интонации; в противодействии казенному языковому шаблону и чиновничьей канцелярщине; в живых разговорных, а подчас и просторечных словах и оборотах речи; в применении пословиц и поговорок, крылатых высказываний писателей. Великолепное знание родного языка, безукоризненное владение его неограниченными средствами позволяли Ленину создавать эмоционально насыщенные выступления.

Можно себе представить, какого душевного напряжения, какой умственной энергии требовало каждое публичное выступление Ленина. Н. К. Крупская вспоминает: [речь Ленина] «Плавная и свободная. Слова и фразы подбирал свободно, не испытывая затруднений. Правда, он всегда очень тщательно готовился к выступлениям, но, готовясь, он готовил не фразы, а план речи, обдумывал содержание, мысли обдумывал.

Говорил всегда с увлечением — было ли то выступление или беседа. Бывало часто — он очень эмоционален был,— готовясь к выступлению, ходит по комнате и шепотком говорит — статью, например, которую готовится написать. На прогулке, бывало, идет молча, сосредоточенно. Тогда я тоже не говорю, даю ему уйти в себя. Затем начинал говорить подробно, обстоятельно и очень не любил вставных вопросов. После споров, дискуссий, когда возвращались домой, был часто сумрачен, молчалив, расстроен <...>

Страстность захватывающая речи, она чувствовалась даже когда говорил внешне спокойно.

Перед всяким выступлением очень волновался: сосредоточен, неразговорчив, уклонялся от разговоров на другие темы, по лицу видно, что волнуется, продумывает. Обязательно писал план речи» [*59*, 481; 485].

Мысль, воля, страстность, великолепное знание языка и образцовое владение им — вот что придавало выступлениям Ленина покоряющую силу воздействия на

разум и чувства слушателей, вот что выдвигало Ленина на первое место среди политических ораторов XX столетия.

Многие особенности, стиль устной речи Ленина своеобразно (хотя, конечно, и неполно) отражены в его политических, публицистических статьях и в записях его устных выступлений.

Возьмем для наблюдения и обдумывания четыре отрывка из четырех произведений Ленина.

Первый — из научно-публицистической статьи «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение»: «Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России,— он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь» [*4*, 39—40].

В тексте отчетливо видна одна из особенностей речи Ленина — лексико-синтаксический повтор и объединение в ряды слов и оборотов, усиливающих выраженную мысль и чувство: «обострила его внимание», «углубила его интерес...», «привела к перелому всего его миросозерцания»; или: «на порабощении масс», «на разорении крестьян», «на насилии и лицемерии». Применяются и другие средства языка, например конкретизация («Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина»), метафора и эпитет, «опредмечивающие» отвлеченные понятия («острая ломка «всех старых устоев»), контраст («Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России,— он порвал со всеми привычными взглядами этой среды»), элементы разговорной лексики и фразеологии (*ломка, перелом, порвал, обрушился, сверху донизу, пропитывают*).

Все элементы речевой структуры Ленина подчинены задаче наибольшего воздействия на читателя. Каждое слово заряжено мыслью, чувством, волей автора.

Второй отрывок — из Речи на Московской широкой конференции металлистов:

«Если взять рабочих и крестьян, то увидим, что крестьян больше. Буржуазия говорит, что у нее демократия, и рабочие и крестьяне пользуются одинаковыми правами. Пока крестьяне идут за буржуазией и пока рабочие одни, они всегда будут разбиты. Если мы это забудем, то мы будем побиты капиталом. Мы не обещаем равенства, его у нас нет. Его не может быть, пока один имеет хлеба вдоволь, а у другого нет ничего.

Капиталисты правильно учли, что нельзя разделить фабрику, но можно разделить землю. У нас диктатура пролетариата, это слово пугает крестьян, но это единственное средство объединить крестьян и заставить идти их под руководством рабочих. Мы думаем, что это правильное решение, рабочий класс объединит крестьян. Только тогда будет открыта дорога дальше, только тогда мы сможем подвинуться к уничтожению классов» [*11*, 307].

В этом тексте, внимательно вчитываясь и вдумываясь в него и в речевую структуру, мы замечаем и разговорные элементы, и повторы, и противопоставление слов и словосочетаний (антитеза). Господствующей чертой речевого стиля Ленина в цитированном только что выступлении была и остается простота синтаксических конструкций. Эта черта цитированного выступления вполне отвечает запросам, возможностям, составу слушателей: речь была произнесена перед рабочими 4 февраля 1921 г.

Третий отрывок — из Речи в защиту тактики Коммунистического Интернационала 1 июля 1921 г. на III конгрессе Коминтерна: «Ведь вы послушайте только, что защищает Террачини и что говорят эти поправки. Они начинаются таким образом: «На 1-ой стр., в 1-ом столбце, на 19-ой строчке следует зачеркнуть: «Большинство...». Большинство! Это чрезвычайно опасно! (Смех.) Затем дальше: вместо слов «основные положения» следует поставить «цели». Основные положения и цели — две разные вещи: ведь в целях с нами будут согласны и анархисты, потому что и они стоят за уничтожение эксплуатации и классовых различий.

В своей жизни я встречался и разговаривал с немногими анархистами, но все же видел их достаточно. Мне подчас удавалось сговариваться с ними насчет целей, но никогда по части принципов. Принципы — это не цель, не программа, не тактика и не теория. Тактика и теория — это не принципы» [*14*, 24].

И в этом выступлении Ленин полемичен, активно применяет разговорные слова, обороты, интонации, требует логики от своих оппонентов и предельно логичен сам. Обратим особое внимание на то, с какой требовательностью Ленин относится к использованию научных терминов, настаивая на разграничении и различении принципов (основных положений) и целей, программы, тактики и теории. Как эти требования Ленина актуальны и теперь — в нашем научном общении, в вузовском и школьном преподавании, в агитации и пропаганде, в деловой документации!

И четвертый отрывок — из статьи «Лучше меньше, да лучше» (статья написана к XII съезду РКП(б):

«Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом. Одним словом, нам надо предъявлять не те требования, что предъявляет буржуазная Западная Европа, а те, которые достойно и прилично предъявлять стране, ставящей своей задачей развиться в социалистическую страну.

Выводы из сказанного: мы должны сделать Рабкрин, как орудие улучшения нашего аппарата, действительно образцовым учреждением.

Для того, чтобы он мог достигнуть необходимой высоты, нужно держаться правила: семь раз примерь, один раз отрежь.

Для этого нужно, чтобы действительно лучшее, что есть в нашем социальном строе, с наибольшей осторожностью, обдуманностью, осведомленностью было прилагаемо к созданию нового наркомата.

Для этого нужно, чтобы лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а именно: передовые

рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести,— не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели.

Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги.

Надо, наконец, чтобы это стало иначе.

Надо взять за правило: лучше числом поменьше, да качеством повыше. Надо взять за правило: лучше через два года или даже через три года, чем второпях, без всякой надежды получить солидный человеческий материал.

Я знаю, что это правило трудно будет выдержать и применить к нашей действительности. Я знаю, что тысячами лазеек обратное правило будет пробивать у нас себе дорогу. Я знаю, что сопротивление нужно будет оказать гигантское, что настойчивость нужно будет проявить дьявольскую, что работа здесь первые годы, по крайней мере, будет чертовски неблагодарной; и тем не менее я убежден, что только такой работой мы сможем добиться своей цели и, только добившись этой цели, мы создадим республику, действительно достойную названия советской, социалистической...» [*15*, 391—392].

Это — один из многих замечательных примеров того, как умно, страстно, призывно и действенно влияла речь Ленина на слушателей и читателей. Этот отрывок хорошо обнаруживает и еще одну черту ораторского и публицистического стиля Ленина — выразительность: речь Ленина как бы сама по себе,— своим построением, своим интонационным рисунком, своим лексическим и семантическим наполнением — привлекает читателя и держит его внимание, захватывает и не отпускает.

Ленин хорошо знал науку о языке, постоянно пользовался толковыми словарями, был хорошо знаком с основами ораторского искусства античных Греции и Рима, с риториками и пособиями по красноречию нового времени. Но еще лучше Ленин знал сам язык, его свойства, его особенности и возможности. Он изучал язык

по учебнику самой жизни и по книгам, а в их числе — книги Пушкина, Тургенева, Толстого, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева.

Ленин прекрасно ориентировался в выразительных возможностях русского языка. Ему как оратору и публицисту подчинялись и пословицы, и поговорки, и крылатые высказывания литераторов и ученых, и риторические фигуры — такие, как повтор, параллелизм, антитеза, риторический вопрос и т. д. Ленин безошибочно вводил в свои устные выступления и статьи средства разговорного стиля и даже так называемого просторечья — тем самым, во-первых, достигалась цель хорошего оратора — говорить живо, говорить непринужденно, быть понятным слушателям и читателям разного уровня развития, а во-вторых, разнообразилась структура речи, преодолевалась опасность шаблона и публицистически-делового стереотипа, резче выявлялась личность автора, ее глубокий демократизм, ее заинтересованность в том, чтобы сказанное или написанное оставило след в сознании слушателя или читателя.

Ленин-оратор всегда стремился к простоте и доступности своих выступлений. Простота и доступность — органические свойства ленинской речи. Но эта простота — не упрощение, а результат глубокого понимания сути вещей и тщательного отбора наиболее точных слов и наиболее логично построенных высказываний. Простота речи Ленина ничего общего не имела с «подлаживанием» оратора или публициста к уровню развития малограмотного слушателя или читателя. Ленин умел говорить и писать просто, не отказываясь от подлинно научного изложения очень сложных вопросов политики и науки. Интересно высказывание Ленина о содержании и речи газет: «Производственная газета должна быть популярной, в смысле доступности миллионам, но отнюдь не впадать в популярничанье. Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепенностью — поднимать его развитие» [*10*, 15].

Ленин-оратор, Ленин-публицист умело и действенно использовал (и развивал) и такое коммуникативное качество речи, как уместность. Читатель на страницах этого пособия мог в этом убедиться, внимательно сравнив отрывки из разных выступлений Ленина, взятые для наблюдения и осмысливания.

Конечно, эта глава дает лишь неполное отражение одной из сторон деятельности великого человека. Но и то, что удалось сказать, позволяет, думается, понять простую вещь: надо учиться у Ленина не только политическим и философским идеям и решениям, но и отношению к знанию о языке, к самому языку и речевой культуре.

ГЛАВА 15

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДРУГИЕ НАУКИ

§ 1. В начале пособия уже было сказано о связи учения о речевой культуре с другими науками. Теперь, после завершения обзора взглядов на коммуникативные качества речи и обзора самих этих качеств, полезно еще раз посмотреть, какое же место занимает (может занять) культура речи как учение в системе лингвистических и нелингвистических наук. Это полезно сделать, чтобы отчетливее видеть зависимость учения о культуре речи от других наук и чтобы отчетливее разграничить «спорные территории», на которые претендуют, по-видимому, стилистика, нормативная грамматика, поэтика и культура речи.

§ 2. Если допустить, что правильность речи — это главное ее коммуникативное качество, и если при этом не забывать, что правильность речи обязательно приведет нас к грамматическим и иным нормам, становится ясно, что прочной базой учения о речевой культуре была и остается нормативная грамматика современного русского литературного языка, т. е. грамматика, которая изучается в качестве основного предмета на филологических факультетах университетов и факультетах русского языка и литературы педагогических институтов.

Культура речи как наука и учебная дисциплина, опираясь на сведения о языке, полученные нормативной грамматикой, отличается от нее подходом к языковому материалу: культуру речи грамматические факты языка интересуют прежде всего своей подчиненностью нормам — их соблюдением, их колебаниями и их нарушениями. Именно нормативная сторона грамматических форм и категорий, а не их грамматическая природа, интересует речевую культуру. Конечно, при этом могут быть привлечены и сведения о грамматической природе

тех или иных средств, если это понадобится для объяснения устойчивости или неустойчивости нормы. В чисто практических целях культура речи как учение, как прикладная область знаний о языке может и должна различать нормативно устойчивые и нормативно неустойчивые участки грамматической структуры языка для того, чтобы можно было дать рекомендации с целью усиления слабых участков. Культура речи имеет дело с системой грамматических норм, прежде всего, и с условиями, усиливающими и ослабляющими эту систему в различных ее участках, но она не занимается изучением грамматических категорий, форм и значений, которые нормам подчинены.

Культура речи как наука и учебная дисциплина встречается с нормативной грамматикой современного русского литературного языка и тогда, когда осмысливает и описывает такие коммуникативные качества речи, как логичность и выразительность. В пособии уже была показана зависимость логичности речи от правильного или неправильного, обдуманного или необдуманного применения различных синтаксических структур, которые сами по себе могут быть нейтральны к степени логичности речи, но, примененные неудачно или ненормативно, затрагивают это ее качество.

Можно указать некоторую заинтересованность культуры речи как учения о сведениях, даваемых нормативной грамматикой, и при описании речевого богатства и уместности.

§ 3. Очевидна зависимость учения о культуре речи от лексикологии и семасиологии. Точность и логичность речи как ее коммуникативные качества не могут быть правильно поняты без описания лексических значений слов, их соотнесенности с миром вещей и миром идей. Лексическими значениями слов обосновывается их семантическая, смысловая сочетаемость, которая прямо касается логичности речи.

Но и такие коммуникативные качества речи, как чистота, выразительность и уместность, также ведут учение о культуре речи к свойствам и признакам слов, их группировкам в системе лексики, их синонимическим и антонимическим связям, т. е. к тому, что изучается лексикологией и семасиологией.

§ 4. Культура речи как учение, опираясь на сведения о словарном составе, даваемые лексикологией и сема-

сиологией, естественно приходит и к словарям, к лексикографии как теории и практике описания словарного состава языка в лексиконах.

К сожалению, толковые словари современного русского языка, а также словари иностранных слов почти не используются их читателями для укрепления уже существующих и развития новых навыков применения слов и фразеологизмов. Между тем известны высказывания крупных писателей, ученых, общественных деятелей, юристов о роли словарей в совершенствовании речевых навыков, в обучении языку. Можно посоветовать всем читателям этой книги брать в руки толковые словари не только на студенческой скамье, когда на практических занятиях «проходится» лексикография, а независимо от учебных занятий, читать словари систематически, вдумываясь в поясненные ими смыслы слов и текстовые иллюстрации их применения. Говорить о необходимости обращения к словарям иностранных слов как-то даже неудобно: настолько ясна эта необходимость — правда, многими лицами с высшим образованием, даже филологическим, прочно забываемая.

§ 5. Особенно тесны связи, как об этом уже говорилось в первой главе, культуры речи и учения о стилях (стилистики). Об этих связях неоднократно писал В. В. Виноградов, о них говорит В. Г. Костомаров, о них думают многие современные филологи и лингвисты. Линия или полоса размежевания стилистики и культуры речи как будто намечена, но не всем видна.

Наиболее позднее по времени выхода в свет исследование, в котором обобщены и суммированы (в меру возможного) взгляды на объект и задачи стилистики,— это книга М. Н. Кожиной «Стилистика русского языка». В этой книге различаются стилистика ресурсов (термин условен), функциональная стилистика, наука о стилях художественной литературы и практическая стилистика. Вместе с тем, по-видимому, признается существование стилистики вообще как единой науки — об этом приходится думать потому, что сведения о четырех стилистиках предваряются общим определением науки: «*Стилистику* можно определить как лингвистическую науку о средствах речевой выразительности и о закономерностях функционирования языка, обусловленных наиболее целесообразным использованием языковых единиц в за-

висимости от содержания высказывания, целей, ситуации и сферы общения. Выделяются прежде всего такие типовые сферы общения, как деловая, научная, художественная, публицистическая, бытовая. В соответствии с ними различаются и функциональные стили» [*55*, 9].

Это определение предполагает, по крайней мере, два несовпадающих предмета исследования: а) средства речевой выразительности; б) закономерности функционирования языка в разных сферах общения. Но так как столь разные предметы изучения не могут обосновать существование о д н о й науки, М. Н. Кожина выделяет четыре аспекта стилистики: а) «Н а п р а в л е н и е, и з у ч а ю щ е е с т и л и с т и ч е с к и е р е с у р с ы я з ы к а, является наиболее традиционным. Это своего рода описательная стилистика, характеризующая стилистически окрашенные средства языка, выразительные возможности и семантико-функциональные оттенки слов, форм, конструкций. Один из центральных объектов этой науки — стилистическая синонимия языка» [*55*, 10]; б) «Ф у н к ц и о н а л ь н а я с т и л и с т и к а исследует специфику и стилевую системность стилей и других речевых разновидностей: жанровых, ситуативных и т. д. В ее задачи входит изучение реализаций потенциальных стилистических возможностей языка в зависимости от целей и задач общения, характера содержания, типа мышления и различных ситуативных особенностей общения в той или иной социальной сфере. Таким образом, ф у н к ц и о н а л ь н а я с т и л и с т и к а — это лингвистическая наука, изучающая закономерности функционирования языка в различных разновидностях речи, соответствующих тем или иным сферам человеческой деятельности и общения, а также речевую системность складывающихся при этом функциональных стилей, нормы отбора и сочетания в них языковых средств» [*55*, 11]; в) «Н а у к а о с т и л я х х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р ы»; г) П р а к т и ч е с к а я с т и л и с т и к а — это, в отличие от трех предыдущих, п р и к л а д н а я нормативная дисциплина, направленная на то, чтобы через обучение и печать способствовать проведению в жизнь принципов теоретической стилистики. В ее задачи входит воспитание стилистической речевой культуры» [*55*, 11].

Эти цитаты из книги М. Н. Кожиной даны потому, что они наглядно показывают известную неопределен-

ность современной стилистики как науки. Остается не совсем ясным, каков же предмет этой четырехлицей науки. Средства речевой выразительности — это одно. Закономерности функционирования языка, обусловленные «наиболее целесообразным использованием языковых единиц» в зависимости от того-то и того-то,— это другое. Взаимодействие литературного языка и различных стилей художественной литературы — это третье. Как столь разнородные вещи оказываются предметом изучения одной науки? Может быть, не случайно В. В. Виноградов пришел к разделению и различению стилистики языка, стилистики речи и стилистики художественной литературы, тем самым признав фактически отсутствие единого объекта изучения у так называемой стилистики. Но вернемся к той информации, которую содержат наши цитаты.

Все-таки получается, что в основание различения стилей кладутся стилистически окрашенные средства языка и эти именно средства оказываются предметом изучения «стилистики ресурсов». Трудно согласиться с утверждением, что функциональная стилистика изучает «специфику и стилевую системность стилей и других речевых разновидностей: жанровых, ситуативных и т. д.». Что это значит — другие речевые разновидности? Разновидности чего? И если эти разновидности жанровые, ситуативные и т. д.— почему они выводятся за пределы системы стилей? Если в задачи функциональной стилистики входит «изучение потенциальных стилистических возможностей языка», можно думать, что стили опять-таки «помещаются» лингвистами внутрь языковой структуры — между тем как искать их надо в различиях функционирования языка.

§ 6. Стили языка можно и нужно понимать в аспекте качественно-количественных представлений о них. Об этом уже говорилось. И если так, если стили языка — это типы его функционирования, его структурно-функциональные варианты, соотнесенные с типами человеческой деятельности, становится понятной их глубокая связь с речевой культурой. Учение о культуре речи нуждается в точных и широких описаниях языковых стилей, их свойств и возможностей хотя бы потому, что совокупности коммуникативных качеств речи видоизменяются от стиля к стилю, выдвигая на первый план и оттесняя те или иные качества. Учение о культуре речи нуждается

в широких и адекватных описаниях стилей речи — с их положительными и отрицательными влияниями на коммуникативные качества речи.

В существующих взглядах на соотношение и связи речевой культуры и учения о стилях немало противоречий и таких формулировок, которые побуждают думать, что для одних исследователей стилистика должна быть базой речевой культуры, для других сама стилистика как бы растворяется в речевой культуре. Ни та ни другая позиция не вызывает сочувствия.

Объект стилистики (лучше — стилелогии) — стили языка и стили речи, их общность и их различия. Объект культуры речи — коммуникативные ее качества в их совокупности и системе, условия их развития и угнетения, а в числе этих условий и находятся стили языка и стили речи. Так что связь между стилеологией и культурой речи прочная и органическая, устанавливаемая самой природой как стилей, так и коммуникативных качеств речи. Многое еще здесь неясно и требует изучения.

§ 7. Культура речи как учебная дисциплина и как наука нуждается в постоянной поддержке логики и психологии.

Коммуникативные качества точности и логичности не могут быть ни установлены, ни оценены без обращения к логике прежде всего. Логика осмысливает понятия, с которыми соотносятся отдельные слова и целые высказывания. Логика устанавливает степень соответствия между значением слова и обозначаемым или выражаемым понятием. Логика оценивает смысловые связи между словами, их сочетаниями и предложениями. Обращение к логике необходимо всякий раз, когда возникает сомнение в строгости и последовательности смысловых связей внутри синтаксических структур. При этом может возникнуть необходимость привлечь и основные понятия, и категории логики, ее силлогизмы, гипотезы и теоремы. Обращение к логике особенно необходимо в тех случаях, когда нужно описать, точно обозначить логические плюсы и минусы высказывания.

Что касается психологии — ее возможности велики, но пока они скорее в будущем, чем в настоящем науки. Психологически можно объяснять и описывать многие житейские ситуации, в которых речевая структура оказывается уместной или, наоборот, неуместной. Психология должна ясно сказать, как влияет на душевный строй

человека неуместно произнесенное или написанное слово, высказывание. Психология может объяснить разрушающее воздействие на психику людей тех или иных средств языка, неуместно примененных. Психология же могла бы пролить новый свет на то, что́ такое выразительные средства языка, если иметь в виду их воздействие на сознание, на психику человека. Почему и в каких условиях те или иные средства языка несут в себе заряд выразительности и теряют его? Это все чрезвычайно важно знать и для изучения действенности человеческой речи, зависимости этого коммуникативного качества от совокупного или раздельного влияния на сознание других коммуникативных качеств речи в тех или иных их сочетаниях. Если бы мы знали оптимальные условия влияния коммуникативных качеств речи на сознание людей, если бы знали желаемое или нужное соотношение этих качеств, если бы имели некоторую психологическую меру этого влияния, можно было бы строить обоснованные и широкие рекомендации с целью стимулирования активности речевых воздействий.

Психология могла бы оказать помощь учению о речевой культуре, изучая условия и средства расширения и укрепления речевых навыков человека, их совершенствования — до такого уровня, чтобы наше речевое общение было хорошим по результатам, а наше речевое поведение оптимальным в любых условиях общения.

§ 8. В области общей теории речевая культура как учение связана с марксистско-ленинской философией, позволяющей глубже и диалектичнее понять соотношение и связь коммуникативных качеств речи с взаимодействием языка и сознания, языка, речи и поведения людей. Можно указать также на связь учения о речевой культуре с эстетикой, с теорией художественного словесного творчества, с литературоведением и критикой.

Таковы многообразные связи учения о культуре речи и других, лингвистических и нелингвистических, наук. Эти связи в учебном пособии только намечены, бегло обрисованы, их более глубокое и полное осмысление — очередная задача.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ленин В. И.* Аграрный вопрос и «критики Маркса».— Полн. собр. соч., т. 5.
2. *Ленин В. И.* Борьба с голодающими.— Полн. собр. соч., т. 5.
3. *Ленин В. И.* Партийная организация и партийная литература.— Полн. собр. соч., т. 12.
4. *Ленин В. И.* Л. Н. Толстой и современное рабочее движение.— Полн. собр. соч., т. 20.
5. *Ленин В. И.* О лозунгах и о постановке думской и внедумской с.-д. работы.— Полн. собр. соч., т. 21.
6. *Ленин В. И.* Нужен ли обязательный государственный язык? — Полн. собр. соч., т. 24.
7. *Ленин В. И.* О праве наций на самоопределение.— Полн. собр. соч., т. 25.
8. *Ленин В. И.* О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности.— Полн. собр. соч., т. 36.
9. *Ленин В. И.* Об очистке русского языка.— Полн. собр. соч., т. 40.
10. *Ленин В. И.* Тезисы о производственной пропаганде.— Полн. собр. соч., т. 42.
11. *Ленин В. И.* Речь на Московской широкой конференции металлистов.— Полн. собр. соч., т. 42.
12. *Ленин В. И.* Речь на заседании пленума Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов 28 февраля 1921 г.— Полн. собр. соч., т. 42.
13. *Ленин В. И.* О продовольственном налоге.— Полн. собр. соч., т. 43.
14. *Ленин В. И.* Речь в защиту тактики Коммунистического Интернационала 1 июля.— Полн. собр. соч., т. 44.
15. *Ленин В. И.* Лучше меньше, да лучше.— Полн. собр. соч., т. 45.
16. *Ленин В. И.* В редакцию газеты «Правда».— Полн. собр. соч., т. 48.
17. *Ленин В. И.* А. В. Луначарскому. 18.I.1920 г.— Полн. собр. соч., т. 51.
18. *Ленин В. И.* М. Н. Покровскому. 5.V.1920 г.— Полн. собр. соч., т. 51.
19. *Ленин* — журналист и редактор. М., 1960.
20. *Брежнев Л. И.* Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза.— Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971.
21. *Брежнев Л. И.* О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. М., 1972.

22. *Брежнев Л. И.* Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики.— Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976.
23. *Выступление* товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 27 ноября 1978 г.— Коммунист, 1978, № 17.
24. *Конституция* (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1978.
25. *О дальнейшем* улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. Постановление ЦК КПСС от 27 апреля 1979 г.— Коммунист, 1979, № 7.
26. *Аванесов Р. И.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
27. *Аванесов Р. И.* Русское литературное произношение. 5-е изд. М., 1972.
28. *Актуальные* проблемы культуры речи. М., 1970.
29. *Античные* теории языка и стиля. М.— Л., 1936.
30. *Апресян Г. З.* Ораторское искусство. 2-е изд. М., 1972.
31. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
32. *Благой Д. Д.* Грамматика поэзии.— Русская речь, 1970, № 6.
33. *Брызгунова Е. А.* Звуки и интонации русской речи. М., 1978.
34. *Будагов* Р. А. Литературный язык и языковые стили. М., 1967.
35. *Будагов Р. А.* Человек и его язык. М., 1974.
36. *Васильева А. Н.* Курс лекций по стилистике русского языка. Научный стиль речи. М., 1976.
37. *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959.
38. *Виноградов В. В.* Заметки о стилистике современной советской литературы.— Лит. газ., 1965, 19 нояб.
39. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
40. *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
41. *Вопросы* культуры речи. Вып. 1—8. М., 1955—1962.
42. *Гвоздев А. Н.* Очерки по стилистике русского языка. 3-е изд. М., 1965.
43. *Головин Б. Н.* Лингвистические термины и лингвистические идеи.— Вопр. языкознания, 1976, № 3.
44. *Головин Б. Н.* Как говорить правильно. 2-е изд. Горький, 1979.
45. *Горбачевич К. С.* Вариантность слова и языковая норма. М., 1978.
46. *Горький М.* В. И. Ленин.— Собр. соч. В 30-ти т. М., 1952, т. 17.
47. *Горький М.* О литературе.— Литературно-критические статьи. М., 1953.
48. *Грамматика* русского языка. Т. 1.— Фонетика и морфология, 1953; т. 2.— Синтаксис. М., 1954 (ч. 1 и 2).
49. *Грамматика* современного русского литературного языка. М., 1970.
50. *Даль Вл.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1955.
51. *Ицкович В. А.* Языковая норма. М., 1968.
52. *Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966.

53. *Кленина А. В.* Связное высказывание в научной речи. М., 1975.
54. *Кожина М. Н.* О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими. Пермь, 1972.
55. *Кожина М. Н.* Стилистика русского языка. М., 1977.
56. *Кондаков Н. А.* Логический словарь. М., 1971.
57. *Костомаров В. Г.* Русский язык на газетной полосе. М., 1971.
58. *Костомаров В. Г.* Культура речи и стиль. М., 1960.
59. *Крупская Н. К.* Воспоминания о Ленине. 2-е изд. М., 1972.
60. *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
61. *Литература* и современность. Сб. 15. М., 1977.
62. *Ломоносов М. В.* Соч. М.— Л., 1961.
63. *Михайлов М. М.* Стилистика русской речи. Чебоксары, 1968.
64. *Ножин Е. А.* Основы советского ораторского искусства. М., 1973.
65. *Об ораторском* искусстве. 3-е изд. М., 1963.
66. *Общее* языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
67. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка (Несколько изданий).
68. *Ожегов С. И.* Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974.
69. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
70. *Паустовский К.* Золотая роза. М., 1956.
71. *Паустовский К.* Наедине с осенью. М., 1967.
72. *Правильность* русской речи. Словарь-справочник. М., 1965.
73. *Применение* логики в науке и технике. М., 1960.
74. *Пустовойт П. Г.* Слово. Стиль. Образ. М., 1965.
75. *Русское* литературное произношение и ударение. Словарь-справочник. М., 1959.
76. *Русские* писатели о языке. Хрестоматия. 2-е изд./Под общ. ред. А. М. Докусова. Л., 1955.
77. *Русские* писатели о языке (XVIII—XX вв.)/Под ред. Б. В. Томашевского и Ю. Д. Левина. Л., 1954.
78. *Русские* писатели о литературном труде. Л., 1955, т. 2.
79. *Русский* язык в современном мире. М., 1974.
80. *Русский* язык по данным массового обследования. М., 1974.
81. *Сенкевич М. П.* Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1976.
82. *Слово* в русской советской поэзии. М., 1975.
83. *Смысловое* восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации. М., 1976.
84. *Словарь* русского языка. В 4-х т. М., 1957—1961.
85. *Словарь* современного русского литературного языка. В 17-ти т. М.— Л., 1950—1965.
86. *Словарь* иностранных слов. М., 1964.
87. *Словарь* синонимов русского языка. В 2-х т. Л., 1970—1971.
88. *Словарь* ударений для работников радио и телевидения. 3-е изд. М., 1970.
89. *Словарь* языка Пушкина. В 4-х т. М., 1956—1964.
90. *Степанов Ю. С.* Основы общего языкознания. 2-е изд. М., 1975.
91. *Сухомлинский В. А.* Родина в сердце. М., 1978.
92. *Толковый* словарь русского языка. В 4-х т./Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935—1940.

93. *Трудности* словоупотребления и вариативность норм русского языка. М., 1974.
94. *Трудности* русского языка. Словарь-справочник журналиста. М., 1974.
95. *Тынянов Ю. Н.* Проблемы стихотворного языка. М., 1965.
96. *Углов Ф.* Человек среди людей. Записки врача.— Наш современник, 1977, № 8.
97. *Черныmов В. И.* Правильность и чистота русской речи.— В кн.: Избр. труды. М., 1970, т. 1.
98. *Чуковский К.* Живой как жизнь. М., 1963.
99. *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Борис Николаевич Головин

Основы культуры речи

Редактор *Н. А. Захарова*
Мл. редактор *Т. А. Карасева*
Художественный редактор *Л. К. Громова*
Художник *Э. А. Марков*
Технический редактор *Т. Д. Гарина*
Корректор *Е. К. Штурм*

ИБ № 2289

Изд. № Рл-66. Сдано в набор 19.11.79. Подп. в печать 07.07.80. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. финская кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Объем 17,64 усл. печ. л. 18,42 уч.-изд. л. Тираж 80 000 экз. Зак. № 693. Цена 90 коп.

Издательство «Высшая школа»,
Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
Свердловск, проспект Ленина, 49

90 коп.

